

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
П. В. Басинский (Москва)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
В. М. Костин (Томск)  
А. К. Лаптев (Иркутск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)  
М. А. Тарковский (Красноярск)  
А. Н. Тимофеев (Москва)  
М. В. Хлебников (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Михаил Косарев  
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова  
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов  
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова  
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова  
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая  
Верстка: О. Н. Вялкова

**6/2022**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Дмитрий РОМАНОВ. Заложники зимы. Повесть.</b> .....	3
<b>Денис СОРОКОТЯГИН. Сезон потерянных перчаток. Этюды.</b> .....	92
<b>Алексей НИКОЛАЕВ. Чарли. Рассказ.</b> .....	101
<b>Оксана ПОЛИКАРПОВА. Необдуманное решение. Рассказ.</b> .....	114
<b>Андрей КОРОЛЕВ. Красные бусы. Рассказ.</b> .....	128

### ПОЭЗИЯ

<b>Вера КУЗЬМИНА. Уральский Харон. Стихи.</b> .....	87
<b>Елена СЕВРЮГИНА. Вдоль солнца. Стихи.</b> .....	97
<b>Алексей ШЕВЧЕНКО. Белый сон. Стихи.</b> .....	111
<b>Денис ТКАЧУК. «Тлеющий свет плацкарта...» Стихи.</b> .....	125

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Александр ТИХОНОВ. «О, каторга!», или Сибирская ссылка глазами путешественника.</b> .....	138
--	-----

*Литературная премия «Иду на грозу»*

<b>Яна ЯНУШКЕВИЧ. Мутагенный фактор: как в Академгородке спасли генетику.</b> .....	152
---	-----

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Ксения САВИНА. Опыт нового русского верлибра.</b> .....	167
<b>Лариса ПОДИСТОВА. Будущему — быть! 100 лет фантастики в «Сибирских огнях».</b> .....	174

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

<b>Татьяна СВИРИДОВА. Чудные мгновения скульптора Грачева.</b> .....	184
--	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Дмитрий РОМАНОВ

## ЗАЛОЖНИКИ ЗИМЫ

Повесть

### Юности кумир

— Напечатала? — спросила Морозова, как только вошла в кабинет.

— Да, все готово, Эмма Викторовна. — Зина вытащила лист из машинки.

— Так, посмотрим, — прищурила глаза прокурор, просматривая документ. — Вроде бы все в порядке. — Продолжая делать вид, что читает, Морозова положила ладонь на худенькое плечо Зины.

Приятная тяжесть на плече — и сразу вспомнился отец. Руки Морозовой под стать мужским — большие, жилистые. Отец Зины так же клал руку на плечо. На фронт ушел в сорок первом, похоронка на него пришла год спустя.

Этим летним днем 1950 года Зине не верилось, что отца больше нет. Она отвела взгляд от машинки и посмотрела в окно. Легкое дуновение достигало лица.

— Ты не обедала? — спросила Эмма Викторовна.

— Нет еще.

— Самое время прерваться. Иди поставь чайник.

Зина пошла ставить чайник.

Ей нравилось исполнять любые поручения Эммы Викторовны, особенно те, что не касались работы.

Зина любила твердую руку. Подчиняться же могла только тому, кого боготворила. В других случаях была излишне строптивой и самостоятельной. Такая Зина в семье — с матерью и сестрой. Только отец мог совладать с ней в свое время.

Решительная и волевая Эмма Викторовна сразу понравилась Зине. Полюбился сам образ: прокурор, женщина сильная, умная, читающая газеты, держащая себя на равных с мужчинами и даже больше — разговаривающая с ними коротко и свысока. Морозова не допускала и тени неуважения к себе и презирала в целом мужчин.

Зина ловила каждое слово, каждый жест, из кожи лезла, чтобы угодить и сделать приятное начальнице, но без подбострастия, без желания продвинуться. Она просто влюбилась в Эмму Викторовну — как в идеал. Кумира.

Секретарем в прокуратуре Зина работала пятый месяц.

— Каллиграфический у тебя почерк, Стрельцова! — хвалила Эмма Викторовна. — Смотри-ка ты, и не одной ошибки. Каждый раз удивляюсь. Ты, наверное, в школе русский любила?

— Не очень, — смущенно отвечала Зина. — Литературу больше.

— Книжки, значит, любишь читать. Похвально.

Со временем Зина освоила и машинопись. Вскоре Морозова так привыкла к помощнице, что без нее чувствовала себя безрукой.

Зина вошла с чайником и стала хлопотать со стаканами.

Эмма Викторовна оглянулась и тепло на нее посмотрела, до этого глядела в окно, погрузившись в свои мысли. Сев за стол и ни к чему не притрагиваясь, дала возможность Зине поухаживать за собой. Они вместе обедали, и Эмма Викторовна сначала незаметно, а потом и заметно подкармливала Зину, делясь прокурорскими пайками.

Испытывая симпатию к толковой сотруднице, Морозова учила Зину уму-разуму, приоткрывая секреты и особенности надзорной деятельности; внушала благоговение перед советской судебной системой, рассказывала криминальные истории из своей практики.

Зина внимательно слушала и мечтала выучиться на следователя, а лучше сразу на прокурора, тем более Эмма Викторовна обещала поспособствовать.

Но больше всего Зине нравились разговоры «про жизнь» — когда Эмма Викторовна позволяла себе после тяжелого дня стаканчик-другой. Раскрасневшаяся, взлохмаченная, она с жаром втолковывала Зине, что мужикам только одно и надо... и вообще, все мужики — «мятые кальсоны».

Тогда же Эмма Викторовна учила Зину курить по-взрослому — взятг и пить, не морщась, не закусывая.

— Вдохнула — выпила — выдохнула! И нечего держать! Что держишь?! — гремела Эмма Викторовна, стуча по столу кулаком.

А Зина была как в тумане и от сизого дыма в комнате, и от обжигающего зелья внутри. Она млела и, затаив дыхание, слушала кумира.

Та рассказывала и про врагов и светлый путь, и через что прошла, ну и про любовь, конечно. Только про любовь все неудачную. Может, придуманную? Слишком все красиво вначале, а заканчивалось всегда ничем. Как так можно? Про себя Зина фантазировала, как бы она поступила на месте Эммы Викторовны, она бы не оплошала, не упустила свое счастье.

— Дыра этот ваш Ручьевск! Дырень!

— Мы не дыра, — робко вставляла Зина, — районный центр.

— Тоже мне центр! Глухомань. Очередная ссылка. Как по тракту, — горько усмехалась Эмма Викторовна. — Свердловск, Омск, Красноярск, все дальше и дальше. Вглубь. В самое сердце трясины, — она рассмея-



лась, затянулась папиросой и выпустила дым через ноздри. — Начинала в Ленинграде, а где оказалась? У черта на куличках. А все почему? А потому, что требую!

Выговорившись, Морозова подпирала рукой голову и, слегка покачиваясь, затягивала песню. В такие моменты ее волосы, всегда уложенные, спадали патлами, зычный голос хрипел, и вся она, выпотрошенная и замученная, враз оказывалась похожа на обыкновенную бабу и становилась еще ближе.

Домой Зина никогда не спешила. А что дома? Вечно недовольная мать да слишком хорошая младшая сестра, которой все тычут Зине: вон, мол, какая помощница и рукодельница Лида — серьезная, работающая. А кто эту рукодельницу на машинке шить научил, спрашивается? А крестиком вышивать? Она, Зина. Только никто об этом не вспоминает, не говоря уже о благодарности.

Зина вошла в дом — никого, она облегченно вздохнула и тут же расстроилась, осмотревшись. Видимо, Лида после курсов побежала помогать матери на элеватор — в доме ничего не сделано.

«Вернутся, и начнет мать причитать, что я баклуши бью. А мне почитать “Красное и черное” надо и Уголовный кодекс пролистать. Нет уж. Ищите себе другую служанку!» Взяв книги, Зина улизнула из дома и вернулась в прокуратуру.

Проходя по коридору, обратила внимание — дверь прокурорского кабинета закрыта неплотно. Слегка приоткрыв ее, Зина увидела сидящую за столом Морозову.

Зина хотела войти, но остановилась. Что-то было не так. Эмма Викторовна не просто сидела за бумагами, как обычно. Она вообще не читала никаких бумаг — подперла голову руками и смотрела в одну точку.

Зина продолжала стоять на месте, не решаясь войти и не находя в себе сил отойти от двери.

Длинные пальцы Эммы Викторовны схватили голову так, что кожа возле глаз и лба натянулась. Глаза с огромными белками страшны и, не мигая, смотрят в одну точку на стене, недалеко от двери, в которую подсматривает Зина. Еще немного — и заметят ее.

Зина сто раз пожалела, что приоткрыла дверь. Любопытная. Она боялась дышать и шелохнуться.

«Страшные глаза» оторвались от стены и посмотрели в бумаги.

Тихонечко отойдя от двери, Зина шмыгнула на улицу.

Вернувшись домой, забралась на сеновал и, спрятавшись в дальний угол, принялась за чтение. Но чтение не шло. Каждый раз Зина отрывалась от книги и мысленно возвращалась туда — где застала Эмму Викторовну с ужасным взглядом.

Жюльен Сорель стрелял в госпожу де Реналь. Его схватили и заточили в крепость. Мадемуазель де ля Моль пыталась спасти возлюбленного. Строки плыли.

На следующий день Зина осмотрела стол, пытаясь найти тот документ. Причину вчерашних глаз. Зина была уверена — дело все в нем. «Что она читала?»

Поиски ни к чему не привели: обследовав каждый клочок, каждую бумажку, ничего интересного Зина не обнаружила.

Она пристально наблюдала за Морозовой, пытаясь в ее поведении отыскать ответы на терзавшие вопросы.

Рассеянная Эмма Викторовна имела вид несвежий. Без непрременной прически. Зине показалось, что она спала не раздеваясь. «Вот оно как! Значит, дело серьезное!»

В первый раз за последние дни Эмма Викторовна не спросила Зину — когда же та к ней переедет.

Зина загорелась поступлением на юридический и часто жаловалась на мать и сестру, что не дают путем заниматься и высмеивают ее любовь к чтению.

Недели две назад Эмма Викторовна предложила Зине переехать к ней: «Спокойно будешь читать. Подучишь историю, и на следующий год постараемся поступить».

От «постараемся поступить» Зина уже считала себя студенткой юридического факультета. Она все оттягивала с переездом, не решаясь преподнести новость матери. Сейчас же, наблюдая за Эммой Викторовной, видела — ей не до этого.

День подошел к концу, а вопросов не стало меньше.

Проходя поздним вечером мимо дома Эммы Викторовны, Зина удивилась — света нет. «Неужели до сих пор на работе?» Сделав специально круг и пройдя мимо прокуратуры, она обнаружила — окна кабинета темно.

Ничего не понимая, озадаченная Зина пошла домой. То, что Морозова никуда не уезжала сегодня из Ручьевска и не собиралась уезжать, — факт. Жизнь вела уединенную — дружбы ни с кем не водила. «Куда она ушла на ночь глядя?»

На этот раз чтение захватило, близилась развязка романа.

Когда Жюльену отрубили голову, Зина вздрогнула. Она представила весь ужас этой сцены, увидела кровь, что сочилась из раны. Алым шлейфом она текла по помосту плахи. «Бедный, несчастный Жюльен». Когда Матильда де ля Моль положила в мешок голову возлюбленного, Зину затошнило.

Дочитав последние строки, она оторвалась от лампы и посмотрела перед собой в темноту. Прямо перед ней лежало окровавленное тело женщины. Видение было настолько реальным, что Зина оцепенела. Женщина была истерзана. Зина отчетливо видела кровавый след на снегу. Холод снега она почувствовала кожей, словно соприкоснулась с ним.

Зина потушила лампу и, приподняв занавеску, опасливо посмотрела в окно.

Никого.

Не в состоянии расстаться с дочитанной книгой, она сидела, тупо смотря в темноту, и все держала кровавую историю в руках.

В комнате матери послышался шорох. Вздохнув, Зина отложила наконец книгу и легла на подушку. Долго лежала с открытыми глазами. Знала — до утра не уснет.

Плохое предчувствие подняло, и Зина, стараясь не шуметь, вышла на улицу. Быстрым шагом, кутаясь в кофту, временами срываясь на бег, пошла к дому Морозовой.

Еще издали, заведев черные окна, догадалась: в дом вечером так никто и не входил.

Зина не решилась подойти ближе и вернулась домой.

Как и предполагала, до утра она не сомкнула глаз.

На следующий день Эмма Викторовна на работе не появилась. Когда обнаружили ее отсутствие на служебной квартире, начался переполох. Прокурора стали искать.

В считанные часы был перевернут весь Ручьевск, задержаны и допрошены все подозрительные и освобожденные личности. Никто ничего не знал и не видел.

Под вечер труп Эммы Викторовны обнаружили в роще рядом с Ручьевском. Что она там делала и с кем встречалась?

Эмма Викторовна лежала на спине, а рядом — не успевший выстрелить браунинг.

Приехавшая с бригадой Зина смотрела с ужасом в застывшие глаза. Асфиксия. Кто-то напал сзади и задушил.

Как только Зина узнала, что тело Эммы Викторовны нашли в лесу, ей сразу же представилась окровавленная женщина из ночного видения. Но Морозова не была истерзана и лежала на траве, а не в снегу.

«Так кто же та женщина?»

\* \* \*

Без Эммы Викторовны Зина растерялась. Она долго не могла прийти в себя. Убийцу Морозовой быстро нашли и осудили. Это был некий Кравцов, недавно освобожденный ээка. Сам признался. Только вот не поверила Зина Кравцову и обвинению, не тянул Кравцов на палача прокурорского — кишка тонка. Врет как дышит.

Убийца, так и не пойманный, бродил где-то рядом.

Конечно же, это личный враг Морозовой, кому она перешла дорогу, возможно, посадила. Но кто? Зина с осторожностью ходила первое время темными вечерами.

Желание поступить на юридический отпало само собой. Без Эммы Викторовны все превратилось в рутину, обыденность, и, как оказалось, небезопасную. Единственное увлечение — книги. Но и чтение надоедало. От тусклого вечернего света болели глаза. Зина захлопывала книгу, выходила на крыльцо и курила. На черном небе сверкали звезды. Зина

куталась в шаль и с жадностью затягивалась. Она смотрела на звездный ковш над головой и думала о том, где бы она могла быть и чем бы занималась, будь Эмма Викторовна жива.

В кабинете Морозовой в шкафу осталась бутылка лимонного ликера. По ее словам — сладкая дрянь.

Бутылка стояла трофеем, пока Зина до нее не добралась.

Отлив в рюмку, Зина помянула Эмму Викторовну. Сладкая дрянь оказалась вполне приятным напитком. Зина утащила бутылку домой, спрятала в тумбочку с книгами и втихаря попивала.

В мае почтальонша Катька принесла весть о назначении нового прокурора.

— Наконец-то! — Зина принимала корреспонденцию, ставила на конверты печать.

— Летягин Виктор Валерьевич из Красноярска. Недели через две ожидайте.

— И откуда, Катька, ты все знаешь?

— Как откуда? Мне положено. Всё ж через меня.

— Точно. Через тебя и таракан не проползет... незамеченным, — усмехнулась Зина.

Катька шмыгнула носом, не понимая, то ли пошутила Зина, то ли...

— Что за птица твой Летягин? Молодой, старый?

— Тридцать шесть годочков. В самом соку мужичок. Красавец, говорят, и еще тот Дон Жуан.

— Тоже мне — Дон Жуан. Женатый, поди?

— Конечно, жена, дочка, все как полагается.

— Полагается. Ничего не полагается. Вон Эмма Викторовна... — Зина запнулась.

— Обиженная судьбой была Эмма Викторовна, — вздохнула Катька. — Не везло бабе ни в чем.

— Много ты понимаешь в везении! — Зина со всей силой ударила печатью. — Лишь бы языком чесать!

— Ладно, пошла я дальше. — С огромной сумкой через плечо Катька попятилась из кабинета.

Зина долго сидела с письмами после ухода Катьки. Она рассеянно вносила номера конвертов в журнал и все посматривала в открытое окно. С улицы несло теплом и дорожной пылью.

На следующий день Зина вскапывала огород.

— Здравствуйте! — крикнул сосед Сашка через забор.

Зина в ответ кивнула.

— А вы одна копаете?

— Как видишь!

— А где все?

— Где, где... в Караганде! Взял бы да помог. — Зина оторвалась от работы и вздохнула: — Фу, жарень.

Сашка метнул копьём лопату в огород Стрельцовых и перемахнул через забор.

— Мы сейчас с вами быстро, — заулыбался Сашка. Он поплевал на ладони и начал копать.

Зина сняла косынку, отерла лицо и шею. Нешадно пекло целую неделю. Обмахиваясь платочком, она наблюдала, как живо принялся Сашка за дело. По пояс голый, успевший загореть за эти дни, он с силой нажимал на штык лопаты, мускулы рук и плеч напрягались, но лопата поднималась легко.

— С таким помощником тут работы на час. — Зина повязала платочек на шею. Она осмотрелась по сторонам и одернула коротенькое старенькое платьице, в котором часто появлялась на огороде.

— Да мы за час и кончим. А может, и раньше, — щурился Сашка от солнца.

— А с другой стороны, куда нам спешить, — улыbnулась Зина.

Ей нравился Сашка — видный парень, умелый, веселый. Единственный недостаток — возраст. Сашке пятнадцать, на четыре года младше Зины.

За последний год он вытянулся, резко возмужал. По зиме в тулупах и фуфайках Зина ничего не замечала, а тут... Сашка предстал во всей молодцеватой красоте.

Зина с завистью наблюдала, как возле Сашкиных ворот этой весной закружились девчонки. «Тоже мне невесты!»

Когда собирались парни, Зина выходила нарядно разодетая, и шумная компания тут же умолкала. Проходя мимо, Зина помахивала сумочкой и кидала: «Привет, шпана!» «Здрасьте!» — хором отвечали парни.

Невысокая ростом, с широким скуластым лицом, маленькими серыми глазами, Зина брала дерзостью, соблазняла походкой, взглядом могла притянуть, оттолкнуть и все время смеялась.

Зину разморило на солнце. Кто в такую жару копает? А все мать — неугомонная, не успеется ей.

— Пить хочешь?

— Хочу, — ответил Сашка.

— Сейчас принесу. — Зина сняла с плеч надоевшую косынку и, помахивая ею, пошла в сарай, где в тени стояла банка с водой.

Зина спиной чувствовала Сашкин взгляд. Знала, что нравится. Только вот как подступиться этому мальчику к ней... Он каждый раз улыбается при встрече и тут же конфузливо отводит глаза. Когда думает, что Зина не замечает, — смотрит не отрываясь.

Сашка пил с жадностью, и вода блестящей струйкой стекала по подбородку, капала на голый торс.

Зина вдруг представила, как Сашка вырастет, превратится в красивого мужчину и его женит на себе какая-нибудь баба...

Напившись, Сашка протянул банку.

— Надоело на этой жаре вкалывать. — Зина расчесывала пальцами волосы. — От работы кони дохнут.

Сашка смотрел во все глаза, впервые он в такой близости от нее.

— Хочешь, кое-что покажу? — загадочно улыбнулась Зина.

Сашка закивал.

— Пойдем, — поманила Зина пальцем.

Они прошли весь огород, у стаяк остановились. Зина осмотрелась по сторонам.

— Давай за мной! — скомандовала и полезла по высокой лестнице.

Заинтригованный Сашка не отставал.

Наверху Зина открыла дверь сеновала.

Сеновал был пуст. Лишь в дальнем углу лежала кучка сена, на него и упала Зина, как на перину.

Сашка стоял над ней в нерешительности.

— Фу, духотень! Дышать нечем. — Зина приподнялась, расстегнула молнию и стянула через верх платье.

Сашка во все глаза уставился на белый лифчик. Зина облизнула пересохшие губы:

— Ну, чего стоим?

Сашка, спотыкаясь на ровном месте, смутно догадываясь, чего от него хотят, присел рядом на корточки. Зина повернулась спиной:

— Расстегни.

Сашка неумело стал возиться с крючками лифчика.

Когда лифчик упал на сено, Зина развернулась.

Сашка с вытаращенными глазами смотрел на обнажившуюся грудь.

Зина коснулась пальцами сосков:

— Хочешь потрогать?

Сашка покраснел, закивал и протянул руку.

— А раздеваться кто будет?

Сашка поднялся. Зина смотрела снизу на его загорелое, ладно сложенное тело.

— Снимай, — указала она глазами, и Сашка стянул разом штаны и трусы.

— Иди, закрой дверь, — сказала Зина, когда он хотел присесть рядом.

Сашка пошел к двери, шевеля белыми, круглыми, как два яблока, ягодицами.

Закрыв дверь, вернулся.

От его растущего на глазах мужского естества Зина разом ослабла. Она легла на сено и чуть слышно позвала: «Иди ко мне...»

Он неумело обнимался и все тыкался губами. Зина взяла в руки его лицо и поцеловала. Сашкины губы на удивление оказались мягкими, сочными. Зина с жадностью в них впиалась.

Он тяжело дышал и уже не тыкался, прижался вплотную. Зина ощущала его жар и силу. В нетерпении обняла бедрами и прошептала: «Давай».

Сашка задрожал всем телом и дернулся.

Он пролежал на Зине несколько секунд и стыдливо отстранился.

— Ну вот, считай, ты мужчина... — сдерживая улыбку, произнесла Зина. Она вся горела. Со вздохом подхватила пучок сухой травы и подкинула.

— Все нормально?

— Конечно, нормально. — Зина поправила разметавшиеся и слипшиеся на лбу волосы, потянулась за лифчиком. — Какая страшная духота, как в бане.

— Ну да. Здесь, на высоте, температура теплее, а еще сено. Воздух плотный.

— Ну ты, физик, помоги лучше застегнуться.

В этот раз Сашка на удивление быстро справился с крючками.

— Смотри-ка ты, какой умелый.

— А чего тут уметь-то? Все просто. — Сашка откинулся на сено.

Он лежал, закинув руки за голову, на лице блаженная улыбка.

— Уметь... — передразнила с раздражением Зина. — Ты сильно-то не гордись. Нечем пока гордиться. Тоже мне герой-любовник.

Улыбка тут же сползла с Сашкиного лица. Он приподнялся на локтях:

— Зин, ты чего?

— Ничего! Подай лучше платье.

Сашка подал платье, но Зина не взяла. Она поднялась и задрала вверх руки:

— Ну?!

Сашка, как на манекен, натянул на Зину платье, робко разгладил на бедрах ткань.

— А застегнуть? — Зина говорила приказным тоном, смотря прямо перед собой, не замечая Сашку и тем самым смущая и подавляя его. Когда он застегнул молнию, опустила руки и выдохнула: — Наконец-то.

Сашка безмолвно стоял в ожидании новых поручений.

— Ну, чего стоишь? — смягчилась она.

— А что?

Зина заметила мелькнувший в его глазах огонек надежды, когда она сменила тон. Сладостные минуты триумфа. Как же приятно повелевать.

— Нам пора. Иди и проверь, нет ли кого внизу, — сказала насколько могла ласково. Сашка с готовностью все исполнить ринулся к двери. — Стой! — негромко окрикнула Зина. Он обернулся. — Поди сюда. — Когда Сашка подошел, Зина протянула к его лицу кулак: — Кому скажешь, прибыю.

## Последнее лето

К приезду прокурора Лetyгина с женой и дочерью дом, в котором квартировала ранее Эмма Викторовна, привели в порядок. Заново выкрасили пол, побелили стены, отмыли окна. Зина и еще несколько женщин пришли помочь разгрузить грузовик с вещами.

— А вещей-то совсем ничего. Знать, ненадолго.

— Ясно-понятно. Что-то не задерживаются у нас прокуроры.

— Да нормально вещей — целая машина.

— Какая вам разница! — прикрикнула на женщин Зина. — Выгружать пошли. А то до ночи тут проторчим.

— А ты не командуй! Зеленая еще, чтоб командовать! — подбоченилась Пичугина, разбитная красномордая баба.

— А может, мне Ванькой твоим покомандовать? — Зина вплотную подошла к Пичугиной. — Когда он за справкой в прокуратуру припрется.

— Штой ты, Зинка, больно гонористая стала.

— А без гонору нынче не проживешь. — Зина смачно сплюнула. — Пошли работать. — Не обращая больше внимания на Пичугину, она подошла к машине. Следом за ней и другие женщины.

Шофер с кузова подавал узлы, коробки. Рыжеволосая, с недовольным бледным лицом женщина пересчитывала вещи. Рядом бегала похожая на мать рыжими волосами девочка лет пяти.

— Юля, иди в дом и не крутись под ногами, — сказала девочке женщина.

— Прокурорша? — шепнула на ухо Зине прибежавшая на помощь Лида.

— Она самая, — шепнула Зина в ответ.

— Женщина, осторожней! Здесь стекло, — голос Ольги Летягиной дребезжал.

— Не бойтесь, я с осторожностью. — Пичугина на вытянутых руках понесла ценный груз.

Зина с интересом и завистью смотрела на густые огненные волосы прокурорской жены. От неловкости положения, в котором оказалась, Ольга говорила резко, излишне суежилась. Казалось, не видела ничего, кроме своих вещей, и боялась что-либо потерять.

Зина презрительно усмехнулась: нужны нам твои манатки.

Она искала глазами Летягина. Взяв небольшую коробку, пошла к дому. Надрывать не собиралась. «Мы шмотки ее таскай, а она укачивает. Тоже мне принцесса!» — Зина оглянулась на Ольгу и взошла на крыльцо.

Летягин загородил собою проход. Зина остановилась. Тупо стояла, не пытаясь обойти. Не отходил и Летягин.

— Так, как звать? Кто такая? — шутя допрашивал прокурор.

— Зина Стрельцова. Работаю секретарем в прокуратуре. — Смотря на пуговицу его кителя, Зина чувствовала на себе оценивающий взгляд. Она увидела все — и щегольские усики на загорелом красивом лице, и подтянутую фигуру, и начищенные сапоги, и крепкие ноги в плотно облегающих брюках темно-зеленого цвета.

— Так-так... — Летягин улыбался. — Значит, вместе работать будем.

Зина молчала, устремив глаза в пол.

— Виктор! Книги возьми! — послышался голос Ольги.

— Сейчас!

— Вы не беспокойтесь. Я принесу, — тихо сказала Зина и, передав коробку Летягину, вернулась к машине.

— Вот, берите. Только осторожней, девушка. Вязки непрочные, как бы не порвались. — Ольга подала Зине две связанные стопки книг.

— Не беспокойтесь, я аккуратно. — И, взяв в каждую руку по стопке, словно по ведру с водой, Зина пошла с прямой спиной, шевеля бедрами.

Когда помощники ушли, а дочку увела к себе спать одна из женщин, Ольга обвела уставшими глазами самую большую комнату с печкой в углу.

Вошедший Летягин плюхнулся на диван:

— Машину отправил. Наконец закончили.

Ольга с раздражением посмотрела на мужа:

— Ну что, ты доволен?!

Всю дорогу она тряслась в грузовике и мечтала об этой минуте, когда все выскажет. Ольга давно смирилась, что связала жизнь с неудачником, который только и может, что заглядывать под юбки. В городе была надежда. Верилось в чудо, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Там рядом отец. А что здесь? Нет, это невозможно — Ольгу до сих пор трясло. Он, этот неудачник и вертопрах, с чувством выполненного долга, с улыбочкой сидит в вальяжной позе на диване.

— Хороши апартаменты, правда? — Ольга ядовито улыбнулась. — О! О таких можно только мечтать! Ты знаешь, я и правда всю жизнь мечтала о такой вот дачке на краю вселенной! А что? Вполне сносное жилье — вода в колонке, туалет во дворе, отопления никакого! Ах да, есть печурка! — воскликнула Ольга, наигранно вскинув руки. — Хотя не даст зимой околеть, и то спасибо! Электричество есть? Неужели! Я бы не удивилась, если бы пришлось жечь лучины, как в первобытные времена!

— Здесь проведен водопровод. Перестань, зачем ты передергиваешь? — Летягин встал с дивана и попытался приобнять жену.

— Я ничего не передергиваю! — рявкнула Ольга, отбросив от себя его руки. Летягин вернулся на диван. — А называю вещи своими именами. Я, в отличие от тебя, говорю, что думаю, и в кусты не прячусь!

— Какие кусты? О чем ты? — возмутился Летягин, покраснев.

— А это разве не кусты?! — Ольга обвела комнату руками, довольная тем, что попала в цель. — А за какие заслуги тебя сюда сослали, дорогой?

— Кого сослали? Ты о чем?

— Тебя! Тебя сослали! И ты это прекрасно знаешь, только виду не подаешь! Ну конечно, ты ведь у нас самый умный! А что я могу понять, постичь своими куриными мозгами? Ты ведь так говоришь, дорогой? — Она склонилась над мужем со стержозной улыбкой.

— Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты...

— Чтобы я что?

— Чтобы ты не называла меня так...

— Как? Тебе не нравится, когда я называю тебя «дорогой»?

— Не это... Не нравится, каким тоном... — пробурчал Летягин, избегая взгляда жены.

— Смотрите, какие мы нежные! — Ольга рассмеялась.

— И я не считаю мое назначение сюда ссылкой! — взбешенный ее смехом Летягин повысил голос. — И хочу, чтобы ты это раз и навсегда поняла! Это было и мое решение.

— А мне плевать, как ты это называешь! Твое решение! Я тебя умоляю... — Ольга обдала его презрением. — Можешь называть это как угодно, это абсолютно ничего не меняет! — крикнула она мужу в лицо. — Мне уже тридцать, а что я видела в этой жизни?! Что я увижу здесь?! Кроме зачуханных старух в платках! Не думаешь обо мне, так подумай о дочери! Хотя, конечно, будешь ты о нас думать, — наверное, уже глаз положил на какую-нибудь бедрастую сучку!

Летягин потянулся было к папиросам, но Ольга одернула:

— И нечего в доме курить!

— Тогда я выйду.

— Можешь убираться к чертовой матери на все четыре стороны!

Когда он вышел, Ольга схватила стопку с книгами, принесенную Зиной. Тесьма оборвалась, и книги упали на пол. Застонав и от этой неудачи, Ольга в бешенстве топтала лежащую под ногами «Мать» Горького.

Оказавшись во дворе и затянувшись папиросой, Летягин вздохнул: зараза. Слова, брошенные Ольгой, вертелись в голове. Жена всегда умела найти больное место.

Летягин присел на лавочку. Небо никак не чернело. «В июне самые длинные дни». Летягин неторопливо курил и улыбался мыслям. «Нет, все же какая она. Вот что значит женская интуиция... Бедрастая сучка, — Летягин усмехнулся, — это ж надо такое сказать».

В дом не хотелось возвращаться. Он закурил вторую папиросу.

Летягин вспомнил невысокую девушку: Зина. Он выдохнул мечтательно дым.

На небе забрезжили звездочки. Одна, вторая.

Зина долго не могла уснуть. И не заметила, как птички в палисаднике зачирикали. Она все вспоминала его. Каждое слово, взгляд, улыбку. Только раз видела, а вот не может забыть. Зина сладко потянулась и закуталась сильнее в одеяло.

\* \* \*

Все последующие дни остаться вдвоем Зине и Летягину не удавалось — сплошная суматоха. Дела и люди. А лето дышало, светило в распахнутое окно. Внимательные прокурорские глаза смотрели с интересом, и Зина знала, что все будет. Решено.

В кабинете у мужа несколько раз появлялась Ольга, но никак не могла его застать. Зина сидела, склонившись над машинкой, и односложно отвечала: Виктора Валерьевича нет.

— Его никогда нет... — ворчала Ольга и, окидывая недовольным взглядом кабинет, уходила.

Зина отрывалась от машинки и с раздражением смотрела ей вслед: мозговыжималка.

— Зина, я завтра в Красноярск поеду, — сказал через неделю, как принял дела, Летягин, — может, тебе что нужно — заказывай.

— В Красноярск? А надолго? — вырвалось у Зины.

— Дня на три-четыре. Так что с заказом?

— Да мне ничего не надо.

— Точно?

— Хотя нет, мне нужна рама для картины, — сказала первое, что пришло на ум. Нужен повод, чтобы общаться, соприкасаться, быть вместе.

— Рама? Какая рама?

— Деревянная. Для моей картины.

— Ты рисуешь?

— Да нет. Давно еще вышила картину, а рамы подходящей нет. Знакомый плотник сделал, но тят-ляп. Не подходит.

— Хорошо, рама так рама. Зайду в художественную лавку, узнаю.

— Спасибо. Я размеры напишу.

— Принеси лучше картину. Там и подгонят.

— Хорошо. И еще, — Зина запнулась, — а привезите лимонного ликера. А то у нас не продается.

— Лимонного ликера? — удивился Летягин. Он смотрел на Зину, будто впервые видел. — Необычная ты девушка, Зина... Ликер, рама. У тебя, случайно, нет художественной студии?

— Студии? Конечно, нет. Но рисовать я немного умею. Эскизы платьев. Я шью.

— Ну вот, я же говорил! — воскликнул Летягин. — Необычная девушка.

— А вы все шутите... — Зина опустила глаза.

— Не шучу.

— Правда?

Летягин приблизился:

— Правда.

И тут произошло невероятное. Он притянул Зину к себе и поцеловал.

Топот ног в коридоре и стук в дверь. Голоса и люди. Бумаги — целый ворох.

Зина до конца дня искала важный документ. Так и не нашла. Все валилось и падало, кругом ошибки и опечатки, а в конце — явилась она...

Мозговыжималка!

На следующий день он уехал.

Кабинет без него стал пустым. От зацветшей черемухи за окном несло холодом, и лето разом исчезло.

Зина ждала. Засыпала и просыпалась с мыслью о нем. Никогда в жизни не ощущала так одиночество, не предполагала, что так может быть.

Пальцы на руках стыли, и Зина дышала на них, пытаясь согреться. Она куталась в кофту, подкидывала в печь распиленные доски с гвоздями, подолгу сидела у открытой дверцы и все смотрела на огонь. От жара пламени становилось тепло, и Зина улыбалась. Вся возможная будущая жизнь с ним проносилась лентой. Он скоро вернется, еще немного, еще чуть-чуть.

В один из вечеров Зина решила перебрать библиотеку: вытащила все книги из шкафа и тумбочки, разложила на полу стопками и, протирая тряпкой от пыли, водворяла на прежние места.

Небольшая, но своя библиотека, гордилась Зина, с любовью пролистывая книжки: «Записки охотника», «Первая любовь», «Анна Каренина». Самые любимые книжки подарил отец. Зина взяла в руки сказки Андерсена и вздохнула: на каждый праздник и день рождения знала и ждала — вот раскроется дверь, войдет отец, таинственно улыбаясь и пряча за спиной подарок.

Когда коснулась «Красного и черного», рука дрогнула.

Черные буквы на красномплыли... Зина затрепетала от видения, заклубившегося в темном углу. Окровавленная женщина на снегу приближалась.

Форточка распахнулась, и Зина очнулась. Схватила книгу, вбежала в кухню и, не обращая внимания на мать и сестру, бросила ее в печь.

— С ума сошла — книги жечь! — крикнула мать.

— Зин, ты чего?

— Отстаньте! Моя книга, что хочу, то делаю!

— Мало ли что твоя.

За ее спиной говорили, но Зина не могла оторвать глаз от вспыхнувшего пламени. В печи гудело. Источник ужасного видения корчился и чернел. «Не появляйся больше никогда...» — шептала Зина в огонь. Она забыла, как в доме появилась эта злосчастная книга, да и какая теперь разница — с ней покончено, впрочем, как и с прошлым и всем остальным. Оно больше не потревожит и не явится.

Зина прикрыла дверцу печи.

— Ну, теперь успокоилась? — проворчала мать.

Зина молча накинула платок и вышла.

На улице шумел невидимый дождь.

Зина прошла через двор в огород, укрывшись в дровянике, достала папиросы и закурила. Она стояла, облокотившись о дверной косяк, выдыхала дым и смотрела на поникшие цветы и деревья. Все, что недавно цвело, опало, и, казалось, не оживет никогда. Неужели лето кончилось, не успев начаться?

— Да нет, так не бывает... — успокаивала себя Зина. — Он вернется, и все будет по-прежнему.

Докурив, она вдавила в сырую землю окурок и долго еще стояла, прислушиваясь к дождю.

Страшное видение не отпускало. Что это? Предупреждение? Если да, то о чем? Фотовспышками мелькала та роковая ночь с темными прокурорскими окнами.

На следующий день он появился на пороге кабинета, и Зина ахнула. Летягин стоял счастливый, с чемоданчиком в руках и бумажными кульками.

«Сразу сюда, ко мне! Не домой!» — пронеслось у Зины.

— Здравствуй... те, — прошептала она.

В душный воскресный день перед домом Стрельцовых остановился грузовик. Улыбчивый шофер вручил Зине огромный квадратный сверток.

— Что это? — спросила Лида.

— Сейчас покажу.

В доме Зина сняла обертку.

Картина «Влюбленные в лодке» стояла у стены в новой позолоченной раме.

— Какая красота! И как под цвет подходит. Как будто бы родная, — рассматривала и трогала пальцами раму Лида.

Зина улыбалась:

— Красотень.

Она взяла картину и повесила на прежнее место над кроватью. Отошла к двери и любовалась издалека.

— А кто это сделал? Ты ничего не рассказывала, — допытывалась Лида.

Зина загадочно улыбалась и все смотрела на картину.

— Давай рассказывай, — тормошила за рукав Лида.

Пришлось рассказать.

Восторг Лиды сменился удивлением с промелькнувшим в глазах страхом. Зина наблюдала за сестрой с вызывающей улыбкой.

— Ну ты даешь. — Лида присела на кровать. Она пребывала в шоке. — Ты хоть понимаешь...

— Понимаю что? — перебила Зина.

— Что так нельзя.

— Почему?

— Как почему — он ведь женат.

— Ну и что? Если мы любим друг друга, почему он должен жить с этой мегерой? Странно. — Зина пожала плечами.

— Ведь у них ребенок... — Лида смотрела на сестру: как свойственно Зине идти против всех.

— Ну и что? У него будет и от меня ребенок.

— Зина?! Ты?.. — Лида схватила за руку сестру.

— Не бойсь. Дети — это последнее, что меня интересует, — рассмеялась Зина.

Лиду покорило от ее смеха. Казалось, Зина смеется через силу. Надрываясь.

— И что ты собираешься делать?

— Любить! И быть любимой. Что же еще? — Зина поднялась с кровати, оправила халат.

— А если она узнает?

— Это было бы прекрасно. Может, из гордости она наконец оставит его.

— Не знаю. Мне кажется, это неправильно — встречаться с женатым, и тем более у него ребенок.

— Да перестань ты бухтеть! Заладила! По твоим рассуждениям, если расписались, то теперь до гроба? Сейчас не старорежимное время, чтобы человек мучился в браке с нелюбимым. Другие времена. Да мало ли что у нее ребенок. Да хоть трое. Ребенок вырастет и помашет родителям ручкой. А мы любим друг друга и хотим быть вместе сейчас, а не через триста лет! Пойми ты, он не любит ее, она не любит его, ребенок это чувствует. Зачем такая жизнь? Я, может, как тот санитар... — Зина усмехнулась. — Избавляю от мучений.

— Ты так говоришь, как будто у вас все серьезно. Он приехал совсем недавно.

— Для любви и одного взгляда достаточно.

\* \* \*

— Я с Юлей к родителям пораньше поеду, — сообщила Ольга за завтраком. — Поедем в субботу.

— Ты же хотела в июле? — Летягин неимоверным усилием воли удерживал восторженную внутри радость.

— Передумала. Устала что-то я от нового места жительства.

— Быстро ты устала.

— Для меня каждый день в этой дыре — каторга.

— И надолго ты уедешь? — насколько мог безразлично спросил Летягин.

— Как и хотела — до августа. Посмотрим.

— Я на выходных постараюсь приехать. — Летягин доел кашу, откинулся на стуле.

— Мне не терпится принять ванну с большой пеной, чтобы она падала на пол. Я хочу, наконец, сходить в парикмахерскую. Здесь страшно жесткая вода. Это сказывается на всем — волосах, руках, коже.

— Не преувеличивай. — Летягин взял стакан чая. — Ты просто не привыкла.

— Не привыкла? Тебе легко говорить — ты в тазу посуду не моешь! — Ольга постаралась взять себя в руки: не хватало сцен с самого утра. — Превращаюсь в какую-то склочную бабу. И все из-за тебя... — сказала она совсем по-другому. Игриво. Красивой рукой с тонкими пальцами взяла любимую фарфоровую чашку.

Летягин уловил и тон, и жест. Они улыбнулись друг другу, как раньше. Как это было давно. Он любил Ольгу именно такой. Куда все делось? Летягин посмотрел на часы.

- О! Мне пора.
- У меня к тебе одна просьба.
- Я весь внимание.
- В мое отсутствие — будь осторожен.
- То есть? Не понял.

— Помни, что здесь не город, а деревня. Любой чих разносится со скоростью ветра, и все всё знают. — Ольга передернула плечами. — Они даже здороваются здесь на улицах с каждым встречным.

— Просто ты новое и красивое лицо на этих улицах, и все хотят с тобой поздороваться. — Летягин сделал вид, что пропустил мимо ушей предупреждение.

- Неужели? Мне от этого не легче.

С отъездом Ольги для влюбленных наступила счастливая пора. Они не разлучались.

Зина расцвела, загорела, угловатость и грубость исчезли. Она стала тщательней относиться к внешности. Из старых, давно лежащих обрезков скроила и сшила два летних сарафана.

Лида видела перемены в сестре и тайком вздыхала.

— Зина, уж не влюбилась ли ты? — спрашивала, улыбаясь, мать. — Прямо красавицей стала.

— Ой, да в кого тут можно влюбиться! — отшучивалась Зина и, сталкиваясь с Лидой взглядом, отводила глаза.

\* \* \*

Лес темнел, становился гуще.

- А мы не потеряемся? — подшучивал Летягин.
- Было бы хорошо, — рассмеялась Зина. — Представь — мы одни, как и мечтали. Мы бы построили шалаш и зажили.
- А потом бы нас сожрали волки.
- Они могут. — Зина резко обернулась и очутилась в его объятьях. — Ты меня любишь?
- Конечно. — Он коснулся ее лица губами.
- Я тогда договорюсь с волками, и они нас не тронут. Я же местная.
- Придумщица ты моя.
- А мы, кажется, пришли. Смотри!

За черными лапами елей появилась поляна.

Небольшое с темной гладью озеро. И солнечные лучи, пробивающиеся сверху. «Как прожекторы», — восхитился Летягин. Он задрал голову — неба совсем не видно, лишь полоски света прорезались сквозь кроны деревьев.

- Надо же, бывает же такое. Я думал, только в сказках.
- Бывает. Я с детства знаю это место. Таких мест с озерами не сколько. Это первое. Вода ледяная и чистая. Можно пить.
- И сюда никто не ходит?

— Думаю, что нет. Мы с Лидой еще в детстве забрели сюда. Сколько раз были, никогда и никого не встречали.

Зина стояла на кочке. Она наклонилась, потрогала воду рукой. Брызнула. И рассмеялась.

— Это единственное место во всей вселенной, где мы совершенно одни, — сказала она серьезно.

Летягин заворожено смотрел. Зина выпрямилась под его взглядом, отстегнула бретельки сарафана.

— Иди ко мне, — позвал он.

Они расстелили на траве покрывало, вытащили из сумки бутылку с морсом, пакет с едой.

Летягин лег на спину. На удивление было не жестко. Зина прилегла на него сверху.

Он любил ощущать ее сверху. Мог сколько угодно гладить округлые сбитые ягодицы, держать их в руках, направляя. Ее груди касались лица. Летягин прижимался сильнее, вздрагивая от нарастающего желания...

Они проснулись вместе от прохлады, тянувшей с озера. Легкий туман клубился у воды.

Зина, молчаливая, поднялась. Летягин наблюдал за ней — что-то не так?

Когда уходили, она с силой обняла его.

— Сегодня последний день, — голос Зины дрожал.

— Почему последний?

— Завтра приезжает она.

Он погладил ее по голове.

— Я чувствую, что последний. Так, как было, уже не будет... — Зина расплакалась.

— Успокойся, дурочка, — Летягин приподнял ее лицо, — я ведь с тобой. Ну что ты? — Он обнял ее.

— Нет, не будет! Не будет... — Зина плакала, всхлипывая на его плече.

Впервые Летягин задумался о последствиях.

Он посмотрел вверх, словно из колодца. Свет тускнел. На миг Летягин ужаснулся: «Что я наделал? Что будет с этой девочкой?»

Жена приехала поздним вечером.

Летягину показалось: ее не было год. Так он отвык. Никакой радости от встречи.

Довольная, напитавшаяся городом Ольга щебетала, передавала приветы от родителей, знакомых, разворачивала свертки, раскладывала вещи, ходила из комнаты в комнату. Казалось более чужой, чем до отъезда.

Летягин с грустной улыбкой цедил чай.

Ольга загорела. На ней было новое белое платье в тонкую голубую полоску. В нем она выше и еще стройней. Новая прическа, новые духи.

Летягин смотрел на жену — холеная горожанка, какой всегда и была. «Отец деньжат подкинул».

Поймав взгляд мужа, Ольга смутилась. Отвернулась и, поправляя волосы у зеркала, сообщила, что дочку решила оставить у родителей до сентября. Ей там лучше.

Летягин встал из-за стола, допив наконец чай.

— Ты куда? Я не все рассказала.

— Покурю и вернусь.

Август сверкал звездами. От прошедшего недавно дождя пахло мокрой травой и свежестью. Летягин курил. Что будет дальше? Как-то все усложнилось. Он впервые не знал, что делать.

Ольга шла из магазина. Как всегда, поглощенная мыслями, никого не замечала.

— Доброго денечка!

Ольга вздрогнула от неожиданности. Остановилась. Краснощекая здоровая баба шла прямо на нее.

— Как поживаете, Ольга? По батюшке не знаю, как вас.

— Александровна. Здравствуйте.

— А я Пичугина. Помните, я вам с нашими женщинами разгружаться помогала? Помните?

Пичугина странным образом произнесла «женщины»: Ольге послышалась «о» вместо «е». Она снисходительно улыбнулась:

— Да, припоминаю. Спасибо вам за помощь.

— Да ладно, чего уж. — Пичугина махнула рукой. — Ну, как вы поживаете? Что-то не видно вас последнее время.

— Я уезжала в отпуск... — Ольга чуть не стала рассказывать, куда и зачем ездила. Она резко замолчала, одернув себя: дожила! обабилась!

Краснощекая Пичугина стояла в выжидательной позе. Ольга молчала.

— А, вон оно что, — протянула Пичугина, — а я-то думаю, где вы.

— Ну вот, я и появилась, — улыбнулась саркастически Ольга и попыталась обойти Пичугину. Та посторонилась.

— А я Зинку с вами спутала. Вижу, она к вам в ворота шасть. Думала, вы! — прокричала Пичугина Ольге в спину.

Ольга остановилась.

— Какая Зинка?

— По темноте дело было, вот и спутала. Зинка — секретарша в прокуратуре. Да вы ее знаете.

Сгорая от стыда, Ольга шла, не смея смотреть на прохожих. Ей мерещилось, что все обо всем знают. Зачем она сюда вернулась?

Дома не знала, за что схватиться, сгорала от желания появиться внезапно в прокуратуре, обличить их, призвать к ответу! Скотина! Она схватила тряпку и стала тереть пол. Мерзавец! Клоун! Так опозориться! Теперь эти зачуханные бабы в платках будут полоскать ее имя!

Когда Летягин днем заскочил домой, Ольга как раз возилась с полами. При виде мужа она истерично рассмеялась:

— На ловца и зверь! Да, дорогой?

Летягин насторожился.

Ольга как стояла с тряпкой, так и пошла на него.

— Я ведь предупреждала тебя, дорогой!

Он успел ухватить взметнувшуюся у лица тряпку. Ольга замахнулась свободной рукой, Летягин увернулся.

— С ума сошла, дура?!

— Дура, что с тобой связалась! Сто раз — дура!

Она стояла перед ним растрепанная, вытирала руки о новое платье.

— Делай, что хочешь. Хоть в камеру сажай свою Зинку, но чтобы я ее не видела, — прохрипела Ольга, — иначе завтра собираю вещи и подаю на развод.

Зина сидела за работой у открытого окна. Она засмотрелась на букет полевых цветов на подоконнике. Цветы из леса. Их цветы.

Стояла послеполуденная тишь. Вместе с ветерком в окно прокуратуры залетали и улетали назойливые мухи.

Вот влетел толстый шмель и приземлился на букет.

«Как медвежонок-сладкоежка», — улыбнулась Зина.

А «медвежонок», перестав жужжать, замер, точно уснул на облюбованном цветке. Зина осторожно подошла к окну. Шмель не двигался. «Так и есть — неужели уснул? Нет — он забылся, объевшись нектара». Зина положила локти на подоконник. Она наблюдала минуты две-три. Кашлянула. Шмель очнулся. Недовольно зашумел и, тяжелый, полетел дальше.

— Зина! — послышалось на улице.

К окну подошел Сашка.

— Саша, ты? Привет! — Зина обрадовалась соседу. Она и забыла о нем этим летом. — Ты куда пропал?

— Да я куда не пропал, а вот ты точно пропала.

Зина рассмеялась. Загорелое лицо Сашки облазило, светлые волосы совсем выгорели на солнце. Недовольная мордья выглядела умильно.

— Рыбу ловишь? — спросила Зина. Сашка был знатный рыбак. Его улов Сашкина бабка продавала на рынке и по соседям.

— Ловлю. Зин, слушай, а это правда? — Сашка ближе подошел к окну.

— Правда что? — беззаботно спросила Зина, потягиваясь.

— Ну, то, что у тебя и прокурора... — Сашка запнулся.

— С чего ты взял? — Зина выпрямилась.

— Пичуга говорит.

— А ты больше слушай эту сплетницу.

— Так я чего, другие слушают.

— Бабы базарные — вот и слушают! — Зина дернула створку окна и сшибла банку с цветами.

Дома мать устроила скандал. Весть о связи прокурора и Зины дошла и до нее.

Зина на удивление молчала и не оправдывалась, как поступила бы раньше. Лида с сочувствием смотрела на сестру. Та закрылась в комнате. Мать стучала в дверь.

— Срам-то какой! Что теперь будет-то? — разводила руками Стрельцова, уставившись на младшую дочь.

Решение было найдено: в соседнем районе в сельсовете машинистка уходила в декрет. Летягин договорился о месте для Зины. Оставалось уговорить саму Зину.

Он оттягивал разговор до последнего. Чувствовал себя мерзавцем. «Подлец!» Все вышло не так, как могло бы выйти.

— Я никуда не поеду без тебя!

— Зина, хорошая моя, ты только не волнуйся... — Летягин держал Зину за руки. — Это ненадолго, временная мера. Пойми, по-иному сейчас нельзя. Мы обязательно увидимся. Надо выждать время, пока все утрясется. А я обязательно приеду к тебе. Ну, посмотри на меня. Надо ехать. Я машину заказал на завтра.

Зина отвела глаза. Березовая роща шелестела, тут и там проглядывала желтизна. Осень подступала.

Зина вздрогнула.

Именно здесь нашли тело Эммы Викторовны. Зина всегда обходила стороной это место. Как они здесь оказались?

Она прижалась к Летягину и прошептала:

— Пойдем отсюда.

## Жертвы

Никольское оказалось довольно большим и шумным. Оно стояло на пересечении дорог. С утра до вечера по центральной улице разъезжали, поднимая пыль в небо, грузовики, телеги.

Разместилась Зина у вдовой старухи Киселихи.

Киселиха, по паспорту Авдотья Никитична Киселева, жила одна. Овдовев лет сорок назад, так и прожила всю жизнь одиночкой.

Дом Киселихи стоял на центральной улице. Разросшиеся в палисаднике сирени и рябины с елями скрывали его от глаз прохожих.

Киселиха часто сиживала подле ворот на лавочке, прищурившись, наблюдала за прохожими. Сидела всегда одна. Никто не входил и не выходил из ворот Киселихи. Редкий приезжий квартирант и тот прошмыгнет, будто и нет его.

Оживал дом глубоким вечером — впотьмах в ворота стучали разные скрытые мраком личности. То была постоянная клиентура Киселихи. Старуха гнала самогон и тайно продавала. Конечно же, не было в этом особой тайны, но тем не менее все меры конспирации соблюдались.

Смотря недоверчиво на клиента мутно-серыми глазками, Киселиха вытаскивала из-под полы бутыль и, держа самогон в руке, другую руку

протягивала посетителю. Когда в ладони оказывалась денежка, старуха прятала ее в карман и отдавала самогон.

Зину на постой приняла с охотой. Киселиха не упускала ни одной возможности заработать.

Деньги ласково называла — денежками.

Аккуратно складывала их в чулок и прятала в надежное место — в тайник, что в погребке. Деньги на текущие расходы хранила под матрасами, в подушках и за иконами. Каждый день, оставаясь одна, раскладывала купюры на столе, с любовью разглаживала, пересчитывала. В полную луну или нарастающий месяц клала деньги на окно, чтобы лунный свет непременно касался их. А то и стояла на крыльце, вытянув руку с самой крупной купюрой, и все приговаривала: ведись не переведись.

Зина приехала под вечер, в дождь.

— Да, погожие деньки уж кончились, теперь одно ненастье будет, — сетовала Киселиха, принимая и разглядывая промокшую гостью. — Ничего, садись ближе к печке, быстрее обсохнешь. Я сейчас. — И она вышла в сени.

Зина успела промокнуть под ледяным дождем. Поставив чемодан у порога, присела на табуретку возле печи.

Только что подкинули поленья, и печь потрескивала. Зина вытянула руки над плитой и стала осматриваться.

Просторная комната была кухней и прихожей одновременно, как водится во многих деревенских домах. Убранство вокруг удивило Зину чистотой и бросающейся в глаза зажиточностью. Особенно заинтересовала лампа, висящая над столом, — оранжевый абажур с бахромой по краям. Зина таких ламп не встречала.

Киселиха вернулась, принесла с собой чугунок с картошкой и тарелку с малосольными огурцами. Поставив все на стол, она обратила внимание на Зинин чемодан.

— Ох, а вещей-то у тебя не шибко много. Ненадолго, что ль? — заинтересовалась, озабоченно прикидывая, надолго ли задержится квартирантка.

— Да у меня больше и нет. Всё при мне, — ответила Зина, не понимая вопроса старухи.

— А... — протянула с пониманием Киселиха. — Так, сейчас покормлю тебя. Согрелась иль нет? — В ответ Зина кивнула. Но Киселиху такой ответ не удовлетворил, осмотрев с пристрастием гостью, проворчала: — Конечно, не согрелась, где уж тут. Еще разболееси. — И она опять вышла.

Когда вернулась, кинула под ноги Зине домашние тапочки.

— Ты давай, мокрое сьмай, а вот кофту мою накинь-ка. — Она подала Зине шерстяную вязаную кофту.

Переодевшись, Зина утонула в хозяйском одеянии.

Киселиха посадила гостью за стол, где, помимо закуски, стоял и штоф.

Хозяйка нарезала хлеб, а Зина не спускала глаз с графина.

Вспомнилась сразу Эмма Викторовна и как они вдвоем в такой же холодный дождливый вечер сидели за рюмочкой: вспотевшие окна,



чайник шумел, папиросы дымились, и Эмма Викторовна как живая... У Зины защипало в глазах, она тяжело вздохнула.

Страшно захотелось выпить: когда выпьешь — теплеет и сразу становится хорошо. Стесняясь Киселихи, Зина думала отказаться, если та предложит, но, когда хозяйка предложила, отказаться не было сил: «Чего ломаться? Да и неудобно, человек от чистого сердца предлагает».

— Ну, давай, за знакомство и для сугрева, — подняла рюмку Киселиха. — Ты не кривись, самогон — отличный. Вишь, чист как слеза и не пахнет.

А Зина и не кривилась, так, для порядка, нехотя взяла старинную граненую рюмку на длинной ножке, удивляясь кристальной чистоте самогона. Сначала подумала — водка. До этого если и пила самогон, то мутный, пахучий. Зина принюхалась — запаха вроде нет. Она зажмурилась, сильнее вдохнула, как учила Эмма Викторовна, и выпила.

Обжигающая благодать внутри: «Бр-р...» Зину передернуло, но от удовольствия. И сразу захорошело, стало жарко в этой комнате, за этим столом. Зина размякла.

— Ох! Хорошо пошло, — крикнула Киселиха, похрустывая огурцом. Дождь брнчал по крыше, колотил по стеклу.

— Ох ты, как разошелся-то, — посматривала в окно Киселиха, — вовремя ты. Щас как развезет — не проедешь, не пройдешь. Опять картошку рыть в грязи. — Старуха наполнила рюмки.

После второй Зине захотелось плакать, и она неожиданно разрыдалась. Киселиха переполошилась. А из Зины полилось все, что пережила за эти месяцы, за последние дни. Вся недолгая жизнь Зины предстала перед Киселихой в виде захватывающего и жалостного романа. Старуха навострила уши, даже приподняла край платка с левого тугого уха: не пропустить бы чего. После пятой Зина уже не рыдала, а еле ворочала языком, история подошла к концу.

Киселиха предусмотрительно унесла графин в сени.

Когда она проводила Зину под белы рученьки в комнату, та рухнула на постель, не раздеваясь. Постояв немного над спящей Зиной, подумав о чем-то своем, старуха вышла.

\* \* \*

Работа в сельсовете была схожа с работой в прокуратуре — на машинке печатай да бумажки подшивай. Только день проходил веселее и быстрее.

— Потому что работаем с нормальными людьми, а не со всякой шантрапой, как в прокуратуре, — рассказывала Зина Киселихе.

— Работа не бей лежачего. Откуда ж такие милости? — щурилась сытой кошкой старуха.

— Милости... скажете тоже.

Зина уходила в свою комнатку, взбиралась на высокую кровать, брала книжку.



Книжка не читалась. От форточки тянуло влагой, надоедливый дождь шуршал листьями пожелтевшей рябины.

Каждый день Зина думала о Летягине. Она не принимала их разрыв. Не верила. Во всем виновата жена. Не будь ее — они были бы вместе и любили друг друга.

Зина торопила дни и выжидала. Должно пройти время, и все утрясется — так говорил он. Каждый день ждала, а вдруг приедет — обещал ведь.

Не удержалась и сорвалась в октябре. Когда узнала, что Колька Феоктистов поедет за запчастями в Ручьевск, — напросилась.

Ехали молча. Поначалу Зина поддерживала пустую беседу, а затем бросила. Перед глазами мелькал голый лес. От унылого пейзажа за окном становилось еще тоскливей. Единственное утешение — скорая встреча. Зина мечтала, как она подкрадется сзади и закроет ему руками глаза. Завтра же она пойдет с утра в прокуратуру. Интересно, кто у него в секретаршах?

Приехали поздним вечером.

— Тебя где высадить?

— Вот здесь.

Зина сошла на центральной улице и пошла в сторону прокурорского дома. С темного неба сыпал снежок.

Она встанет у палисадника и будет смотреть на теплый свет его окон. А вдруг выйдет. Он выходит во двор покурить.

Зина тяжело дышала от быстрой ходьбы. Она с надеждой смотрела вперед. Пальцы застыли, вцепившись в ручку сумки. Сейчас... вот за поворотом. Сердце застучало, Зина замедлила шаг: окна дома, где он живет, — темны! Остановилась. Да нет... возможно, они в гостях. Или он на выезде, а жена в гостях. Да мало ли.

Быстрым шагом она прошла мимо окон, невозможно смотреть в эти черные дыры.

Родной дом уютно горел огоньками, а в душе холодела тревога.

— Зина?! Вот не ждали! — вскрикнула при появлении сестры Лида. — Что ж ты не предупредила? Как ты? Мамы еще нет.

— Да подожди ты. — Зина присела на лавочку возле порога и растегнула ворот пальто.

— Что с тобой? — Лида присела рядом, взяла сестру за руку.

— Подожди ты. Дай дух перевести.

— С тобой точно все нормально? — Лида с подозрением осматривала Зину.

— Да нормально все. Скажи. Скажи, где он? — Зина сжала руку сестре. — Он здесь?

— А, ты об этом... — Лида освободилась из цепких пальцев. — Они уехали.

— Как уехали? Насовсем?

— Стало быть, насовсем. Его, говорят, перевели обратно в Красноярск.

Комната зашаталась. Зину повело.

— В Красноярск, говоришь, — зашептала она.

— Ну да, туда. Отчалили на той неделе.

— Отчалили... на той неделе. — Зина встала и, не раздеваясь, прошла в комнату.

— Зина! Что за причуды? Пора бы забыть.

— Забыть, говоришь. — Зина вернулась из комнаты. — Ты ничего не путаешь?

— Ты о чем? Куда ты?!

Небо прорвало. Снег липкий, крупный. И сразу посветлело.

Ноги несли сами. Она отдала бы все, только бы Лидка соврала.

А может, сестра перепутала и ничего толком не знает? Скорее всего!

Бежала, а сама боялась смотреть вперед. Не дай бог увидеть опять эти чертовы окна!

Темный брошенный дом.

Зина торкнулась в калитку, скрипнув, та отворилась. Весь двор укрыт выпавшим девственным снегом. Зина не посмела ступить по нему.

Присев на скамейку у ворот, она подрагивала, но не от холода.

Белая земля из-под ног уплывала.

Зина никогда не была на море. Она читала про него и разные страны в книжках. Шлюпка с путешественником, выброшенным в океан, покачивается на волнах, и человек всегда надеется на чудо. Только вот чудес на свете не бывает.

Зина взяла горсть снега и прижала к лицу.

Среди ночи Киселиху разбудили.

— Бабк! А бабк!

Кряхтя и помаргивая сонными глазами, старуха поспешила к двери.

— Господи, кто еще?

— Бабк! А бабк! — кричала Зина с порога.

— Да что ты, шальная, разгорланилась-то?!

— Бабк! Ставь чайник и заводи шарманку! — кричал Колька Феоктистов, тряся бутылем самогона.

\* \* \*

Дела Киселихи пошли в гору. Теперь она не только торговала спиртным, но устраивала и хмельные вечеринки, где главной звездой была Зина. Старуха раскусила квартирантку, смекнула, что попала на золотую жилу и при хорошем обращении из Зины можно веревки вить и получать большую прибыль: охотников, желающих подружить с пылкой барышней, хоть отбавляй.

Опьяневшая от той свободы, что свалилась в Никольском, Зина и не замечала, как быстро катилась вниз. За прогулы и халатность ее перевели

в уборщицы, а Зина чихала. Видела, как смотрели на улице все эти «примерные наседки». В ответ задирала голову и, распрямив плечи, проходила мимо с презрительной улыбкой. В доме Киселихи, оставаясь одна, истерично хохотала или тихо рыдала, вцепившись зубами в подушку. Вечером оживала вновь, горланила песни за столом, сверкая глазами, и женатым гостям уделяла внимания больше — подсаживалась на колени, держа на отлете папиросу. Их она любила страстно, яростно — чтоб привязать, чтоб сохли по ней, убегая от правильных жен.

Худенькое тело Зины стало плотным, как у женщины. Туфли на огромных каблуках не снимались. Широкое скуластое лицо раздулось, покрытое толстым слоем пудры и румян. Размалеванные красной помадой губы, складываясь в букву «о», выпускали папиросный дым. И только по маленьким серым глазам, смотрящим порою с грустью и надеждой, можно было узнать прежнюю Зину.

Со временем взгляд остыл, как остыла Зинина душа. Что знала, о чем мечтала, чем жила в родительском доме — забылось. Зина не видела ничего предосудительного в своем поведении, на все попытки неравнодушных к ее судьбе людей помочь отмахивалась, раздраженно передергивая плечами. В пьяном бреду скулила за столом:

— Чего лезут? Что я им сделала?

Подливая в рюмку, Киселиха приговаривала:

— Да это ж все от зависти да злобы... Конечно, живешь припеваючи — вот и злятся, сволочи.

— Да уж, припеваючи, — бурчала под нос Зина, а голова медленно опускалась на стол.

\* \* \*

В тот вечер Зина была на взводе. Повздорила с развеселой компанией, заседавшей у Киселихи. Что-то ей не то сказали, а грубости Зина не терпела. Хлопнув дверью, на танцы пришла одна. Со злостью выбивала дробушки под баян, спустив с плеч платочек, вызывающе поглядывала по сторонам. В клубе многолюдно, кругом недоброжелательные взгляды.

Зина не зналась с местной молодежью. Раздражала вызывающим поведением и независимым видом. К Зине ревновали. Умению танцевать и «охмурять» мужчин — завидовали. В другой раз не обошлось бы без скабрзных шуточек, но злобный настрой Зины стеной отгородил людей. Танцующие расступились, Зина с яростью притопывала. Когда баян умолкал, отчетливо слышался стук Зининых каблукочков.

Кружась, Зина смотрела в незнакомые глаза. Синие. Кто это? Замедляя темп, пыталась рассмотреть. Симпатичное лицо, вихрастый чуб. Где-то она его видела...

Когда смолкла музыка, Зина остановилась.

Незнакомец улыбнулся, и так стало хорошо. Зина соскучилась по теплomu взгляду. Ей осточертели похотливые улыбки ухажеров. Она за-

мерла в ожидании — он подойдет, сожмет в объятьях, и они закружатся под звуки волшебного вальса. И в то же время молила, чтобы время остановилось, чувствовала: время — злейший враг и со следующей секундой все исчезнет.

Как только обладатель синих глаз неуклюже привстал, опираясь на трость, тень разочарования проползла по Зининому лицу — она очнулась и выбежала из клуба.

С войны Федор вернулся без ноги.

Жил с вдовой сестрой Галиной в родительском доме.

«Да, тяжело тебе будет найти хозяйку», — скрипела Галина, искоса поглядывая на физический недостаток брата.

Худая, черноволосая, с длинным носом, Галина в профиль напоминала ворону и совсем не походила на брата. Чернющие вороны глаза цеплялись за все, что видели. Не имея личной жизни, Галина сильно переживала и хлопотала о личной жизни других, и до всего ей была нужда и дело. Благодаря ей в Никольском всегда были в курсе: где, кто, с кем, когда и почему.

Озлобившаяся на весь белый свет после похоронки на мужа, она лихорадочно стремилась вновь выйти замуж. Тридцать лет, не успеешь опомниться — и сорок. Считаю старуха! Мужиков на селе после войны — три калеки, и те все расхватаны. Жила б одна, хозяйкой в доме — все надежда: кто-нибудь да прибился бы. Галина мечтала найти для Федора какую-нибудь дурочку, чтобы забрала его с глаз долой.

На удивление у брата появились поклонницы. Молодые и не очень вдовицы засматривались на меланхоличного Федора. Только вот Федор ни на кого не смотрел.

«Не знаю, чем тебе Архипова не угодила? Порядочная женщина, свой дом. А Николаева чем плоха?» — ворчала Галина.

Не отвечая сестре, скрутив самокрутку, Федор выходил на крыльцо.

«Радовался бы, что на калеку зарятся!» — хотелось сорваться, пороть. Хватаясь за веник, Галина мела и так выметенный пол.

На попытки сестры устроить его личную жизнь Федор не реагировал, он вообще жил в собственном мире, отстранившись от всех.

За верстаком в сарае молча мастерил нужные в хозяйстве вещи, большинство на заказ. Когда привозили в клуб фильмы, крутил кино, подрабатывая киномехаником. Вечерами, после ужина, часто сидел на кухне за столом и все смотрел в темнеющее окно.

— Может, занавеску задернуть? Темно уж, — спрашивала Галина.

— Да нет, посмотрю еще.

«Блаженный...» Жесткая рука касалась головы брата и падала плетью.

— Ну, посиди, посмотри. — Тяжело вздыхая, Галина выходила из кухни.

Еще в юности Федор брал уроки игры на баяне, но учение свое до ума не довел. Потом война. Баян пылился в чулане. Сейчас как никогда хотелось играть. Если бы умел, то мог бы играть в клубе.

У Федора не выходила из головы Зина. Необычная девушка. Казалось, ее принесло ветром. Не обращая внимания на пересуды, ползущие по Никольскому, Федор не видел в Зине развратницу. Она другая, и поведение Зины показное. Ведь это ясно как божий день! И как они не видят? Что-то произошло ужасное в ее жизни.

Федор мечтал, как бы он играл для Зины на баяне, если бы умел. Как бы он танцевал, если бы мог.

Он достал из чулана запыхавшийся инструмент, отер от пыли. Попытался растянуть меха.

— Только не это! — крикнула Галина из комнаты. — И так башка трещит!

\* \* \*

Встретив Зину на улице, Федор решил заговорить.

— Привет. В субботу в клуб придешь? Вроде агитбригада собирается приехать. Комсомольцы что-то там придумали, — говорил быстро, на одном дыхании.

— Сдались мне ваши комсомольцы, — вздернула нос Зина, — опять будут стихи читать да агитировать. Оно мне надо? — И тут же добавила: — Вот если танцы будут, то приду.

— Обязательно будут, — с жаром подтвердил Федор.

— Тогда приду. — И, подмигнув, Зина пошла дальше, помахивая авоськой.

Федор не двигался с места. Она обернулась и крикнула:

— А тебя как звать?

— Федор!

— А меня Зина!

— А я знаю! Очень приятно!

— Мне тоже!

Она постояла несколько секунд, рассматривая его на расстоянии. Махнула рукой — «салют!» — и, не дожидаясь ответа, пошла дальше.

До субботы считались не дни, а часы.

В клубе Федор застолбил место для Зины — уселся сразу на двух стульях. Только бы пришла. Где-то внутри подрагивало сомнение.

Когда зал наполнился, стул Зины колот всем глаза. Желаящих пристесть было предостаточно. Федор до последнего держал оборону.

— Молодец, что место занял! — Нарядная и красивая Зина появилась откуда ни возьмись. «Ее точно приносит ветром». Федор заулыбался.

— А народу, дышать нечем! Это все пришли на агитацию? — Раскрасневшаяся Зина осматривалась по сторонам.

— Скорее на танцы. — Федор придвинулся к ней ближе.

Зина с усмешкой глянула на Федора и не сдвинулась ни на миллиметр.

Во время выступления артистов на сцене Зина не скучала, чего Федор больше всего опасался. Она смеялась. В грустных и серьезных местах с задумчивым видом наблюдала за действием, сопереживала. Федор украдкой смотрел на нее. В конце были стихи о войне.

Под занавес раздались оглушительные аплодисменты. Зина хлопала от души. Когда повернулась к Федору, в глазах блестели слезы. Сморгнув, она сразу же отвернулась. Для Федора же в эту минуту не было никого ближе и родней этой девушки.

После выступления артистов стулья и лавки сдвинули к стене, освободив место для танцев.

Зина в нетерпении притопывала, с надменным видом осматривая присутствующих.

— Обрати внимание, как на нас смотрят, — шепнула она Федору.

— Обычно вроде бы смотрят, — улыбнулся Федор. Он слукавил. Не укрылся и от него шквал устремленных взглядов.

— Не скажи... — Зина веселилась. — Ой, Федор, окрутила тебя и тащит в омут недостойная женщина.

— Это кто?

— Я, Федя! Я! — Зина толкнула Федора плечом и рассмеялась. Рассмеялась звонко. Вызывающе. — Ой, смотри, пропадешь!

Федор конфузливо осматривался.

— Не маленький. Разберусь, — попытался он пошутить в тон Зине.

— Не маленький?! О, отличная новость! — И Зина расхохоталась. Федор покраснел.

Зину прорвало. Она заливалась смехом и не могла остановиться. Федор и сам стал смеяться. Стоявшие рядом парни переглядывались и улыбались. Но недовольных было больше. Приметив хмуро-напыщенное лицо, Зина указывала на него пальцем и смеялась пуце. Лица багровели, а заливистый смех Зины охватил весь зал. Солнечным зайчиком он прыгал по лицам. В толпе послышалось:

— Эта Зинка — девка огонь.

— Мина.

— Нет, бомба!

— Щас как рванет!

— Бедовая бабенка.

— Дед Митяй, давай играй!

Ударив в ладоши, дед Митяй, рыжебородый сельский баянист, развел меха баяна. Он притопывал ногами и, улыбаясь, поглядывал на Зину.

С первыми аккордами Зина, пританцовывая, вышла в центр зала. Раздался свист, хлопки. Зина била коронные дробушки.

Вдруг откуда ни возьмись появился Феоктистов.

— Колька? И ты тут!

— Я, Зинка! А то кто же.

Феоктистов подхватил Зину, и они закружились.

Федор и любовался Зиной, и ревновал. А кругом танцевали, свистели, подпевали хором.

Они сидели вдвоем на кухне. В кружках дымился чай. На столе принесенные Зиной картофельные шаньги.

Зина прихлебывала кипяток и рассказывала про Эмму Викторовну. Федор немногословен и тих, но это не беда — Зина могла говорить и хохотать за двоих, а он пусть смотрит влюбленными глазами. На нее так никто еще не смотрел. Даже *он...* Приятная волна подкатила и понесла в прошлое.

Зина опомнилась. Федор говорил. От сознания, что нравится и зажигает искорки в глазах сидящего напротив мужчины, Зина разгорячилась. Она с удовольствием бы выпила.

Шаги в сенях и скрип двери.

— Ох, какие у нас гости. Неожиданно, — протянула с порога Галина.

— Галь, садись с нами.

— Спасибо, братец, я чай уже гоняла.

Зина не ожидала, что эта чернявая баба, местная сплетница, — его сестра.

— Что здесь неожиданного? — привстала Зина. У нее возникло чувство, что она пришла к однокласснику в неурочный час и строгая мамаша их застала.

— А у вас сегодня не гуляют? Выходной? — Скинув платок, Галина прошла в залу, бросив через плечо: — Смотри, Федор, Киселиха и тебя привадит.

До дома Киселихи шли молча. Федор прихрамывал, опираясь на трость.

— Тебе не больно? — спросила Зина.

— Так я привык. Не первый год с протезом. Ты не обижайся на Галку. Одинокая она. Вдова.

— Будто она одна вдова. Дело не в этом. Да я и не обижаюсь.

У ворот остановились. Дом светился огнями. Через открытые форточки слышались голоса и смех.

— Стыдно даже тебя пригласить. — Зина сдерживала из последних сил слезы злости на свою неустроенную жизнь, на сестру Федора, на Киселиху.

— Тебе надо уходить отсюда.

— Куда?

— Переходи ко мне.

— К тебе? Это как?

— Выходи... — Федор кашлянул и выпрямился. — Выходи за меня замуж.

— Делаешь мне предложение?

— Делаю.

— Ты хорошо подумал?

— Я не сейчас это решил.

— Не уживемся мы с твоей сестрой.

— А при чем тут Галка? Дом и мой тоже. Да на худой конец, угол всегда можно найти, а там видно будет...

— Видно будет, — вздохнула Зина. Она то смотрела на звездное небо, то по сторонам, избегая смотреть в глаза Федору. — Спасибо тебе. Холодно что-то. Пойду я.

Она протянула руку.

Федор нежно пожал:

— Так как?

— Иди. — Зина нетерпеливо махнула рукой и скрылась за воротами. Дождавшись, когда Федор свернет с улицы, вышла и села на лавку.

Из окна орал граммофон. Зина чуть не схватила камень и не запустила в окно. «Когда вы уже заткнетесь?!»

На следующий день пришло страшное известие — слегшая с пневмонией Зинина мать внезапно умерла.

После последнего визита прошлой осенью у родных Зина больше не показывалась. Не решалась приезжать, раны еще кровоточили.

Вот и сейчас, идя по знакомым с детства улицам, она все надеялась встретить его.

Апрельский ледок хрустел под ногами, и сердце каждый раз замирало на поворотах: а вдруг. Зина ощущала его присутствие рядом. Не верилось, что он далеко. Неужели она никогда его не увидит?

После похорон Зина спросила у Лиды, что та собирается делать.

— Да уеду я, — ответила сестра.

— Куда?

— Так мы же с Егором расписаться хотим, к нему и поеду на разрез. Я же тебе говорила. — Лида удивленно смотрела на хмельную сестру, перевела взгляд на жениха.

— Егор? Какой такой Егор? А... — Зина все эти дни находилась в оцепенении и ничего не замечала. Она и забыла о Егоре, который сидел тут же. Она подняла пьяные глаза и увидела его ухмылку. — Чё, смеешься? У людей горе, а он смеется, — попыталась завестись Зина.

Егор сконфузился, смущенно посмотрел на Лиду.

— Зина, возьми хоть что-нибудь из вещей, — предложила сестра.

— Мне ничего не надо.

— Старая песня, ничего ей не надо, — Лида покачала головой. — Машинку швейную хоть забери. Я — не шью, а тебе пригодится.

— Машинку заберу. — Зина уставилась на Егора и горделиво добавила: — Машинка немецкой марки «Зингер», между прочим. Понял?

В Никольское вернулась грустная, тихая. Она осталась совсем одна. Сестре не до нее. Только после смерти матери Зина осознала, что лишилась самого близкого существа на этой земле, роднее и ближе которого никогда не будет. Чувство вины за холодность и равнодушие к матери при жизни пыталась утопить в вине, а тут как тут Киселиха, гладит по голове да успокаивает.



Одумавшись, Зина побежала к Федору.

Она выплакалась вдоволь на его груди. Жалась и не отходила. Впервые почувствовала себя маленькой девочкой, окруженной любовью и заботой. Так хорошо. Они запирались в комнате Федора, и до всего остального им не было дела.

Тяжелые шаги Галины удалялись. Пол переставал скрипеть.

\* \* \*

Они лежали на кровати, и Зина гладила его жилистую руку.

— Какая у тебя странная фамилия — Ледник.

— Почему же странная? Скорее редкая.

— Ну да, редкая. А мне моя большая нравится — Зинаида Стрельцова. Она мне идет. Да и звучит.

— Жена должна носить фамилию мужа. — Федор хотел поцеловать Зину в щеку, но получилось в висок.

— А Эмма Викторовна говорила, что это не обязательно, каждый может носить свою фамилию.

— Мало ли что она говорила...

— Зинаида Ледник, — произнесла, выделяя фамилию, Зина. — Вроде ничего. И тоже звучит.

— Звучит, звучит. — Вторая попытка Федора удалась — поцелуй получился в щеку.

Расписались они по-тихому, без лишней шумихи.

Галина до последнего надеялась, что брат одумается и между сестрой и «шалавой» выберет первую, но Федор не одумался.

Как только Зина переступила порог в качестве законной жены, Галина демонстративно ушла жить к родителям погибшего мужа, старичкам Полежаевым.

О своем уходе из дома Галина в дальнейшем пожалела, зря она так рано сдалась, но дороги назад уж не было.

Зина впервые жила хозяйкой. Никто не указ.

Благодарность Федору в первое время была огромная. Если бы не он... Зине даже мерещилась любовь. Возможная. Когда-нибудь. Можно же полюбить потом, со временем. Наступая себе на хвост, старалась угождать и быть хорошей. Зине нравились восхищенные, влюбленные глаза мужа. Нежность, исходящая от него, подкупала. «Может, так и надо жить?» — думала Зина, развалившись в постели воскресным утром. Вот еще если бы Федор был проще и выпивал...

Временами Зине казалось: она повисла на рычаге — сжалась, заглотив воздух, чтобы не дай бог не нажать. Не сорваться.

Долго на рычаге висеть невозможно: руки немеют и тянет вниз.

Когда до тошноты надоело притворяться — семейная жизнь наскучила. Муж не являлся больше спасителем. Дом Федора — необходимое

прибежище. Деревянная клетка, каждый угол которой опротивел молодой жене. И как они все живут, эти мужья и жены? — одно и то же каждый день. Так и с ума сойти недолго. Зина не знала, чего хотела. Просыпалась в жарко натопленной комнате и задыхалась. Сорваться бы и убежать. На волю.

Она скучала по бурным застольям и смеху. Киселихин дом призывно светился огоньками. Хотелось куража! Внимания мужчин и танцев. Надоело прятаться и выпивать втихаря, зажевывая лаврушкой. Ну почему нельзя делать то, что хочешь?!

Месяцы беременности выбросили из жизни.

Зина редко появлялась на улице. Однажды, уже с животом, зашла к Киселихе.

Старуха шуровала возле печи, брэнчала ведрами, охала и ахала: «Детки, детки — кушайте конфетки. Корми их грудью до крови, а они тебя в сумасшедший дом сдадут и добром твоим же попользуются...»

Зине становилось еще невыносимее от подобных речей. Она смотрела на Киселиху — не сошла ли старуха с ума. Нет, Киселиха здраво рассуждала, когда дело касалось денег и самогона. Зина старалась к ней больше не ходить. Она сидела в четырех стенах и с каждым днем все больше и больше раздражалась на мужа.

Федор же был всем доволен — кто бы мог подумать еще год назад, что Зина остепенится, и вот она уже готовится стать матерью. «Эх вы!» — смотрел Федор с усмешкой на злопыхателей и особенно на сестру.

Родившегося мальчика назвали Семеном.

К рождению сына Зина отнеслась равнодушно. Вела себя отстраненно, вызывая недоумение у Федора. Со стороны это выглядело так — вот я родила, как ты и хотел, а теперь оставьте меня все в покое. Даже когда сынишка надрывно кричал, мать могла лежать спокойно, отвернувшись к стенке. Ковыляя, Федор брал на руки сына и, качая, баюкал. Поворачиваясь, Зина принимала сына, ворча каждый раз:

— Господи, когда это кончится.

Когда Семен пошел ножками, Зина словно проснулась после долгой спячки. Изголодавшись по свободе, нырнула опять в тот омут, из которого с таким трудом вытащил Федор.

— Ну что, нажилась, дурында? — приговаривала радостно Киселиха, подмигивая тут же сидевшему пьяному гостю.

— Да уж, нажилась. Да ты не ворчи, бабка, а наливай. Что держишь? — Зина бросала на стол скомканые деньги.

— Налью, голуба, налью. — Киселиха прятала «денежку». А пьяный гость ставил пластинку.

Поздно вечером разгоряченная, в расстегнутой телогрейке Зина возвращалась домой. Федор задавал вопросы. В ответ Зина истерично смеялась, устраивала скандал.

В очередной раз поздно вернувшись, она долго не могла снять валенки и все пыхла в прихожей. Федор вышел из спальни и наблюдал.

— Что смотришь?

— Ничего.

— Ни-че-го, — передразнила Зина, скривив лицо с размазанной на губах помадой. — И нечего глазеть! Что, не нравлюсь, не такая? Вам получше подавай? А вот, видел! — Выставила руку с кукишем и разразилась пьяным хохотом.

Федор сделал шаг в ее сторону.

— Что? — задыхалась в смехе Зина. — Да что ты можешь...

Федор заметил Семена: из-за дверного косяка он смотрел на корчившуюся от смеха мать. Зина сползла на пол, безвольно лежала на полу и все хохотала.

От стыда за жену голова клонилась вниз. Излить душу некому. Сестра и та игнорировала. При встрече с ехидством улыбалась. Как-то бросила вскользь: «Ну что, спас невинную овечку? Смотри, как бы тебя спасти не пришлось... Благодетель!»

Идти среди бела дня по улицам — одно мучение. Каждый раз, встречаясь с кем-нибудь, Федор опускал глаза и пытался, поздоровавшись, проковылять дальше, но прохожие, как назло, останавливались. Ну как не перекинуться парой слов сельчанам. Только для Федора эти разговоры — сущий ад, а собеседники — мучители.

Сердобольные мучители и не догадывались, что истязают Федора. Да и что они такого сказали? Они даже не упоминали ее имя.

Федор возненавидел день. Ночь стала отдушиной. В потемках никто ничего не видит, не лезет в душу. Ночью он всегда один, так почему бы не выпить? Становится легче. Вот Зина — та понимает. Федор смотрел стеклянными глазами на опустевший стакан и думал о неудавшейся жизни своей.

Днем думал о сыне. Синеглазый мальчик ластился больше к нему, отцу, и совсем не воспринимал мать. Ночь была наваждением, и все усыhalo, как капля адского зелья на дне стакана.

Той весной Семену исполнилось шесть.

Был чудесный май. Воздух пропитался запахом прелого навоза, ароматами свежей зелени. В полях и огородах дышала по-весеннему молодая, вспаханная земля. Дни стояли долгие.

Семен спал, когда его разбудил голос матери. Доносились прерывистые, неразборчивые фразы вперемежку со смешками. Смешками не веселыми, а нетерпеливыми. Сначала Семену казалось, что мать одна и пьяная разговаривает сама с собой, но вот тихий голос отца, и опять смешок матери. Затем возня, шлепок пощечины. Семен вздрогнул, приподнял голову от подушки. Хлопнула дверь, и все умолкло.

«Опять мама ушла на ночь», — подумал Семен. В том, что удар предназначался отцу, он не сомневался. Ничего странного и непривычного. Забившись в теплую постель, он закрыл глаза и провалился назад в сновидения.

Под утро Семен проснулся от лая дворовой собаки.

Лай временами переходил в вой, и становилось жутко.

В доме тишина. В окно заглядывал синий рассвет. От горящей на кухне лампочки в щель двери просачивалась желтая полоска, и страх отступил — отец не спит.

Семен поднялся.

На кухне никого. Пустая бутылка из-под водки на столе. В комнате родителей тоже пусто. По обуви у порога Семен догадался, что отец дома и вышел во двор.

Семен вернулся в постель и стал ждать.

Чем дольше ждал, тем сильнее не терпелось самому пойти за отцом. Семен оделся и вышел на крыльцо.

Необычный синий свет кругом и тихо, непривычно тихо. Повизгивавший Шарик на цепи умолк. Семен хотел позвать отца, но крикнуть не решился. Таинственная тишина вокруг пугала. Семен спустился с крыльца, погладил собаку и пошел к сараю, где стоял верстак с инструментами.

Приоткрытая дверь сарая поскрипывала. Свет не горел.

Семен стоял на пороге и не смел войти в темноту, где, он чувствовал, что-то есть. Это что-то было совсем близко. Замерев от страха, Семен различил контуры висящего перед ним тела.

С криком он бросился в дом и спрятался под кровать.

Прижавшись к стене, ощущал себя как в ловушке и ждал, что в комнату ворвется кто-то чужой и страшный.

Разбуженные беспрестанным воем собаки соседи нашли Семена задыхающимся от слез.

В доме много людей, мама плачет, а тетя Галя кидается на нее с кулаками. Тетка кричит, что это мама довела отца до петли. Завешенные зеркала и окна, шепот старух в черных платках. Большой гроб в зале, и в нем отец. Семену никак не верилось, что отец может лежать в этом огромном красном ящике.

Все эти страшные дни Семен только и слышал и от тети Гали, и от соседей: мать — дурная женщина и накинула петлю на отца.

Что за петля и как накидывается, Семен не представлял. Он однажды спросил о петле бабу Марусю — та ахнула, прижала голову Семена к груди и строго-настроено наказала забыть и никого не слушать.

Родительский дом наполнился нескончаемой чередой гостей. Кругом бардак, пол и посуда не мылись, на постели Семена спал неизвестно кто и прямо в сапогах.

Самым ужасным потрясением был вид пьяной, полуголой матери. Гости, смеясь, называли мать — Зинка-Зингер, и Семен видел, что матери это нравилось. Самое неприятное, когда она садилась к кому-нибудь из мужиков на колени или лежала с одним из них в постели, задрав голые ляжки, громко визжа, как будто ее щекочут.

Однажды она так сильно застонала, что Семен, испугавшись за нее, вбежал в спальню, — голая, разъяренная тетка, в которой он с трудом узнал мать, обматерила его и выгнала за дверь.

Семен видел и чувствовал — дома творится плохое.

Когда пошел в школу, ребята быстро объяснили, посмеиваясь, кто его мать и чем занимается. Он кинулся в драку — и получил как следует.

Дома мать сидела в теплой компании, привычный винный запах обдал с порога, от папиросного чада серо.

Забросив в угол тетради, голодный и злой, Семен спустил с цепи единственного друга Шарика и убежал с ним в поле.

В редкие часы отрезвления Зина клялась перед сыном, что завтра бросит пить. Навсегда. Бесконечные клятвы и обещания сопровождалась ручьями слез, и Семен верил и ждал, только вот завтра почему-то не наступало. Оно утонуло в непролазной сельской жиже, заплюхавшей после нескончаемых осенних дождей.

И все же зимой для Семена сверкнул лучик надежды на лучшее, когда он очутился в доме у старичков Полежаевых.

\* \* \*

В декабре к Зине стал частенько захаживать новый ухажер, и не просто захаживать на ночь или опохмелиться, а с претензией на долгосрочные отношения. Был то неместный, за воровство и разбой отсидевший в свое время Василий Пряничников: коренастый, толстомордый мужик по кличке Пряник.

Из-за короткой шеи плечи Пряника и в целом фигура смотрелись квадратом. Лицо круглое — вводило в заблуждение. Ну как же — видеть, хорошо живет ли человек с такими-то щеками. Только один Пряник знал, как тяжело приходилось от постоянного недоедания: «мол, вон уж и лицо с голоду пухнуть стало». И самое обидное, что никто в это не верил. Попробуй докажи. Лицо Пряника смотрелось блюдом от рождения, и, если бы он питался одним хлебом и водой, оно все равно оставалось бы круглым — природа. Обездоленному и изголодавшемуся Прянику как никогда хотелось тепла и ласки, сытного местечка.

Забредя случайным образом к Зинке-Зингер и погревшись несколько дней, Пряник решил приударить за хозяйкой, благо все в ней устраивало: и большой дом, где Пряник мог чувствовать себя вполне вольготно, и отсутствие каких-либо мельтешащих родственников в жизни Зины, что было наижирнейшим плюсом, и сама хозяйка — «хорошая во всех отношениях женщина». Сам любитель выпить, эту Зинину слабость Пряник не рассматривал как недостаток, наоборот.

Зина с появлением в жизни Васеньки попыталась остепениться, немного притормозить. Она стала заботиться о столе и старалась подработать шитьем, чтобы накормить и напоить свою половинку.

«Эх, и все бы ничего, только вот пацан ее... гаденьш...» — думала, прикидывая что-то в уме, «Зинина половинка».

Прянику сын Зины действовал на нервы, и без того расшатанные.

В один из дней, в январе, Семен прибежал с горки поздно. Пьяная мать распласталась на постели. Тишину дома прерывал ее храп.

Красный, чуть живой Пряник сидел на кухне и хлебал щи. Он заторможенно, как во сне, загребал ложкой. Половина щей, не попадая в рот, стекала по подбородку. Стеклообразные глаза тупо смотрели перед собой.

Когда Семен вбежал на кухню и накинута с жадностью на лежавшие на столе булки, стеклообразные глаза ожили. Пряник перестал жевать, уставился на появившийся в комнате новый предмет.

Семен налил чай и, не обращая внимания на Пряника, спешно ел.

— Хватит жрать, — Пряник еле шевелил языком.

Семен сделал вид, что не расслышал, и есть стал быстрее.

— Я кому сказал! Разъелся тут.

Семен встал из-за стола, прихватив с собой булку.

— А ну, поклади, что взял!

Семен остановился. Он стоял спиной к столу, где восседал ненавистный Пряник.

— Оглох, что ли? Я кому сказал? Принеси, потом таскай.

Предательские слезы обиды — но злость пересилила. Семен развернулся и запустил булкой в рожу врага:

— Подавись!

— Ах ты, гаденьш! — Пряник сорвался с места.

Но Семен и не думал бежать — той ненавистью, которую он испытывал к сожителю матери, можно было испепелить целое войско.

Добравшись до Семена, Пряник схватил его за грудки:

— Я те, щенок, хребет-то переломаяю! — Он откинул Семена к стене.

Ударившись затылком, Семен сполз на пол, но тут же подскочил:

— Сволочь! Козел! — И кинулся на Пряника.

Тот замахнулся, и Семен вцепился в его ладонь зубами.

— Ах ты... сука! — заорал Пряник.

Кисло-сладкий вкус крови был у Семена во рту, когда Пряник схватил его за шиворот и вышвырнул на мороз.

— Пшел вон, щенок!

Как оказался на снегу, Семен не заметил, слезы душили.

Он выбежал со двора. Холод обжигал, но возвращаться Семен и не думал. По морозу побежал в единственный дом, где ему всегда рады.

Семена сносил буран. Колючий воздух жег уши, лицо. Казалось, весь холод Арктики обрушился и не дает бежать. Дышать трудно, леденящий воздух уже внутри. Кожа на лице вот-вот треснет и отвалится вместе с горящими ушами. Семен стискивал зубы и сжимал кулаки: главное — бежать и не останавливаться, иначе конец. И он бежал, а из глаз ледяными глыбами выползали слезы: «Никогда! Никогда не прощу мамке Пряника! И папку никогда не прощу!»

На улице ни души, точно вымерли все.

Семен упал на колени у ворот Полежаевых и чуть слышно поскребся. Замерзшие пальцы одеревенели.

Дворовая Найда признала Семена, почуяв неладное, залаяла. Подняла весь дом.

— Да что же это делается! — запричитала вышедшая за ворота Галина. — Вот ведь тварь, совсем решила ребенка извести! Ну, это ей так не сойдет! — кричала она в доме, натирая с бабой Марусей Семена спиртом.

Семен метался в жару. Когда открывал на мгновение глаза — комната плыла. Подушки, кровать, шкаф и лицо тети Гали — все вертелось в хаосе. От вертящейся комнаты кружилась голова.

Ночью на смену хаосу пришло забытьё.

...Страшные псы и волки бежали след в след. Семен ощущал жар их дыхания, слышал клацанье клыков. Вдруг Найда с лаем выскочила из ворот, и стая бросилась врассыпную. А потом набежали крысы. Огромные, с собаку, и черные, они сидели на крыше дома и щерились, маша хвостами, как кнутами. А потом отец, и Семен вместе с ним в бане. Отец бьет березовым веником по спине, а Семен лежит на полке, и кругом пар и жарко, тепло и хорошо. Больше всего хорошо оттого, что рядом отец и они вместе. Но вот бани нет, а бескрайнее огромное поле, и синее-пресинее небо, и желтая-прежелтая рожь, какой и не бывает на свете, и по ней идет отец. Он уходит. Семен бежит за отцом, глядя в широкую спину. Отец не хромает, твердо ступает босыми ногами, и его не догнать. Семен задыхается от жары и от бега. Он кричит, зовет отца.

Отец не оглядывается. Идет и, поднимая руку, грозит пальцем — это чтоб Семен не бежал, и Семен все понимает и не бежит. Он падает в золотую рожь и тонет в теплом желтом море...

Утром Семена увезли в больницу.

Доктор качал головой, но кризис миновал, и молодой организм выстоял.

Через неделю Семен вернулся к старичкам Полежаевым под неусыпный надзор тети Гали. Теперь его дом — там.

В ту злополучную ночь отсутствия сына Зина не заметила. Утром подумала — он в школе. Только когда пришел участковый для выяснения всех обстоятельств дела (о его появлении в Зинином доме побеспокоилась Галина), узнала о том, что Семен в больнице и что он раздетый бегал по улице.

В тот же день Зина наведальась к Семену в больницу.

— Что случилось? Почему же ты раздетым бегал? А к нам теперь участковый ходит. — Говорить с сыном Зина не умела.

Семен молчал. Взгляд у него тяжелый. Этот пронизательный взгляд всегда действовал неприятно на Зину, а после смерти мужа она и вовсе избегала смотреть в синие глаза сына. Ей казалось, что это Федор смотрит на нее из могилы.

— А ты у Пряника своего спроси... — Семен отвернулся к стенке.

Больше Зина не услышала от сына ни слова, впрочем, как и участковый, и Галина. Так и осталось загадкой, что же произошло в тот вечер,



но об этом вскоре позабыли — недели через две случилось новое происшествие. По масштабу и трагичности затмившее предшествующее.

В одну из ночей явилась к Зине умершая мать.

Она все ходила и ходила по комнате, не обращая на дочь внимания. Затем стала хватать, причем резко так хватать, тряпки разные и бросать их на печь. Зина сделала матери замечание, а та и не слышит, знай себе подкидывает да подкидывает. Зину аж зло взяло, что это она тут хозяйничает да пакостит. Вещи на печи задымились.

Хочет Зина встать с кровати, чтобы матери помешать, а не может. Силы оставили. Лежит она, смотрит на все это безобразие и злится. А мать напевает песенку сама себе, и на плите уж целый костер устроила, и газеткой помахивает так, чтобы огонь веселее разгорался. И вот когда она схватила и бросила на плиту новые Зинины валенки, дочь вскочила.

Вскочить-то вскочила, а комната в дыму и дышать нечем. Глаза режет до слез, ничего не видно. Зина задышалась, двигалась на ощупь, растопырив руки. Схватив табуретку, о которую запнулась, выбила ею окно. Кое-как вылезла на улицу, изрезавшись осколками стекол.

Отползла на безопасное расстояние, надрывалась, выхаркивая из себя гарь. Загробала окровавленными руками снег и тут же его ела.

Придя в себя, вспомнила о Прянике.

От проникшего в разбитое окно воздуха деревянный дом вспыхнул.

На пожар сбежалось полсела, к прибытию пожарной машины дом успел выгореть полностью. Его пытались тушить вручную, таская воду из колодца, но все зря: жар горящего дерева не подпускал близко. Благодаря безветрию огонь не перекинулся дальше, чего боялись больше всего.

Семен тоже прибежал на пожар вместе с Галиной. Он видел, как возле матери хлопотали люди, как она кричала, показывая на горящий дом: «Вася! Вася там!»

К матери Семен не подошел.

«Гори, гори ясно!» — напевал он иступленно то ли считалку, то ли песенку. Языки пламени дьявольскими огоньками отражались в зрачках. Жалости ни к матери, ни к Прянику не было. Душу охватило другое... нечто страшное, потаенное. Оно еще охватит его, и не раз, но уже в далеком будущем.

## У сестры

Егор ел медленнее, чем обычно: подолгу жевал, с силой сжимал ложку до боли в пальцах. Звякнуть бы по тарелке. Гаркнуть, чтоб стены задрожали! Мало того что суп пересолила, подала чуть теплый, так еще и самоуправством занялась. С какой стати она привезла в его дом эту Зинку? Посадила за стол, и вот теперь сиди и во всем себе отказывай. Как в гостях!

Нрав у Егора крутой: в иное время тарелка с пересоленным супом полетела бы на пол. И это в лучшем случае.

С женой Егор не церемонится. Еще чего! Жена на то и жена, чтоб угождать да прислуживать. Иначе зачем она? В постели ни то ни се — так пусть прислуживает, и не спустя рукава.

— Что пересолила-то? — выдавливая из себя.

— Ой, и правда. Нечаянно вышло, — виновато смотрит Лида и переводит взгляд на сидящую рядом Зину.

«Чего ты на нее пялишься? Нашла принцессу. На меня смотри!»

Зина молча жует.

Лида суетится у печки. Подает мужу второе. Суп убирает.

Егор тычет вилкой в голубец, надкусывает. По лицу язвенный спазм:

— Холодные, как грудь ведьмы.

— Да что ты? — мечется Лида. — Только что с плиты. Давай подогрею.

— Не надо. Наелся уж. Молока налей лучше. — Все это говорит, а сам смотрит на Зину.

Та, доев суп, отламывает хлебный мякиш и, собрав жижку с тарелки, отправляет в рот.

— Смотри-ка, Лидка, а кому-то твоя стряпня ничего.

— Я не привередлива, — Зина смотрит в упор на Егора, — вторые сутки не пожри, как я, — ложку проглотишь.

Егор отводит глаза. Берет у жены стакан молока. Жадными глотками пьет. Вытирает рукавом губы.

— Да ты, Зинка, ешь, мне не жалко. Вон молоко нам за вредность выдать решили. По литре с барского плеча. За то, что пыль угольную глотаем. Пей. Пока дают. Государственное молоко на халяву — вкусней домашнего.

— Я б чего другого выпила. Что мне твое молоко... — Вид осунувшийся, впалые щеки, мутные, с темными кругами глаза, слегка поводит плечами.

Егор щурится: побитая собака, а туда же.

— Зришь в корень, Зина. Вот это я понимаю, — переводит взгляд на жену, — надо бы посидеть вечерком, отметить, так сказать, прибытие.

— Посидим, посидим, — уклончиво отвечает Лида.

«Рыбья кровь», — морщится Егор и встает из-за стола.

— Поехал уже?

— Поехал.

«Хрен тебе, а не посидим! — Хлопает дверцей грузовика. — Думает, приехала — и все под ее дудку запляшут. Как бы не так. Бабье!»

Водит жестко, нервно. Дергается по пустякам. Работу свою ненавидит. А как иначе? Да он умней в тыщи раз всех этих мастеров и начальников, а приходится вертеть баранку. Чтоб она! Где справедливость? И главное, везет в жизни — дуракам и жополизам, вот и прорываются, а он — сиди. Да и куда без десятилетки или техникума? Никуда! Пеняй на себя. Не хотел учиться — теперь, как говорится, сиди и не перди.

«Что с того, что пишешь грамотно, — бросила однажды в сердцах Лида. — Они хоть и с ошибками пишут — зато в начальниках...»

«Заткнись, дура! — Стеганул наотмашь. Схватила за щеку. — Что ты понимаешь своим птичьим мозгом?»

Мозг не мозг — а десятилетку окончила. Впрочем, как и Зинка, курва! Один он со своими семью классами да годом неоконченной вечерки остался.

Бил Егор жену регулярно, а что с ней делать, как не бить? Тупеет баба без остратки.

Через полгода, как сошлись, впервые ударил, а там пошло. Когда не получаешь сдачи, вроде идет как должно и входит в привычку. Не можешь ты по-другому, чтоб не ударить. Так быстрее дойдет. А то пока слова подберешь... Да и не в словах дело. Прилив эмоций — вдарил, и отпустило. А баба — она отходчива. Куда ей деваться — муж, дом, дети. Да и любит она силу.

Бьет Егор не сильно и всегда по пьяни, ну а подзатыльники раздает регулярно.

Бьет — одно название. Вот батя мать метелил, так то была наука. А иначе — расхолаживается. Прорезается голос, старается брать горлом. Но с Егором такие выкрутасы не прокатят. Как говорил отец: «Каждая баба — сука, и держать ее надо на привязи».

Отец, Геннадий Палаев, выходец из Забайкалья. Здоровый был — скала. Смуглый, с узкими щелками черных глаз. Вся рода палаевская такая. Гураны. Егор под стать отцу, только мельче, и так же крутит баранку. Чтоб она.

Отец погиб на фронте. Справедливости ради сказать — недолго в семье печалились.

Как женился, Егор незаметно прибрал родительскую усадьбу к рукам. Время выпало удобное — старшая сестра Майя на тот момент ушла к будущему мужу, в доме хозяйничала только мать, но с Егором под одной крышей Антонида Матвеевна долго не протянула.

Как ни заступалась свекровь за «святую» невестку, как ни пыталась образумить любимого сына, да все без толку — «гуранья кровь», — а «святая», битая-перебитая, все терпела и молчала.

В один прекрасный день, поклонившись сыну за приют, расцеловав со слезами Лиду, Антонида Матвеевна покинула дом. Ушла к дочери в благоустроенный скворечник. Так что и свидетелей семейной жизни Егора и Лиды не осталось.

Родили двойняшек, правда, одна девочка вскоре умерла. Одна Лида знала, что причиной мог послужить тот удар на четвертом месяце, от которого она стукнулась о косяк. Осталась Даша, не похожая совсем на отца.

В пьяном бреду Егору мерещился чужой ребенок.

От ударов в живот Лида охала, но не громко, не дай бог — дочь услышит. Замирала, лежа на полу, кутаясь в дорожки. Главное — не сопротивляться, быстрее остынет. После вставала, доплеталась до кровати, тихонечко ложилась. Когда пьяный храп стихал, засыпала сама.

— А ничего у вас с продуктами, смотрю. Жить можно. — Зина размешивала ложечкой варенье в стакане с чаем.

Лида улыбнулась — Зина всегда любила поесть, но при этом никогда не полнела.

— Да, со снабжением получше стало, но это для тех, кто на разрезе работает. Егор уголь развозит. А для остальных — не очень. У нас на трикотажке и зарплаты меньше, и ни льгот, ни продуктов.

— Твой, смотрю, не в духе. Что это с ним?

— Может, на работе неприятности. Ты не обращай внимания.

— А я и не обращаю. Толку. Мне все равно деваться некуда.

— Как же так получилось, Зина? Дом сгорел, Семена у тебя забрали.

— Так уж вышло. Кто ж виноват... — Зина отхлебнула чай.

— Сына не жалко? — вырвалось у Лиды.

— Жалко, не жалко. Что месить-то? Какая с меня мать? Ему там лучше будет.

— Может, со временем удастся вернуть.

— Да кто мне вернет? Пьяной охламонке без кола, без двора! Скажешь тоже. Пусть так. — Зина поставила стакан, и он тяжело брякнулся о столешницу. — И не будем об этом.

Лида замолчала. Она украдкой рассматривала сестру. Та изменилась, выглядела плохо и старше своих лет. Серые, тусклые, за уши зачесанные волосы. Уши на удивление большие, и Лида только сейчас это заметила. Лицо пожелтевшее, широкоскулое, изможденное. Темные круги под глазами и морщины. Морщины — первое, на что обратила внимание Лида. Сразу не бросалось в глаза, но стоило свету упасть, и злосчастная сетка проявлялась. Вроде бы рано.

«Наверное, с дороги устала, вымоталась. Опять же переживания», — сделала вывод Лида. Она знала, что сестра любит выпить, но о масштабах бедствия не догадывалась.

— Я вот что подумала — тебя можно устроить к нам на трикотажную фабрику.

— А что там делать надо?

— Не в сам цех. У нас открывается что-то наподобие пошивочной, работа с браком. Переделка возвратов, навроде ателье. Там нужно уметь шить на машинке — как раз для тебя.

— Ну да, мне подойдет.

— Я тогда переговорю с начальницей.

— Переговори.

Они еще долго сидели за столом, говорили о том о сем, больше вспоминали прошлое, детство.

Зина прихлебывала чай с баранками, Лида мыла картошку в ведре и потом чистила.

Февральское солнце заглядывало в окно, и Зина жмурилась в его теплых лучах.

Ей часто снился один и тот же сон: она лежит на поляне, вокруг стрекочут кузнечики, солнце припекает, и так хочется спать, но спать не дают: каждый раз слышны голоса, сначала эхом, издалека, но потом все ближе

и отчетливее. Семен и Федор. Зине страшно хочется спать, и так приятна нега подступающего сна. Она вытягивается всем телом, и кажется Зине, что лежит в траве не она, а кто-то другой, она — другая, та, которой раньше Зина была. От подобного осознания становится жутко и вместе с тем интересно. Зина открывает глаза, и солнышко ласково спит. А все-таки, может быть, она и правда совсем другая. Но где же она настоящая? Как найти себя?

Зина надеется на сон, надо только не просыпаться — и на все найдется ответ. Но опять голоса на самом интересном. Зина с досадой прикрывает лицо рукой, прячась от жгучего лучика.

— Семка, перестань! — прикрикивает Зина. Но Семен смеется и снова пускает зайчика матери в лицо. — Перестань, кому сказала! Посвети лучше отцу.

— Спишь?

Зина вздрогнула и оторвалась от стены, к которой, задремав, приклонилась.

— Тебе бы поспать, — предложила Лида.

— Да, надо бы, — зевнула Зина и достала из кармана папиросы.

— Ой, нет! У нас дома не курят. Егор вообще не курит и дым не переносит. Выйди лучше во двор.

Во двор так во двор. Но вставать не хотелось. Зина пригелась на уютном месте.

— Это место Егора, — как бы вскользь заметила Лида, кивнув на стул, на котором сидела Зина, — он любит тут сидеть.

— Он у тебя, смотрю, много чего любит, — не сдержалась Зина. Хотела добавить: «Только не тебя!»

Она смотрела на сестру и не узнавала. За эти годы Лида сильно изменилась. Из шустрой веселой девчухи превратилась в тень. Бледная, усохшая. Зина догадывалась, кто был причиной этой перемены. Она внутренне сжалась от нахлынувшей ненависти к нему...

— Пойду покурю. А потом и поспать можно.

Из пристройки, которая была кухней с отдельным входом, Зина вышла во двор.

При ее появлении толстый черно-белый пес Моряк зарычал. Натягивая цепь, привстал на коротких лапах.

— Смотри не лопни! — смеясь, одернула его Зина, чиркая спичкой.

Моряк попытался гавкнуть.

— Да ладно, чё ты? — прикрикнула Зина, отбросив спичку.

Моряк замешкался: и правда, что это он? Натягивая цепь, он все принохивался, осматривал незнакомую фигуру.

— Да своя, своя, — убеждала Зина на полном серьезе.

Нанюхавшись и присмотревшись, Моряк сделал кое-какие выводы и миролюбиво бухнулся тяжелым телом на задние лапы.

— Сразу бы так. — Зина перевела взгляд с собаки на двор, большой и по-хозяйски убранный. — У вас тут, смотрю, ни пылинки, ни снежинки.

Моряк приподнял правое ухо, внимательно слушая.

— Смотри-ка ты, и Моряк на тебя не лает, — удивилась вышедшая из кухни Лида.

— А на меня собаки не тявкают. — И, обращаясь к псу: — Правда, Моряк с печки бряк?

Завидев хозяйку, Моряк совсем расчувствовался, завилял обрубышем хвоста, затоптался на лапах-рульках.

— Так уж и не тявкают?

— Не тявкают. Я с ними обходиться умею.

В это время Моряк чихнул. Он хотел фыркнуть, да сорвалось.

— О! Видишь — правду говорю! — засмеялась Зина.

— Пошли в дом, собачья обходительница, — улыбалась Лида. На нее вдруг пахнуло прошлым: вспомнился родительский дом, где они с Зиной смеялись.

На крыльце Зина обернулась и послала Моряку воздушный поцелуй:

— Пока, не кашляй!

Дом Егора просторный, пятикомнатный. Зина удивилась высоким потолкам и большим окнам. Сестра провела в одну из комнат.

— Здесь раньше мать Егора жила, пока к дочери не ушла. Располагайся.

— Потом расскажешь про мать и остальное. — Зина упала, не раздеваясь, на постель и сладко потянулась.

— Ты поспи, а я баню пока истоплю.

— Топи, топи.

Лида была еще в комнате, когда сестра засопела во сне.

\* \* \*

Вернувшись с работы, Егор опешил прямо на пороге: дома гуляли. Стол с закусками, расфуфыренная Зинка сидит в центре. Переодевшаяся в праздничное платье, с завитыми волосами жена кинулась навстречу.

— Это что за цирк? — Глаза Егора от возмущения чуть не выпали из орбит.

— Егорушка, присоединяйся! — оборвала Зина и по-хозяйски поманила рукой.

«Именно по-хозяйски» — внутри у Егора закипело.

Сначала хотел разогнать. Взять и без спроса, без его согласия устроить пьянку! Мало ли что он сказал. Когда это было? «Напилась уже!» — с раздражением Егор смотрел на суетившуюся жену.

— Егорушка, тебе штрафную! — хохотала Зина. — Мы тут, тебя дожидаясь, джинна выпустили. Случайно.

— Ага, точно. Джинна. Случайно! — смеялась раскрасневшаяся Лида, встав за спину старшей сестры.

— А джинн такой коварный, чуть нас с Лидкой не украл... — заливалась Зина. — Прикинь, Егорушка, ты приходишь — а нас и нет. Вот

где мы? А я и говорю — нет, джинн, дорогой, не можем мы без нашего хозяина.

«Егорушка» — приятно, черт! Давно его так не называли. Егор обмяк. Весело, как праздник какой, и они такие красивые. Лидку не узнать, помолодела даже, а от Зинки глаз не отвести, как от пятна яркого, огненного. И жрать охота, а еды-то наготовлено. Как раз под закуску.

— Штрафную Егор Геннадичу! Штрафную! — Зина держит для него налитую рюмку.

Егор подходит, берет и залпом выпивает. Жена сует в рот соленый огурец. Слезы прошибают от первой, а Зина наливает вторую, привстает. На каблуках она повыше. Русые волосы завитыми кудрями лежат на плечах. Вырез синего платья в мелкий цветочек глубок. Егор смотрит жадно: на Зине платье жены, его любимое. Но как сидит! Совсем по-другому. Оно будто маловато, но это хорошо. Груды много. Обнажившаяся перед Егором, белая, она вздыхается. Дышит.

Егор берет протянутую рюмку:

— За приезд, — конфузится и отводит взгляд в сторону.

А грудь подошедшим тестом пышет, того гляди покинет берега.

— За приезд, сестренка! — кричит Лида.

Егор с досадой смотрит на жену: орет в самое ухо, и какой визгливый голос.

— Спасибо, дорогие, что приютили.

Чокаются. Зина пьет и смотрит в глаза.

Комната в папиросном чаду. Громко орет радио. Какой-то фокстрот.

— Наливай, а то уйду! — кричит, хохочет гостя. Теперь уже не гостя...

Рюмки наполняются, все выпивают.

— Ну как, Зинаида, наш город? — спрашивает Егор подчеркнуто официально.

— Так я еще не смотрела ничего. Я ж только сегодня приехала. Ты что, забыл? — Смеется. Чиркает спичкой, трещит огонек.

— Да не забыл, а так. — Раскраснелся от жара. Хочется на воздух морозный. Взять бы Зину в охапку и упасть в сугроб.

— Завтра пройдемся, и город покажу, — вставляет Лида. — Зину будем определять к нам на фабрику.

— Это дело. — Егор икает. — Городок, конечно, махонький, но это вам не сельпо!

— А я и не знаю, что такое сельпо, — жеманится Зина. — Тамада, разливать бум или как? — Тычет папиросой в Егора.

Лида хватает бутылку, прижимает к груди:

— Может, уже не надо?

— Мать, ты чего? — Егор отнимает бутылку. — Водки, что ль, жалко?! Во дает! — Подмигивает Зине и разливает.

— Да не жалко. У тебя же завтра рейс.

— Рейс во вторую. Еще отлежусь. — Он обменивается взглядом с Зиной. — Мать, не гунди!

Лида дует губы, а Егору смешно. С Зиной можно чокаться бесконечно.

«Ну, где же она? Только что тут была».

Не своими ногам Егор выходит во двор. В мозгу полыхает — Зина! Она где-то рядом.

Лампочка двора светит тускло. Калитка в огород распахнута. Как из гигантского окна, оттуда несет снегом. Шатаясь, Егор ступает в черноту. В луне бледнеют сугробы.

— Зина... — зовет тихо. — Ты где?

Темная сторона сараев по левую руку, справа — огород. Ветка скрюченной дички царапает щеку.

— Чтоб тебя! Спилю, зараза!

У темной стены мелькает огонек.

От папиросного дыма тошнит. Глотнув воздуха, Егор идет, вытянув руки.

— Зина!

Огонек исчезает, как в небе звезда.

\* \* \*

Зине понравился шахтерский городок: расчищенные от снега улицы, аллеи с мохнатыми от инея деревьями, красивый желтый Дом культуры, вывески магазинов, а народу... Машины снуют туда-сюда, и ни одной лошади. Никто тебя не знает, и ты никого. Всё в снегу, но жизнь не дремлет, кипит.

— Зин, слушай, я с фабрики кое-каких лоскутков натаскала. Можно подобрать и тебе сшить новое платье, и не одно, — предложила Лида. — Что скажешь? Машинка у меня есть.

— Мамина «Зингер» сгорела. — Зина сидела, подперев рукой щеку, и смотрела в окно, за которым валил снег.

— У меня не «Зингер», но ничем не хуже. Так что? Ткань показать?

— Покажи.

На кухню вошла в шапке и пальтишке пятилетняя Даша.

— Что, уже проснулась? — спросила Лида. Сняв шапочку, погладила дочь по голове. — Когда ж твой карантин в садике кончится? Горе ты мое. Побудь пока с тетей Зиной. — Накинув шаль, Лида вышла.

Даша, взявшись ручками за край стола, смотрела большими голубыми глазами. Зина улыбнулась. Даша подошла ближе и положила ручки на Зинину коленку.

Зина смотрела на детские пальчики, удивляясь крохотным ноготкам, будто впервые видела ребенка.

— Тебя как звать? — спросила, зная ответ.

— Даша.

— Конфету будешь?

Даша кивнула и потянулась головкой, заглядывая на стол. Зина взяла из вазочки подушечку «дунькиной радости»:

— На.

Даша схватила конфету и, счастливая, запихала в рот.

Зина не знала, что еще сделать, — девочка, шевеля щечками, стояла и смотрела. Зина снова взяла конфету и подала. Схватив подушечку, Даша выбежала из кухни.

— Иди сюда! — позвала сестра, когда Зина вошла в дом.

В зале Лида на коленях стояла возле комода и шарила в ящике. Рядом лежал ворох разноцветной материи.

— Ты Дашке конфеты не давай, у нее зубы.

— Как скажешь.

— Смотри, сколько всего, — Лида указала на ткань, — выбирай.

Зина подошла к комоду. Погладила шершавую поверхность:

— Мамин?

— Да, из дома. Узнала?

— Конечно. Ты молодец, что забрала. Все-таки память. — Зина только сейчас обратила внимание на маленький портрет мамы, висящий на стене.

— Я много чего забрала. Тебе ведь было не нужно. Да ты приглядишься, многое вспомнишь.

И правда, Зина многое припомнила. Этажерка, накидки, вязанные крючком, на подушках, круглый стол со знакомой зеленой в клеточку скатертью, ваза. Зина взяла вазу — она самая, и трещинка с годами стала больше. Стулья из родительского дома — деревянные, покрытые лаком. Самый главный стул с высокой матерчатой спинкой тоже здесь. Зина осторожно присела на стул боком, нагнувшись, коснулась щекой спинки:

— Папин?

Лида кивнула.

Зина водила и водила рукой по бархатной спинке.

Как по музею прошлой жизни, Зина шла по комнатам.

В спальне Даши над кроватью висела картина: «Влюбленные в лодке». Лида подошла сзади и положила подбородок на плечо сестры:

— Помнишь, как ты ее вышивала?

— Да, — голос Зины дрогнул. — Как давно это было...

— В классе восьмом? Девятом?

— Где-то так.

— А раму...

— Он заказал. В Красноярске.

— Прокурор тот? Забыла его фамилию. Интересно, где он?

— Какая разница.

Зина отстранилась от сестры и, шатаясь, вышла.

Лида прикусила губу — опять не то сболтнула.

Зина сидела на кровати в своей комнате вздохмаченная, в слезах. Рыдая, все говорила и говорила:

— Да что ж ты сегодня мне душу-то рвешь! То на то посмотри, то это вспомни. «Жизнь только начинается!» — передразнила Зина сестру. — В каком месте она начинается, твоя жизнь? Да я хочу все забыть! Понимаешь? Ничего не было! Все кончилось еще тогда! И нет никакой жизни, и не будет! Как ты не понимаешь? Мне ничего не надо! Ни-че-го! Сколько раз можно повторять. Ни-че-го! Что ж все лезут-то? — Зина упала на подушку.

— Прости, я ж не думала... — Лида пыталась успокоить сестру. — Ну, прости, я больше не буду.

— У тебя что-нибудь осталось?

— Что осталось?

— Водка осталась?

— Зина...

— Дай выпить. Или я подохну! Вот здесь, на этой кровати, сдохну! Прямо сейчас! Хочешь?!

Лида с ужасом смотрела.

— Не бойсь, выпью и пошью. — Зина ладонью утерла лицо.

Домой Егора тянула неведомая сила. Никогда раньше подобного не было.

Не единожды за день мелькал вопрос: как там? как она?

Сама того не ведая, Зина стала неким диковинным событием в унылой жизни Палаева.

Остывший рано к жене, он все время находился в поиске. Голодными глазами рыскал везде и всюду. Иногда кое-что подворачивалось. Зина была еще тот экземпляр. Егор будто заново ее разглядел. Не красавица, но неистовая, задень — и вспыхнет. Такая умеет любить. Горячо, сладко. В этом Егор не сомневался. Мечтательно вздыхал. Но дома, сидящая за швейной машинкой, Зина всегда смурная. Чем-то недовольная. Никого не замечает. Пока не спросишь, не ответит. А если ответит — как отрежет.

Однажды Зина кроила на столе в зале. Обмылком, нагнувшись, рисовала линии. Егор подошел так близко, что ткань брюк соприкоснулась с Зининым халатиком. Егор притормозил, опасаясь проехать на красный.

Зина обошла стол, встала с другой стороны.

Перед глазами Егора всплыл тот веселый вечер и Зина, протягивающая рюмку. Надо бы повторить.

\* \* \*

Зина вышла на работу и сразу же проявила себя.

Довольная новой сотрудницей начальница цеха, проходя мимо Зины, останавливалась, похлопывала по плечу.

«Мастерство не пропнешь», — лыбилась Зина, протачивая строчки швов.

С товарками-швеями дружбы не водила. Сплетни — не интересовали, разговоры о детях, мужьях, болезнях — раздражали. Зина не любила женское общество и, как всегда, держалась в стороне.

«Ходит гоголем», — судачили товарки.

Полюбившимся местом стала пивная.

Злачное место находилось между трикотажной фабрикой и автобазой. Сотрудницы фабрики — случайные гости пивной, а вот шофера и механики автобазы составляли костяк клиентуры.

Зина распробовала и полюбила разливное пиво, подаваемое в больших кружках с высокой пеной. Ей нравилось сидеть за столиком, потягивать пивко и дымить папиросой.

Надев новое платье, сапоги на высоком каблуке, с маникюром и прической, Зина ощущала себя городской штучкой. Мужчины вились вокруг. Приятные ощущения.

Попад в благодатную и родную атмосферу, Зина расправила плечи. Каждый вечер заканчивался небольшим приключением — походом в кино, на танцы, в гости к новому воздыхателю. И как она прозябала в захолустье все это время? Если и жить, то только в городе! Зина не могла насытиться наступившей весной и новой жизнью.

В марте при выходе из пивной Зину ожидал сюрприз.

— Батюшки, Колька Феоктистов?! Какими судьбами?

— Опа! Вот так встреча! — Пьяные глазки Феоктистова заморгали. — Зинуля! Ой, пардонте... — Глазки уперлись в здорового мужика, державшего Зину под руку. — Зинаида Ледник, вы ли это?

— Она самая! Ты чего тут делаешь?

— Да я к вам за стройматериалами. Теперь частенько буду приезжать. Как ты?

— Да все нормально. В ателье работаю.

— Ох, ничего себе. В ателье? Молодец!

Хмельной кавалер тянул Зину к выходу, угрюмо поглядывая на Феоктистова.

— Ладно, Коль, пока. Мы в кино! — махнула Зина рукой на прощание.

— Пока, Зинуль. Может, чего передать?! — крикнул Феоктистов.

Но дверь захлопнулась.

На улице послышался Зинин смех.

Пронесся метелями, откапал каплями март. Унес ручьями последние снега апрель. Молодая травка тянулась к солнцу, а Егор все томился и ждал. Подчас и сам не знал — чего? Каждый раз одно и то же — ощущение, что тебя водят за нос. Скользкой ледышкой она ускользала. Обжилась, освоилась, задрала нос. Какие-то знакомые появились. Егор и так, и этак. Пить с ней стал, да вовремя остановился. Надоедливая Лидка как бельмо в глазу — взять бы за шкварник да выкинуть! Зинка же, задрав ногу на ногу, курит, смеется. Подлюка. Тычет в лицо папиросой. Залепить бы в морду! Выбить папиросу! И когда ошалелая, с испугом будет смотреть — рвать платье, кусать заголенные ляжки! Если б не Лидка, пойти бы вразнос.

Первой вразнос пошла Зина.

Летом сорвалась. Внаглую потерялась, а неделю спустя явилась с повинной головой.

\* \* \*

Воскресным солнечным утром Егор подметал двор. Когда жена и дочь вышли на крыльцо, не замедлил высказаться:

— Видела сестренку? Приперлась под утро на полусогнутых.

— Видела. Пусть отоспится, что с нее взять. Мы на рынок. — Взяв за руку Дашу, Лида поспешила выйти за ворота.

«А ты и не возьмешь...» — пробурчал вслед Егор и закрыл ворота на засов.

Он отставил метлу и с полчаса бродил по двору, заходил в сараи, бессмысленно что-то переставлял, перекладывал. Подойдя к крыльцу, присел на ступеньку. Минут пять сидел и все смотрел на жука, который то полз, то переворачивался на спину, то опять полз.

Егор поднялся, огляделся по сторонам и вошел в дом.

Дверь Зининой комнаты приоткрыта.

Она лежала с раскинутыми руками. Платье задралось. Чулки на подвязках. Егор не сводил глаз с полоски белеющего тела, где оканчивался тонкий капрон. Один чулок сполз. Дрожащими руками Егор касался гладкой кожи, стягивая белье.

Зина причмокнула губами во сне, вздохнула.

Лихорадочно расстегнув ремень, Егор прилег на обнажившуюся плоть. Зина сладко потянулась, и он, не сдерживаясь, прижался всем телом и задвигался.

На самом пике она ожила, схватила его за чуб.

Егор замер.

Отстранив от себя, с блуждающей улыбкой Зина смотрела на него и не узнавала. Затем притянула к себе. Он закрыл глаза, приближаясь к ее губам.

И вдруг пронзила адская боль: волчья пасть впилась и вырвала поллица.

Егор заорал, шарахнулся, свалившись на пол. Хватаясь за прокушенную губу, он с ужасом смотрел на чудовище с окровавленным ртом, разлегшееся на кровати.

Чудовище хохотало, дрыгая ногами.

Держась за губу, Егор вылетел из комнаты.

Зина вытерла рукой рот, отвернулась к стене и, не одернув юбки, захрапела.

Он метался по двору из угла в угол, скуля, как побитая собака. Хватался то за лопату, то за вилы, то за топор. Убежав в огород, засунул голову в бочку с водой.

На губе остался рубец. Жене потом сказал — собака покусала.

В следующие дни жизнь для Лиды превратилась в кромешный ад. Егор методично и зверски мстил жене за сестру.

В большом доме многое можно утаить.

Лежа в своей комнате в пьяном забытьи, Зина не догадывалась, что в этот момент сестре в спальне муж выворачивает руки, душит, затыкая рот ладонью. А та молчит, стиснув зубы, — не дай бог, Зина услышит или дочь.

Но Даша все слышала и знала. Присев на корточки в запертой комнате, она бесшумно выла под дверью, как зверек, до смерти боясь отца.

Наконец и до Зины дошло, что в доме что-то происходит. Она попыталась поговорить с сестрой, но та все отшучивалась.

Егор Зину демонстративно не замечал, но тонкие намеки на невозможность ее пребывания в доме отпугивал.

Однажды за столом он, как обычно, ворчал на Лиду по поводу обеда. Не будь Зины, еда оказалась бы на полу, как бывало не раз. Из-за невозможности таким дедовским способом проучить жену Егор изошелся так, что пена чуть не капала с губ.

Зина терпела, терпела и вдруг вскочила, бросила ложку на стол:

— Да чтоб ты подавился, зараза! Это же надо — кусок в горло не лезет от таких проповедей! А он все сидит долдонит и долдонит! Да будь моя воля — я бы тебя, гада, быстро пристроила куда следует! Или думаешь, не пристроила? Чего зенки лупишь? Нашел развлечение — гнобить жену! А ты еще натерпишься, — кинула Зина сестре, — вынесут тебя вперед ножками! Домолчишься, мученица! — И она вылетела из-за стола.

Во время этой тирады Егор как язык проглотил. Он все с изумлением смотрел на расходившуюся Зину, как будто что-то обдумывал. Надумав, заорал:

— Пошла вон, дура! Чтоб духу твоего здесь не было!

— Сама уйду и тебя не спрошу! Козлиная морда!

— Чтоб ноги твоей, зараз...

Но та, к кому он обращался, — хлопнула дверью.

\* \* \*

За время отсутствия Зины в доме Палаевых произошли перемены. Сестра Егора Майя привезла тяжелобольную мать.

— Живешь царем, дай матери спокойно умереть в собственном доме, а не у нас на головах.

В сером пальто, черной беретке, Майя стояла перед братом в коридоре. Минут пять назад, ворвавшись в дом, она пальцем по-хозяйски показывала нанятым людям, куда перенести больную и вещи.

Егор поморщился. Понимал — правда на стороне сестры, и все же не удержался:

— Кто ж за ней ходить-то будет? Ты как-никак дочь...

— Так я ж не против... — примирительно начала Майя, — давай поменяемся — мы сюда, а вы в нашу квартиру, и за мамой будет должный уход. И для тебя никаких забот. Кто ж, как не родная дочь, лучше за матерью присмотрит? Ведь она лежащая.

Она говорила, а у Егора мурашки шли по коже. Голосок Майи вкрадчивый, она придвигалась, и Егор понимал, что надо бы отодвинуться, не подпускать. «Жужелица... под кожу залезет, и не заметишь!» Вот так и в детстве сестра всегда его заговаривала. «Еще чего! Я из своей усадьбы да в ее скворечник!»

— Конечно же, вам будет тяжело. — Майя надевала нарочито медленно серые замшевые перчатки, под мышкой придерживала черное портмоне. — А каково Лидии? Ведь не родная кровь... Придется ей с работы уйти. Или сиделку наймете? А по финансам осилите? Лекарства, уколы. Опять же запахи... стирка. Тем более здесь, без горячей воды и ванны. Это может затянуться на годы.

— Ладно тебе, Майка, пугать. Разберемся. Мать все-таки мне родная.

— Как-то поздновато ты вспомнил. — Холодные глаза сверкнули.

«Вот и жало как прижало...» — усмехнулся Егор и сквозь зубы ответил:

— Лучше поздно, чем никогда.

— Как знаешь... — И Майя выскользнула в дверь.

Осень незаметно пролетала в повседневных хлопотах.

В октябре в небе кружил предвестник зимы, ложился инеем.

В один из дней Зина рубила капусту на огороде и складывала в тачку.

— Как успехи? — послышалось за спиной.

Зина обернулась.

Соседка Люська, облокотившись на штакетник одной рукой, второй поправляла съехавший платок.

— Да ничего, — отозвалась Зина. Потянувшись, разогнула спину, достала папиросы.

— Ты, смотри, вернулась.

— Верно смотришь, глаз — алмаз. — Зину раздражала соседка — любопытная, любительница прихвастнуть. Зина подошла ближе, прикурила и выдохнула дым в ее сторону. Люська незаметно поморщилась, отстраняясь.

— Смотрию, и Матвеевна вернулась. Майка ее привезла, я видела. Егор с Майкой всю жизнь как кошка с собакой. Никогда мир их не брал. Еще брат и сестра называются. Все равно как звереныши. Все в отца. Матвеевна сильно болеет? — После «характеристики» на брата и сестру голос сочувствующий, а глазки — азартно поблескивающие, с жадностью смотрящие, не дай бог, что пропустят. Мордочка вытянулась, казалось, еще немного — и соседка перепрыгнет через забор.

— Сильно. Не дай бог тебе так, — сплюнула Зина.

Люська поджала губки. Решила сменить разговор:

— Как капуста нынче? Смотрю — хороша?

— Хороша. Аж трещит.

— Ой, а у меня, — перебила Люська, — такие кочаны, такие кочаны нынче! Просто огромные! — Раскинула руки, показывая, пытаюсь объять необъятное. — Некоторые полопались. Трещат!

— Везет тебе. — Зина бросила под ноги окуроч.

— Ага... — Люська проследила взглядом за упавшим окурочком. —  
Надо еще кочерыжки убрать, а потом...

— Привет кочерыжкам. — Зина отвернулась и направилась к тачке:  
«Тебя не переслушаешь, помело».

Посыпал снежок, частый и колкий. Ударяясь о капустный лист, отскакивал. Посмотрев на потемневшее вмиг небо, Зина побросала оставшиеся кочаны в тачку и повезла с огорода. В сенях выгрузила.

На кухне присела возле печи и выставила над плитой озябшие пальцы.

— Есть же верхонки, почему не надеваешь? — спросила Лида.

— Забыла. Да я и так привыкла.

— Так руки станут граблями. Видела, Люська подходила. О чем говорили?

— Да ни о чем. Ты же знаешь, сплетнице все надо знать. Только со мной разговор короткий.

— Какая она любопытная, везде нос сунет.

— Когда-нибудь его прищемят, — сплюнула Зина в ведро и подкинула уголь в печь.

— Зин, Тамара Петровна сегодня зайдет, мерку снять.

— Пусть заходит. Обмерим эту баржу.

Лида, помешивая кашу на плите, с улыбкой глянула на сестру: суровая и одновременно смешливая. Помощница. Только бы не пила.

\* \* \*

Антонида Матвеевна лежала обложенная подушками. Немошнные сухие руки прутиками темнели на одеяле. Большие, казавшиеся огромными на исхудавшем, со впалыми щеками лице глаза смотрели прямо, не замечая мелькавшие в комнате предметы.

— Зина, мне так нравится, когда ты шьешь, — тихо произнесла Антонида Матвеевна.

Лида подняла голову от вязания и с жалостью посмотрела на свекровь. Уезжала она бодрая, с прямой спиной — и вот что с ней стало. И трех лет не прошло.

Зина оторвалась от книги. Она читала сначала вслух, но, увлекшись, замолчала, бежала по страницам глазами.

— А я думала, наоборот, что мешаю вам.

— Нет, Зиночка, не мешаешь.

Зина бесшумно перелистнула страницу. Голосок старушки был еле слышен.

— Мне нравится слушать, как машинка постукивает. — Антонида Матвеевна улыбнулась. — Лежишь так в тишине весь день, а ты прирмешься за работу — и вроде как не одна. Кто-то есть за стеной.

— Антонида Матвеевна, вы не одни, — напомнила Лида, — в доме всегда кто-то есть. Просто стараемся сильно не шуметь, чтоб не мешать вам.

— Я знаю, девочки, что вы рядом. Это я так. — Старушка повернула с усилием голову, попыталась посмотреть в окно: — А какой уже месяц?

— Октябрь. Покров прошел.

— А был ли снег на Покров?

— Да вроде был. Потом растаял.

— Значит, к холодной зиме. То-то чувствую, зябко. Зима идет.

— В комнате вроде тепло. Еще подкинуть? — Лида поправила у больной одеяло. — Может, еще одеяло? Я принесу.

— Да нет, Лидочка. Не нужно. Оно дело не в тепле, а чувствую, как зима идет... косточки стынут...

Сестры переглянулись. Лида уткнулась в вязание, ближе поднесла спицы к лицу. Зина заметила быструю, едва заметную слезинку, скатившуюся по ее щеке.

— Снег сегодня опять идет. Теперь, наверное, не растает.

— Не растает, Зиночка, не растает.

Когда старушка уснула, приглушив свет лампы, сестры вышли из комнаты.

Лида шмыгала носом:

— Мама вспомнилась. И сразу как-то накатило... те последние дни. — Она расплакалась, взяла платок.

— А мне и вспомнить нечего. — Зина не знала, что сказать, чем утешить.

— Лучше не надо этого знать.

\* \* \*

Принявшаяся с азартом за домашние дела Зина с месяц не пила. Новое, неведанное состояние. Так долго за последние годы она не держалась. Каждый раз, ловя на себе благодарный взгляд сестры, поводила плечами. Внутри что-то поднималось, подкатывало к груди, казалось, она не жила или жила, но не своей привычной жизнью — проживала чужую.

Зина скучала по пивной, гогочущим шоферам. Хотелось куража, праздника. Свободы!

Больше всего на свете она мечтала оказаться в поле с низко скошенной травой, чтобы далеко все было видно, до синего горизонта — и бежать, бежать. Без оглядки в неизвестность. Чтобы ветер сносил с ног, дул со всех сторон, раздувал платье! И никто, никто бы не поучал, чтобы никому до нее, Зины, не было дела. Но разве такое возможно? Разве оставят в покое.

Когда сестра смотрела с благодарностью, Зина раздражалась: «Тебе хорошо! А каково мне?»

Обрезки ткани клочьями летали в воздухе. Выкройки, катушки ниток, куски мела валялись то тут, то там. Зина яростно нажимала на педаль. Машинка горела, стрекотала пулеметом.

В фартуке, с иглками в губах, Зина обмеряла необъятные тела клиенток. А те жужжали:

- Зина, а можно вырез побольше?
- Может, сменим материал?
- Что-то как-то жмет, а тут тянет.

Когда тучная Виолетта, продавщица из продмага, притащила выкройку из журнала и ткнула в понравившуюся модель, Зина выплюнула иголки:

- Для тебя одна модель — два шва и посередине дырка!
- Какая дырка?
- Для головы. Чтоб пролезла.
- Ну, знаешь ли! — надулась Виолетта.
- Знаю. Обмеряться будем или как?
- Уже и не знаю.
- А если не знаешь, дуй в ателье. Через год сошьют.

Временами все бесило. Зина бросала шитье и бралась за книги. Юношеская страсть к чтению не угасла. Не замечая времени, Зина могла пролежать на кровати с книжкой весь день.

«О, читательница выискалась», — похихикивал, проходя мимо, Егор. Чудом книга не летела ему вдогонку.

Но маетной душе и зависимому организму эти передышки в трудах и чтении — как мертвому припарка.

Облегчение пришло в декабре.

После очередного скандала с Егором из-за сестры Лида укрывалась в комнате свекрови. Лицо пылало. Она вязала при свете ночника и не могла прийти в себя от тех ругательств и оскорблений, что сыпались на нее. И почему она так стала реагировать? Ничего нового — все как и прежде. Видно, расслабилась, слишком тихо в доме последнее время.

Вспомнился вопрос Зины: почему не уйдет и терпит?

Как это — взять и уйти? Бросить дом, хозяйство, мужа и уйти неизвестно куда с ребенком на руках и скитаться по углам? У Лиды в голове подобный сюжет не укладывался. Зачем рубить с плеча? Егор отходчивый. Да у нее и духу не хватит взять и уйти. Куда идти и, главное, зачем? Зине этого не понять. Легко рассуждать, когда нечего терять. Встал и пошел.

Петли нанизывались одна на другую.

Конечно, тяжело и счастья нет. Как замученная лошадь, она ползет в гору. Неужели и правда кто-то живет в любви? Какое оно, женское счастье?

Метель выла, сотрясая стекла.

Оторвавшись от вязания, Лида отодвинула штору. Снежная чехарда кружила. Вот где Зинка бродит? Ясное дело, пьет. Только бы в тепле. Только бы не упала где-нибудь и не замерзла.

— Метет? — раздалось в тишине комнаты.

Лида вздрогнула. Она и забыла, погрязшая в мыслях, о свекрови. А та тихонечко лежала в темном уголке.

— Метет. Вы не спите? — Лида присела на кровать, по привычке поправила у больной одеяло.

Ледяные пальцы коснулись руки. Лида опять вздрогнула. Спohватившись, взяла обеими руками безжизненные прохладные пальчики.

— Я тебя замучила...

— Нет, нет. Что вы! — Лида заговорила, не останавливаясь, убегая от слез. Тяжелым комком они скопились в горле, если остановиться — прорвутся. — Ну с чего вы взяли? Я совсем не устала. С чего мне устать? Мне и Зина помогает. И Егор. И у нас даже лучше теперь стало и спокойнее. Что вы? Вы не переживайте, только поправляйтесь... — Остановилась, замерла на выдохе.

— Ты прости меня.

— Да за что же?

— За сына...

Умерла она в мае, когда все стояло в цвету.

— До чего жестока жизнь... — Лида склонилась на плечо сестры. Они сидели вдвоем на крыльце, над головами свисали белые, в цветах ветви ранетки. — Как можно взять и забрать человека именно сейчас, в такое время, — Лида сморгнула слезы, — когда жизнь нарождается.

— Жизнь штука злая, — ответила Зина, — не знаешь, где тебя прижмет.

## Ненужный

Первый год жизни у тетки был вполне сносным, и если сравнить с тем временем, когда Семен жил с матерью без отца, то и вовсе счастливым. Омрачен он был лишь уходом из жизни дедушки Полежаева. В тот год Семен привязался к старичку и сильно переживал потерю.

Юркий, не по годам смышленный Семен дичился людей. Замкнутость — как защитный барьер от враждебного мира и смеющихся над Семеном детей.

Обид пришлось вынести предостаточно, лишь когда о Зинке-Зингер забыли, Семен смог расправить плечи, и все равно каждый раз — напряжение, ожидание нового удара.

Еще в первом классе, когда жил в отцовском доме и Семена дразнили тем, что мать «ходит пьяная как свинья», он соседу по парте воткнул в плечо перо ручки. Плечо оказалось мягким. Перо легко вошло в плоть. Это было отмщение — одноклассник один из первых смеялся над матерью.

Получила свое и соседская девочка, всеобщая любимица и заводила всех интриг — с кем дружить, кого дразнить.

Семен поймал ее котенка и, привязав к столбу, подпалил ему хвост. Он собирался сжечь его целиком и подбросить к соседским воротам одну головешку — акт предупреждения и мщения, но котенок так жалобно мяукал, что сердце мстителя дрогнуло. С подпаленной шерсткой котенок

прибежал домой. Через забор Семен видел и слышал, как поверженный враг плакал над своим питомцем.

У зловредной и горластой сплетницы Кондаковой Семен украл курицу — главную несущку, любимицу хозяйки — и отдал на растерзание собакам. У Пашки из старшего, третьего, класса проколол колесо на велике.

Обидчикам Семен не спускал, и пусть не в прямом противоборстве и с опозданием, но кара настигала каждого из них. И лишь глубокой ночью, спрятавшись под одеяло, мститель тяжело сопел, вспоминая котенка и последний вскрик несущки.

В скором времени в доме появился новый человек — дядя Миша, тети-Галин ухажер. Он пока только захаживал в качестве гостя, но по всему видно — будущий хозяин. Новость не из лучших. Семен догадывался — грядут перемены.

Всегда тихая после смерти мужа, баба Маруся умолкла совсем. Она даже уменьшилась разом.

Дядя Миша приносил конфеты, угощал Семена, пытался рассказывать веселые истории, но выходило не смешно. Необычно ласковая и добрая тетка фыркала от смеха, махала на гостя рукой: да ладно, мол, сочинять-то.

Галина изменилась, стала наливаясь телом и все меньше походила на ворону.

Семен смотрел на некогда худющую длинную теткин шею и удивлялся. Шея сделалась короче и толще. Острый подбородок стал мягким и круглым. Во время смеха он прижимался к шее, а из-под него выглядывал еще один. Семен с интересом наблюдал и не понимал, когда и как успел вырасти второй подбородок. Когда тетка заходила в наигранном смехе, хотелось крикнуть: «Перестань притворяться!»

Семен вставал из-за стола, по привычке пихая две-три конфеты в карман.

— Конфеты положи! — одергивала тетка. — Нечего таскать-раздавать... — С улыбочкой подавала чай дяде Мише: — А то таскают и таскают, на всех не напасешься.

Семен выкладывал конфеты и выбегал во двор: «Жадина, будто ее. Дяде Мише ведь не жалко».

Конфеты Семену раздавать было некому, ел сам.

Со временем Семен усмотрел и некоторые выгоды от появления дяди Миши.

Тетка становилась слащаво-отталкивающей, но уже не так сильно кричала, порой и вовсе не обращала на Семена внимания. Главное — не крутиться под рукой, не быть на глазах. Опять же мужская помощь по хозяйству: дядя Миша всегда подсобит, тяжелую работу сделает сам, если что не знаешь, всегда можно спросить. Только вот Семен по привычке не спрашивал, следовал любимой тактике — подсматривал.

Земля свежевскопанная и вкусно пахнет. Дядя Миша делает лунки, Семен кидает картошку. День солнечный, становится жарко, но майское тепло обманчиво.

Семен кидает картошку, а сам думает о фамилии дяди Миши: Хромин — это значит от слова «хромать»? Отец хромал...

Семен пропускает лунку.

— Семен! И куда в такую рань садите? Никто еще не садит! — доносится от соседского забора.

Семен поднимает взгляд на Якимовну и не знает, что ответить, и правда рано, никто еще не садит, но тетя Галя сказала — пора.

— Это кто? — спрашивает Хромин, не оборачиваясь и продолжая работу.

— Бабка Якимовна, соседка.

— Скажи — на еду садим, а позже остальную.

— Мы на еду садим, а позже остальную! — кричит Семен.

— На еду. Вот вылезет ваша картошка и заморозки ударят — будет вам на еду... — Ворча, Якимовна отходит от забора.

— Ей интересно, с кем я картошку сажу, — щурится от солнца Семен.

— Стало быть, не провести тебя Якимовне, — ухмыляется Хромин.

— Стало быть. Она вредная и любопытная.

— Такими и должны быть соседки.

— Это почему?

— Да не почему, а так уж водится. Еще рядок прогоним, и перекур.

— Ага.

Закончив ряд, Хромин переворачивает ведро, садится на днище, закуривает. Семен присаживается на корточки рядом.

— Нравится с теткой жить?

— Да ничего. — Семен напрягается, отвечает нехотя. Вот что можно ответить на такой вопрос — сказать правду? Так ее не скажешь.

— Ничего, — как бы повторяет Хромин за Семеном. — А мать-то где твоя?

— Не знаю.

— Так уж и не знаешь?

— Нет, — шмыгает носом Семен.

— Странно, мать вроде как, должна писать, открытки слать. — Хромин сплевывает, бросает окурок.

Семену хочется схватить лопату и разрубить дымящийся бычок на четвертинки. Похоронить.

— Ладно, давай работать. — Хромин берет лопату.

Семен идет к мешку с картошкой, наполняет ведро. Возвращаясь, кидает в лунки. Желание что-либо делать пропало. От солнца жарко, присутствие Хромина неприятно, как и его подковыристые вопросы. Теперь для Семена он — только Хромин. Никаких дядь Миш.

— Добегались! — Запыхавшаяся тетка вбегает в огород. Сорвав платок, выкрикивает непонятные слова.

Семен и Хромин переглядываются.

Приблизившись, Галина пожирает Семена глазами:

— Что смотришь? Доигрались!

— Да что случилось-то? — спрашивает Хромин.

— Что случилось?! Одноклассницу его, Светку Терещенко, током убило!

\* \* \*

Кухня — самая теплая, уютная комната в доме.

Семен любил сидеть за столом и после обеда смотреть в окно на поднимающееся в гору, к холмам село, на проходящих мимо редких прохожих, коров, собак, дерущихся в ветках сирени воробьев. Под звуки радио, когда шла радиопостановка, можно долго сидеть и, попивая чай с вареньем или пирогами, слушать. Как обычно, все заканчивалось на самом интересном. Семен вздыхал и ждал с нетерпением следующего дня.

Вместе с Семеном за столом с другого края всегда сидела баба Маруся.

Бабушку Полежаеву звали по-разному — Марусей, Русей, Марией, Николаевной и даже Мусей.

Мусей — ласково называл покойный муж.

Тугую на ухо бабу Марусю голос радио мало интересовал, Семен это знал. Белесыми мутными глазами она смотрела в окно, но мало что видела. Когда бежала собака или шел человек, не провожала их глазами. Куда она смотрит? — думал Семен, пытаюсь проследить за ее взглядом. От кого-то он слышал, что старые люди часто смотрят в себя, как слепые.

Однажды Семен спросил:

— Баб Маруся, а ты умеешь смотреть в себя?

— В себя? — удивилась старушка. — Это как же?

— Не знаю...

Семен сидел на кухне один и смотрел в окно — не по-майски холодный день. За припорошенными снегом крышами виден холм с рассыпавшимися у подножия маленькими избами, в одной из них, в «бабьем хуторе», и жила Светка.

Семен сидел долго с остывшим чаем и все смотрел в окно. Сегодня похороны. Третью ночь Семену снились кошмары. Вновь боязнь темноты. Ожившим воспоминанием являлся обшитый красной материей гроб отца. Никто в целом мире не смог бы заставить Семена посмотреть на лежащую в гробу Светку. Неужели она там лежит? Она же не взрослая и не старая.

Семен всматривался в «бабий хутор».

На черной дороге, ведущей к селу, запестрели два пятнышка. Одно побольше, другое поменьше. Корова и теленок — разобрал Семен.

На серо-лысых холмах местами зеленела травка. Пара коршунов зловещими тенями парила над сопками.

На черной дороге, где только что была корова с телятком, вдруг появилась красная точка. Флаг? Семен оторвал взгляд от сопки и, взглядевшись в растущую точку, встрепенулся. Он отскочил от окна, зная, что через стекло ни в коем случае нельзя смотреть на похороны, так же как нельзя ничего приносить с кладбища.

Он убежал в другую комнату, где из окна видна улица, сел за стол, но опять подскочил. Похороны войдут в село и пройдут именно здесь, мимо окна! Надо одеться и выйти за ворота, лучше уж там.

Похоронная процессия двигалась по центральной улице. Гроб везли на телеге, крупная баба в черном платке вела под уздцы лошадь. Возле гроба сидели мать Светки и бабка Фаина, все остальные Терещенко шли следом.

На обочинах дороги останавливались прохожие, кто-то выходил из ворот.

Семен со страхом всматривался в гроб, но лица Светки не было видно, лишь потемневший лоб и привязанный к коротким волосам черный бант.

Ветер с мокрым снегом бил в лицо. В ушах звучала песня школьного хора, которую сейчас репетировали: «Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догорала...» Семен знал, что теперь, где бы он ни услышал этот мотив, сразу вспомнится эта жуткая весна и эти похороны. Он слезящимися глазами смотрел на покачивающийся впереди гроб.

Вдруг черный бант отделился от Светкиной головы и полетел, гонимый ветром.

Семен застыл в ужасе — бант летел на него.

Семен чуть не закричал и не бросился бежать, но черная лента резко взмыла вверх. Упав на землю, но уже в стороне, змеей поползла к домам. Семен с остановившимся сердцем следил, к каким воротам она подползет. Его дом совсем рядом. Но ветер подхватил ленту и понес за крыши на другую сторону улицы.

Семен с облегчением выдохнул.

Он стоял, наблюдая, пока процессия не исчезла из вида.

\* \* \*

С рождением Лешеньки, поздним Галкиным счастьем, жизнь в доме Полежаевых, а теперь Хроминых, резко изменилась. Предвестники перемен появились раньше, когда всем недовольная и капризная тетка вынашивала дитя.

Семен и не заметил, как с бабой Марусей они перестали слушать вместе радио, засиживаясь в кухне у окна. Баба Маруся теперь не сходила с кровати. Не видно и не слышно ее стало в доме. Семен думал — болеет, как все старики. Сам же кожей чувствовал себя лишним, казалось, и места в доме стало меньше, как только переехал к ним Хромин. Законный муж.

— Что дома сидишь? Иди побегай, — улыбалась тетя Галя. Но улыбалась одними губами.

— Раньше из дома не выпускала, теперь гонит, — бурчал Семен, сидя на кровати у бабы Маруси. — Рада небось, если я под ток попаду или еще куда...

— Ну что ты, Семушка? Она ж беременная. Грех такое говорить.

— Ничего не грех, если правда. Грех — врать.

— Такая уж сиротская доля: говорят — делай, дают — бери и ничего никогда не проси...

— Я и так ничего не прошу! — С покрасневшими глазами Семен убежал на огород и в стайки.

Он не мечтал стать летчиком, врачом, космонавтом, как остальные ребята, единственное желание — скорее вырасти и пойти работать на трактор или лес валить, неважно, главное — быть самостоятельным и уйти из дома.

Теткин растущий живот также не предвещал ничего хорошего. Семену чудился под халатом не живот, а шар, надувной, который может в любой момент вылететь или лопнуть.

Семену живот представлялся неодушевленным предметом. Он естественно смотрелся и никак не вязался с обликом тетки: ее походка, движение рук, выражение лица никак не были связаны с наличием живота. Будто она запихала подушку под платье и просто ходит и притворяется, охая и постанывая. Семен смотрел пристально тетке в лицо, когда она вскрикивала якобы от боли, но выражение лица при этом не менялось. Семен подмечал подобное выражение у тех, кто говорит приятное, а сам смотрит недобрыми глазами.

Баба Маруся умерла незаметно, как и жила последнее время. Проснулись однажды и не сразу ее хватились.

После похорон Семен услышал разговор соседок:

— Убралась бедная, отмучилась.

— Не говори. А куда деваться? Новая семья. Ребенок вот-вот родится, и больная старуха на полатах.

— Маруся в собственном доме жила! А эта могла б поделикатнее быть — взять привести в дом свекрови хахаря! Ведь у Маруси там кругом сын. А эта привела... Отольются ей Марусины слезы.

Ребенок Галины еще не родился, а Семен возненавидел его. Но вот странное дело, когда Лешенька появился на свет, вся ненависть куда-то исчезла.

Только те, кто жил приживалом у родственников или добрых людей, поймут, как это — чувствовать себя каждый день словно в гостях. Ешь, пьешь и каждый раз ловишь на себе недовольные взгляды своих благодетелей. И рука твоя не возьмет лишний кусок со стола, и не просишь ты для себя ничего, и стараешься все исполнить и сделать, только чтобы не видеть тяжелых взглядов, а не дай бог услышать хозяйский вздох или слова несправедливые.

С поздним ребенком своим Галина и Хромин носились днем и ночью, а как иначе — ведь он единственный, долгожданный. Папа с мамой все пылинки сдували, даже если пылинок и не было, но они все равно мерещились родителям всюду как угроза Лешенькиной жизни. Не дай бог он зауросит или заболит — всё, весь дом на ногах, и виновнику Лешенькиного несчастья несдобровать. Виновник, и без вины виноватый, всегда один — сын Зинки-Зингер. Что с него взять? Яблоко от яблони. А Семен все никак не мог понять — за что же ему такое внимание и такая ответственность?

Чувства Семен к Лешеньке испытывал противоречивые. Сначала любил, как старший брат, и с удовольствием водился. Но когда характер Лешеньки от чрезмерной родительской любви к пяти годам стал портиться и когда Семену порядком надоело отвечать за каждую горькую, иногда специально пущенную Лешенькину слезинку, временами он брата ненавидел.

Руки тетки длинные, жилистые, как плети. Била она Семена наотмашь часто, со злобой, получая колоссальную разрядку. Семен молча принимал науку, тупо смотря в пол, глотая слезы не из-за боли — боли он в такие моменты не чувствовал, а из-за несправедливости наказания: ведь ни за что бьет, дура!

Раздражение и неприязнь между Семеном и теткой накапливались и с годами превратились в огромный нервный ком, который вот-вот готов был покатиться.

Хромин масла в огонь не подливал. Незлой и ко всему равнодушный, он старался меньше находиться дома. Характер жены изменился. Галина больше не смеялась, соблазняя телесами. Она вновь превратилась в ворону, кем и была. Шок от подобной метаморфозы Хромин испытал сильный. Если Галина жалела, что связалась с Семеном, то Хромин пожалел, что связался с Галиной, и «если бы не Лешенька...»

В четырнадцать лет Семен ушел от тетки. Ушел со злобой в душе, хлопнув дверью, дав пинка подвернувшемуся на пути Лешеньке.

— Изверг! Ребенка еще мне убей! — кричала истошно тетка.

\* \* \*

Годы — река. Весной — бурлящая, готовая унести. Летом — тихая, в зной неприметная, еле течет, совсем без сил. После хорошего дождика — полноводная, стремительная, захватит — не выплывешь. Осенью дождь, не дождь — силы не те, все к закату. Седой лед схватывает ближе к ночи, еще немного, еще чуть-чуть...

Зина все жила у сестры. «Бельмом в глазу», — ворчал Егор.

После смерти матери власть его вновь окрепла, и дом погрузился в еще больший сумрак. Женщины ходили тенями.

Роль тени Зина выносила от силы пару-тройку дней, затем взбрыкивала, плевала ироду в лицо и уходила — то в пивную, то к очередному Ваньке, то еще куда. Прогуляв с неделю или две, возвращалась, отлежи-



валась, затем, ушедшая в себя, с опухшими глазами, обвислыми щеками, строчила на машинке, кормила свиней, курей, садила и копала огород, ходила на работу в школу, где мыла полы, с фабрики ее давно уволили. С появлением денег в руках свистопляска начиналась вновь.

Теперь Лида ходила в школу и просила за сестру.

Пошумев для порядка, директриса закрывала глаза на Зинины выкрутасы. Вернувшись на работу, Зина каждый раз устраивала настоящий субботник — так отдраивала стены, окна, как ни одна уборщица.

Когда Егора положили в больницу, Зина в очередной раз ушла из дома. Спустя два месяца вернулась.

Весть о том, что из больницы Егора привезли лежащего, разнеслась быстрее ветра. Не верилось, что здоровый, в полном расцвете мужик прикован к постели. С чего бы?

«Наследственное это у них...» — шептали по дворам.

В дом к сестре Зина вошла неуверенно. Ей мерещился гроб с Антонидой Матвеевной.

Лида, исхудавшая, с черным лицом, вышла навстречу.

— Наконец ты вернулась. — Она села на табуретку и разрыдалась.

Зина неумело пыталась приласкать сестру. Где-то внутри шевелилось: и зачем так убиваться? Столько натерпелась...

Он лежал в той же комнате, на той же кровати, где лежала и мать.

Зина испугалась. Высохший человек в кровати не был похож на Егора. Опустошенными и темными глазами он смотрел куда-то вдаль. Сквозь стены.

Зина стояла над ним здоровая, сильная, и разом все ушло.

Она читала ему книги, кормила с ложечки. Худенький, невесомый, как мальчик, Егор безмолвно лежал. Когда впервые Зина хотела поменять белье, он натянулся струной.

— Ну что ты, Егорушка? Зачем же меня стесняться? — Зина улыбнулась, попыталась пошутить, а сама боялась смотреть на него: «Совсем как воробушек».

Она осторожно приподнимала «воробушка» на руках и аккуратно укладывала на подушку, и каждый раз Зина видела, как на короткий миг темные, омертвевшие глаза оживали.

Она держалась из последних сил. Когда выходила из комнаты, шмыгала носом. Выбегая на крыльцо, хваталась за папиросу.

Дом погрузился в тишину, как и несколько лет назад.

Две женщины и совсем юная Даша сидели каждый вечер в зале, занимаясь своими делами, и каждая нет-нет да и взглянет в приоткрытую дверь.

Ушел Егор быстро. Долго в тягость своим женщинам не был.

От Галины Семен перебрался к деду Грише, родственнику по отцу. Схоронив жену и потеряв на войне двух сыновей, старик жил один. «Правильно сделал, что ушел, — сказал дед Гриша Семену. — Зачем жить в чужой семье да еще с дурной бабой».

Семену часто снилась мать. Не похожая на себя — белокурая, в солнечном платье, она стояла на углу дома. Семен бежал навстречу, но мама всегда удалялась. Страх, что она исчезнет, не отпускал. В самом конце сна, когда Семен догонял и касался ее рук, и они, обнявшись, вместе шли, и мама говорила: я тебе все расскажу... — Семен просыпался и тут же опять старался уснуть. Необходимо узнать, что же мама расскажет. Ему и самому не терпелось многое ей сказать.

На смену детской озлобленности пришла надежда.

Чем становился старше, тем сильнее желал увидеть мать. Верил — она непременно обрадуется, скажет что-нибудь ласковое. Обнимет и отогреет за все эти годы. Мама посадит его рядом и будет внимательно рассматривать и удивляться тому, как Семен вырос, и они проговорят до рассвета.

«Все можно вернуть — было бы желание», — улыбался в бороду дед Гриша.

В семнадцать лет пришло долгожданное приглашение, но не от матери — от тети Лиды.

Семен волновался всю дорогу. Он смотрел в окно автобуса и представлял их встречу. Как все произойдет? Какая она? Десять лет он не видел матери, большую часть своей жизни.

Когда подходил к дому Палаевых, каждый шаг отдавался гулким эхом. Вот сейчас.

Лида тепло встретила племянника, усадила за стол.

После смерти мужа она поправилась. Похорошела.

«Отмучилась. Пусть и для себя поживет. Ходила тенью столько лет...» — шептали соседки, провожая взглядом.

Улыбчивая, окруженная домашним уютом и спокойствием, Лида наблюдала, как Семен ел.

— Зина сейчас с нами не живет. Сошлась с одним мужчиной. Я вот написала адрес: улица Октябрьская, 15. Тут недалеко. Пойдешь все время прямо до поворота, а там и Октябрьская. Если что, спросишь.

Семен взял клочок бумаги, пробежал глазами и положил в карман.

— Спасибо. Я сейчас схожу.

— Сходи... — Лида вздохнула. — Ты потом сразу ко мне возвращайся.

Семена потряхивало, уверенность таяла с каждой минутой. Не покидало чувство, что тетя Лида не в восторге от его затеи. Как бы не переждать самому. И Семен поспешил на встречу.

Он всматривался в каждую проходящую мимо женщину.

Когда повернул на Октябрьскую, замедлил шаг.

А вот и номер пятнадцать.

От вида покосившегося забора и убогого дома сердце сжалось. Семен постучал в некрашенные деревянные ворота. Никто не отозвался, и собаки вроде бы нет. Семен толкнул калитку, заскрипев, та отворилась.

Он вошел.

— Тебе кого? — окликнул резкий голос.

Невысокая крепкая женщина в полосатой майке и гетрах, с повязанным на лбу, как у хохлушки, платком недоверчиво смотрела. Она стояла у крыльца и держала в руках таз.

Семен молчал.

Его рассматривали и, Семен почувствовал, узнали.

— Ты?.. — голос оборвался.

Зина отставила на скамейку таз, обтерла о гетры руки.

— Заходи, раз пришел, — кивнула на дверь.

Семен с ладонями-ледышками прошел мимо матери, поднялся на крыльцо.

Он очутился в прокуренной темной кухне с низким потолком. За столом сидел мужик, заросший мхом, и с шумом пил мутную жижу из банки. При виде Семена он, кряхтя, отер губы.

— Эт кто, Зинка?

— Садись, вот. — Зина, выйдя из-за спины Семена, выдвинула для сына табуретку. Семен присел, краснея от стыда и неловкости.

Мужик с недоумением переводил взгляд с Зины на Семена.

— Сын это мой.

— Ах, вон как... — присвистнул мужик.

— Я проездом. Заехал к тете Лиде.

— Сейчас чай поставлю. — Зина засуетилась у стола, отвернувшись от Семена, будто пряталась.

Семен с горечью наблюдал за матерью: постаревшая, неродная. Сказать друг другу нечего, да и что говорить — чужие люди. В груди зашевелился камень. Семен и забыл о нем.

— Это хорошо, что у Лидки остановился, — оживился мужик, — а то у нас тут негде.

— Сиди ты, не тренькай! — одернула Зина. — Где чай новый? Который я с полочки покупала?

— А хрен его знает! С полочки? С какой? Тоже мне вспомнила. В столе смотри.

— Смотрю! Только ничего не вижу.

— Вот слепая тетеря! Зинка, ты, когда трезвая, такая вредная, — захихикал, подмигивая Семену, мужик. — Курить есть?

Семен достал пачку сигарет и бросил на стол.

— О, благодарствую.

— Не надо чая. Я на минутку. — Семен не слышал своего голоса.

— Уже уходишь? — Мужик чиркал спичкой, прикуривая. — А то бы посидели за встречю.



— В другой раз. — Семен посмотрел в спину матери и, не дожидаясь, пока она обернется, вышел.

На крыльце глотнул свежего воздуха.

За воротами вздрогнул от стука по стеклу, повернулся — в окне заросшая морда мужика.

Семен сдержался, чтобы не побежать. Без оглядки. На край света.

Он прошел мимо дома Палаевых. Не хотел никого видеть, ни с кем говорить. Шел, смахивая слезы. Солнечная женщина из сна умерла.

Он лежал на кровати и смотрел в потолок.

Большой длинноногий комар метался у лампочки.

В комнату вошла Лида.

— Семен, иди поужинай.

— Спасибо, не хочется.

— Тогда позже поешь. — Лида присела к нему в ноги. — Я не хотела, чтобы ты ходил. Ну, раз сходил, и ладно. Вы должны были увидеться... когда-нибудь.

— Лучше бы не виделись. Толку.

— Тебе это нужно было, я видела. От подобных вещей человека невозможно удержать.

— Она что, вообще ничего не чувствует?

— Может, и чувствует. Только по-своему.

— По-своему, — нервно хохотнул Семен. — Правильно про нее говорят — кукушка она. Зинка-Зингер!

— Это болезнь...

— Конечно! — вскрикнул Семен. — Все можно свалить на болезнь! Очень удобно. Пей — и море по колено. Ты ж болен! Какой с тебя спрос!

— Человек себя не контролирует, он не может сдержаться, вот и пьет. Ведь человек пьет не со злобы, или зависти, или корысти, а потому, что не может по-другому. — Лида разглаживала руками фартук, старалась не встречаться с племянником глазами. — Не может, чтобы не пить. Болен он.

— Все это отговорки.

— Зина трезвая совершенно другая. Она виновата и не виновата...

Что подделаешь.

— Я видел ее трезвую. Сегодня. Лучше б не видел.

Семен многое хотел и мог сказать. Лида вовремя вышла. В изнеможении Семен отвернулся к стенке. Он вернулся в точку отсчета, назад, в несчастливое детство.

На следующий день Семен засобирався домой.

Лида с Дашей проводили до автовокзала.

Жарило солнце. Они стояли под топодем в тени, и Семен все поглядывал на часы. Скорей бы уже посадка.

На прощание Лида сказала:

— Семен, ты не сердись на маму. Адрес знаешь — обязательно приезжай.

— Конечно. Обязательно приеду! — пообещал Семен, решив для себя никогда не приезжать.

Обнявшись с новыми родственниками, он запрыгнул в автобус.

## Расчет

В окно бьет мартовская вьюга. Хлопья летящего с небес снега облепили стекло.

Зина лежит на кровати с книгой. Содрогаюсь от душераздирающих завываний ветра, то и дело поглядывает в окно.

Дочитав главу, закладывает страницу фантиком съеденной когда-то конфеты, кряхтя, встает. Накинув кофту, выходит на веранду. Достает из кармана пачку «Беломорканала». Чиркает спичка, освещая желтое, с глубокими морщинами лицо. Зина с жадностью вдыхает первый глоток дыма. Во тьме сверкает, отражаясь в стеклах очков, огонек папиросы.

Опершись на дверной косяк, Зина наблюдает в замерзшие окна за разгулявшейся во дворе метелью. Несладка жизнь в чужом доме — да все лучше, чем в такую непогоду скитаться. Зина выпускает дым через ноздри: вся ее жизнь — одно сплошное скитание да маета.

Тушит бычок в консервной банке-пепельнице и возвращается в свою комнатушку-келью, как называет. Садится на кровать. Оттягивает очки на резинке (дужки давно отломались), протирает замусоленным платком стекла. Берет книгу и ложится на бок, открывает страницу.

Не читается.

Откладывает книгу, снимает очки. Развязывает вечный, в мелкий цветочек платок, повязанный, как у хохлушки, на лбу. Расплетает, выпятив от усердия нижнюю губу, слежавшиеся под платком мышинные хвостики-косички. Не спеша гребешком расчесывает жиденькие волосики. Собрав в кулак вылезшие локоны, сжигает их в печи. Раздевается и, погасив свет, ложится.

Жарко.

Лежит на скрипучей кровати и смотрит на раскалившуюся печь.

За окном пуржит, и кто-то давит на стекла. От раскрасневшейся плиты на стене злое тень.

Не спится — все мысли...

Душно невыносимо, и окошко с закрашенной форточкой не открыть. Тело ломит, лежать в одной позе неудобно, и Зина ворочается и ворочается, а кровать скрипит, напевая: не уснешь, не уснешь. Сон никак не приходит. Мысли. Навязчивые, гонимые, возвращаются вновь.

Как не любит Зина эти бессонные, мучительные ночи на трезвую голову. И вот образ того, кого вычеркнула из жизни, пыталась забыть, возникает перед глазами. С чего бы? Всю жизнь она боится встречи с ним. Боится его, как огня, черта, дьявола.

Девяностые и седьмой десяток застали Зину врасплох.

Не стало Лиды, и Зина сразу же лишилась всего.

Лет за пять до смерти Лида познакомила сестру с приличным дедушкой, одиноким, самостоятельным. Зина очаровала старичка и переехала к жениху по-настоящему, со всеми пожитками. Второй раз, после Федора, зажила хозяйкой.

Беда нагрянула внезапно — в восемьдесят три года сердце бабушки остановилось. Семь лет безоблачной жизни подошли к концу.

Понаехавшие родственники указали Зине на дверь: «Вы здесь никто — не прописаны и не расписаны».

Зина не знала, куда податься: Лиды нет, в ее доме живет дочь с мужем и сыном. Куда идти?

Приютила подружка — Сухоручка, собутельница, инвалидка с отсохшей левой рукой. Она же надоумила Зину идти к племяннице: «Ты ж там прописана. Иди к Дашке и требуй законный угол. Примут, никуда не денутся».

Метель угомонилась под утро.

Уставшая и разбитая после бессонной ночи, Зина лежит в постели и прислушивается к движению в доме.

Лежит и ждет.

Когда все стихает, встает — теперь можно и делами заняться. Любит — когда одна, когда никто не мешает.

Долго сидит на кровати и все зеваает: да сколько ж можно-то? Одергивает себя. Надевает очки.

Идет, как обычно, на веранду и выкуривает первую папиросу. Осторожно спускается с крыльца.

Во дворе встречает собака и радостно виляет хвостом. Домашние животные любят Зину.

Подбоченясь, Зина окидывает взглядом двор, принохивается к воздуху, смотрит на небо. Подходит к собачьей конуре, берет миску. Собака с благодарностью тычется в войлочные чуни. Лапой заигрывает, мешает идти.

— Ну, с ног не сшиби, — ворчит Зина.

На кухне выносит золу, растапливает печь, включает чайник.

Покормив собаку, ставит перед кошкой миску каши, наливает в блюдце молоко. Оставшееся в кружке молоко выпивает сама. У кошки никаких эмоций.

— Ешь, шкидра! — прикрикивает Зина. — А то ничего не получишь. Разнослов ей подавай. Тут самой бы чего поесть.

Садится за стол и, не разогревая, наворачивает в один присест полную тарелку каши. Ест всегда с аппетитом и много. Тарелки и блюдца не признает, предпочитает вместительные эмалированные чашки — тазики, как любовно их называет.

Муж Даши Сергей все посмеивается: «И куда, тетя, в вас столько еды входит?»

Зина подколы не замечает. Желудок у нее работает как часы. После пива Зина может опростать кружку молока — и хоть бы что. «У вас, тетя,

в животе и гвоздь перемелется», — не унимается Сергей. «Перемелется. Только ты не мели, Емеля», — ставит Сергея на место тетя.

Никогда и ничем Зина не болеет. В эпидемию гриппа — никаких простуд и недомоганий. Беспокоят только глаза, зрение с возрастом садится.

«Вот вы, тетя, и курите, и пьете, а здоровее всех трезвенников», — чешет подбородок Сергей. «У меня все в норме!» — дымит в ответ папирсой Зина.

— Что ела, что смотрела, — ворчит Зина, недовольно вставая из-за стола. Заглянув в холодильник, кладет еще каши и, не разогревая, съедает.

Сытая, умиротворенная, икает:

— Я поела, а вы как хотите, — слова адресованы кошке.

В обед кормит пришедшего из школы восьмилетнего сына Даши.

Андрейка с интересом, как всегда, наблюдает за странной бабушкой, поселившейся у них недавно. С повязанным платком, с очками на резинке, где одно из стекол треснуто, в тельняшке и с папирсой в зубах — Зина похожа на пиратку.

В школе сын Даши всем рассказал, явно хвалясь, какая у них бабушка теперь живет крутая, она и курит, и пьет, и матом ругается. Такой ни у кого нет.

— А кто тебя курить научил? — спрашивает Андрейка. Он никак не мог определиться с обращением к Зине. Все называют ее «тетя», но Зина в глазах Андрейки не смотрится тетей, а назвать бабушкой язык не поворачивается.

— Прокурорша научила, — отвечает Зина, — я после войны в прокуратуре на машинке печатала.

— На какой машинке?

— Печатной. Ты таких и не видал.

— А строгая была прокурорша?

— Строгая. Вот где у нее все были! — И Зина показывает внучатому племяннику кулак.

После обеда собирается в магазин. Даша оставила деньги на хлеб, молоко и папирсы. Больше в руки Зине не дают.

День после вчерашней метели тихий и морозный.

Яркое солнце слепит. Алмазы снега сверкают. Приятный морозец щекочет нос и уши.

На Зине зеленое с черным плюшевым воротником пальто. Верхняя пуговица не застегнута, грудь, как всегда, что в мороз, что в оттепель — нараспашку. Мужская цигейковая шапка-ушанка по-залихватски сидит на Зининой большой голове, на ногах подшитые валенки. Низенькая и крепкая, без рукавиц, «перчатки отродясь не носила», Зина идет степенной походкой по ледяному насту тротуара, расставляя носы валенок предусмотрительно в стороны. Идет подбоченясь, с папирсой во рту — вылитая атаманша.

Атаманше скучно — третью неделю «акромя чаю ничего не пила». Становится задумчивой и раздражительной — душе праздник подавай, а где его взять, когда в карманах пусто и кругом одни запреты. Ну, кто желает, тот всегда имеет... Зина с нетерпением подсчитывает дни до получения пенсии.

— Хорошо пристроилась твоя тетя, — выговаривал каждый раз Даше муж. — Живет на всем готовом и в ус не дует. Нет, с меня хватит — она пьет, а я ее корми? У нас на фабрике три месяца зарплату не платят — подачки суют, ты получаешь гроши, а эта хоть бы копейку в дом принесла. А почему я должен ее кормить? У нее, кажется, сын есть, вот пусть к нему и едет!

Даша молча слушала Сергея. Она сама устала от бедовой тетушки: кому приятно жить как на пороховой бочке, та после загулов приходит неизвестно откуда — грязная, голодная. Один раз вернулась со вшами. Вшей Даша у Зины вычесала на газету, а голову опрыскала дихлофосом.

«А дружки-собутыльники? — думала с содроганием Даша. — А вдруг кого на дом наведет? Не специально, конечно». Но и жалко тетю — деваться той некуда.

Даша помнила слова матери: «Зину не гоните, идти ей некуда».

Заколдованный круг.

— Не поедет она к сыну, сколько можно повторять...

— Да кто ее спрашивать будет?

— Спрашивать, не спрашивать, а она здесь прописана! Не все так просто!

— Ну и нянчись со своей тетей! Дай ей титьку!

Даша в бессилии опускала руки. Дрязги с мужем за последние месяцы, как появилась Зина в доме, участились. Как хотелось, чтобы все оставили ее в покое: и муж, и тетя. И ведь никуда не вырвешься, никуда не исчезнешь — все на ней.

«Сын! Легко ему говорить», — Даша подумала о муже.

Семен приезжал крайне редко. Даша удивлялась, как Зине, еще во времена Лиды, всегда удавалось отсутствовать во время его визитов. Она словно чувствовала приезд сына и каждый раз исчезала. Никогда о матери не спрашивал и Семен.

В последний приезд с Семеном была женщина. Блондинка с обесцвеченными волосами. Нина. Этакая свободная дама, любительница погулять. Коричневое от солнца, истрепанное жизнью лицо, облезлый маникюр, веселая, безвкусно накрашенная. Нет, Даша ничего не имела против, так, раздражение, проскальзывавшее порой. В итоге эту Нину стало жалко.

Семен был само обаяние. Мог без конца смеяться и шутить, рассказывать интересные вещи, и в прошлый раз он говорил и говорил за столом. Душа компании. Но Даша не верила ни одному его слову. Она не хотела бы оказаться с Семеном наедине или, не дай бог, на месте этой

Нины. Все же как некоторые люди умеют пустить пыль в глаза, а сами глаза свои прячут.

Семен не прятал, и от его взгляда становилось жутко.

Даша видела потом, как в сумерках, во дворе, Семен ударил свою Нину. Молча и тихо, под дых. Даша чуть не вскрикнула. А Нина ничего, выпрямилась. Видимо, не привыкать. Потом выяснилось — приревновал к Сергею. Бред.

Когда уезжали, Нина шепнула Даше, что бросит Семена, уйдет. Прямо с автобуса.

Чем все закончилось, неизвестно. Скорее всего, ушла. Лет пять назад это было. Семен больше не появлялся.

После того случая Даша впервые задумалась над словами Зины, оброненными однажды: «Нельзя мне к сыну. Помру у него».

\* \* \*

Конец апреля выдался сырым и теплым. В родительский день на кладбище не протолкнуться. Даша, Сергей и Зина стояли в Лидиной оградке. Даша разложила на столике закуску.

— Не понимаю, зачем устраивать на кладбище пир горой? — Дама с высокой прической, в кремовом пальто проходила мимо, держа под руку лысого мужчину. — Ты только посмотри, у каждой могилы накрыты столы.

— Что поделаешь — традиция, — отвечал мужчина.

— Азиатчина! — Высокая прическа закачалась.

Даша и Сергей переглянулись. Зина смотрела на фотографию сестры на памятнике.

— Тетя, давай помянем. — Даша протянула Зине стопку водки.

Они молча выпили. Сергей не пил — за рулем.

Раньше, когда жива была мама, особенно в детстве, Даша любила бывать на кладбище. Тихое и вместе с тем страшное место. Она всегда с интересом рассматривала фотографии на памятниках, читала имена, фамилии и даты. Особый интерес вызывали старые, заброшенные могилы. Были даже такие, где дата рождения стояла — конец девятнадцатого века. Бедные... Даша всегда жалела этих умерших, живших в такое тяжелое время — революции, войны.

Сейчас же бывать на кладбище стало невыносимо.

Даша стояла с подкатившими к горлу слезами и старалась гнать воспоминания. Она всегда испытывала неловкость в таких случаях — вроде бы нужно что-то сказать, а ничего не говорится. Камнем стояла и тетя. Другая бы нашла нужные слова, как делают обычно старые люди, глядишь, и полегчало бы. Вместе бы и всплакнули. Но Зина кремень. «Как из гранита!» — думала в сердцах Даша.

Зине вспомнилось детство. Военное, голодное. Вкус гнилой картошки, которую они собирали в пустом поле с Лидой.

Стояла такая же весна, снег давно сошел. На поле, если поискать, можно найти остатки прошлогодней гнили. Зина всегда хотела есть, и

всегда ее желудок бурчал. Лида отдавала сестре свою пайку: возьми, может, он перестанет. Желудок на время переставал.

Зина часто заморгала. Надо пройтись. Шатаясь, она вышла из оградки.

— Теть Зин, ты куда? Сейчас поедем.

Зина не слышит. Она идет мимо берез и елок. Хватается за железные колья оград, всматривается в могилы. «Где-то здесь мама... — В глазах мутно. — Нет, не здесь. А где? Лида ездила. Знала...»

Черное пятно, появившееся из-за берез, приближалось.

Даша с поспешностью отвернулась и посмотрела на фотографию матери. За спиной шорох.

И вкрадчивый голос:

— Где, как не на кладбище, встретишь всех родственников.

— Здравствуйте, — обернулась Даша.

На фоне черного берета и черного, наглухо застегнутого пальто лицо Майи неестественно бледно. Щеки округлились, нос стал уже и острее. Она стояла и держалась руками за ограду. Не входила.

— Вы, смотрю, были и у отца, — сказала бескровными губами.

— Да, были.

— Позавчера были, Майя Геннадьевна, порядок навели.

Даша с презрением глянула на мужа, каждый раз он лебезит.

— Какие молодцы. Все никак не могу выбрать время и заглянуть к вам в гости. Так давно не видела Андрюшу. Как он учится?

— Хорошо, — ответила Даша и стала убирать со столика.

— Живем в одном городе и практически не видимся... Непорядок.

Даша посмотрела на тетку. Ни одной знакомой черточки, ни тени от отца, ни воспоминания. Чужая.

— Так вы заглядывайте, мы вам всегда рады, Майя Геннадьевна, — пригласил Сергей.

— Загляну обязательно. Тем более... у меня к вам есть одно предложение.

— Предложение? А какое?

— От которого вы не сможете отказаться...

\* \* \*

Подружка Зины Сухоручка, являясь обладательницей отдельной квартиры, как магнитом притягивала к себе разного пошиба маргиналов.

В этот раз у нее было шумно, и народ большей частью молодой, незнакомый. Осмотревшись, Зина подалась в бараки. Там в одном семействе и приземлилась, благо хорошо приняли.

Когда гостя осталась без копейки, хозяева, после недельной пьянки, стали препираться. Дошло до драки из-за последней капли водки.

Боясь, как бы не досталось и ей, Зина решила вернуться к Сухоручке. У той пропила еще с неделю.

Пили уже что попало: какую-то дрянь, которую бомжи разводили водой, при этом говоря, что с одного глотка вставляет, после дошло до одеколона, принесенного с помойки Сухоручкой. Его они вместе с Зиной выпили на пару, втайне от всех, в туалете.

Завалилась спать Зина на вонючий матрас. Проснулась утром от шума, доносившегося из спальни хозяйки. Зина опасливо заглянула в приоткрытую дверь.

На кровати барахтались два незнакомых парня и пришедшая еще вчера девица, которую Зина узнала по рваным чулкам в крупную сетку. Парни заламывали девице руки, затыкали рот. Здоровая, как лошадь, она яростно сопротивлялась. Совладать с девицей было непросто. Зина не видела ее лица, лишь толстые ляжки, спихивающие попеременно то одного, то другого седока. Но силы девицы были не вечны, и вот, когда один из парней умудрился удержаться на ее бедрах, а второй заломил руки, — барышня в рваных чулках сдалась.

Дрожа от страха, Зина кинулась на кухню, но вместо хозяйки — распластавшаяся на полу наркоманка. Она лежала лицом вверх и кому-то улыбалась.

Схватив куртку, Зина ринулась к выходу, но путь преградил выскокивший из туалета мужик в трусах. По синеве голого тела Зина догадалась — зэк.

Сухоручка боялась зэков.

«Освободились и рыскают, как неприкаянные. Завалятся в квартиру — все с тебя снимут, а если обколотые — пиши пропало, прибьют, как пить дать», — предупреждала Сухоручка Зину.

По взгляду мужика Зина догадалась — под кайфом.

Подскочив к Зине и чему-то явно обрадовавшись, мужик прохрипел:

— Деньги есть?

— Откуда? — пролепетала Зина.

— Оттудова! — зарычал мужик. Он прижал Зину к стене и стал тискать, обыскивая.

— Я тебе в бабушки гожусь... — замямлила Зина. Но мутные, бесцветные глаза мужика смотрели недоверчиво и как-то странно...

— Врешь, сука! Цас мы проверим, какая ты бабуся! Гони деньги, стерва! — Он схватил Зину за шиворот и впихнул назад в комнату.

Зина упала на пол, а мужик прорычал:

— Лежи и не дергайся. — С криком: «Леха, тут еще одна!» — он скрылся в комнате, откуда доносились вопли девицы и маты ее мучителей.

Без куртки, в чем была, Зина выскочила на улицу и побежала что есть духу.

Когда уходила от племянницы, стояло бабье лето — теплое и золотое, спустя две недели летом и не пахло. В середине октября все изменилось. В лицо бил промозглый ветер, а под ногами жидкая грязь.

Продрогнув до костей, Зина только возле дома Палаевых замедлила шаг. Ее никто не преследовал. Кому она нужна, старая нищая пьяница?

На глаза наворачивались слезы. Только сейчас Зина осознала убогость своего положения, свою старость наконец, и что никому на свете она не нужна. Прибили бы ее на квартире, и никто бы не разобрался, что и как.

Тело ломило. Отдышавшись, Зина присела на лавочку у ворот. Одно желание: упасть и проспать сутки. Как показаться родственникам? Опять придется просить прощения, обещать то, чего никогда не выполнит. Устала, устала она от всего, и от нее все устали.

— А, тетя! Вы к нам проездом или как? — с издевкой встретил Зину вышедший за ворота Сергей. — Ну что, тетя, вам сказать — загостились вы у нас. Да и неблагодарны вы до невозможности. Не цените нашего участия. Шалите, понимаешь. Вот опять где-то покуролесили. — С усмешкой оглядывал Зину Сергей. — Пойдемте в дом, тетя. Обогреетесь хоть перед дорогой.

— Какой дорогой? — Зина вцепилась глазами в Сергея.

— Такой. У вас одна дорога — к сыну. Вас предупреждали. — И он открыл перед Зиной ворота.

Войдя во двор, Зина увидела на крыльце свой немногочисленный скarb в мешках и котомках да старенькую швейную машинку. Она все поняла, но до конца еще не верила. Надо поговорить с Дашей, попросить прощения.

— Мы тут больше не живем, тетя. Обменялись мы с Майей Геннадьевной. Так что и вам здесь не место.

Зина подумала — он шутит, но на крыльце вышла Майя в накинутой на плечи вязаной кофте. Глянув мельком на Зину, она перевела взгляд на Сергея:

— Я сейчас машину вызову. Закинешь вещи.

— Слушаюсь, Майя Геннадьевна.

— Счастливого пути, Зина, — бросила новая хозяйка и скрылась в доме.

Даже когда садилась в «Ниву», Зина не верила, что это происходит на самом деле. Она все надеялась, что вот появится Даша, и все будет по-прежнему.

А «Нива» уже ехала по знакомым улицам.

Зина порывалась закричать и выскочить, убежать куда глаза глядят, но решиться ни на что не могла. И лишь беззвучно плакала.

\* \* \*

Внешне Никольское не сильно изменилось со времен Зининой молодости, разве что больше появилось ветхих домов; некоторые, совсем брошенные, стояли открытые всем ветрам, зияя пустотой выбитых стекол. От коровника и фермы остались лишь железобетонные скелеты. Тут и там из-под выпавшего снега виднелись ржавые останки техники. Запустение и разруха — от былого процветания не осталось и следа.

Зина робко спросила шофера:

— А куда мы едем?

— Куда сказали — туда и едем, мать.

Когда остановились на краю села, напротив маленькой избушки с высокими воротами, Зина словно приросла к сиденью — ей до сих пор не верилось, что приехала к сыну. Сердце прыгало и колотилось. От его ударов в груди тупая боль. Впервые в жизни — так больно.

Когда вышла из машины — не могла сдвинуться с места. С жадностью Зина вдыхала воздух, оттягивая, насколько возможно, встречу.

Двор за воротами большой. Избушка из бруса в два окна, без крыльца. Обитая войлоком и дерматином дверь вела сразу в дом.

Внутри домик казался больше: сразу — просторная комната с печкой — она же и прихожая, и кухня, и зал. В центре — деревянный стол с табуретами, в углу кряхтел холодильник «Бирюса», там же шкаф с посудой, рядом на тумбочке телевизор «Горизонт», справа между окон — диван, накрытый старым покрывалом с оленями. На стене в раме под стеклом картина ручной вышивки крестиком — под толстым слоем пыли видна лодка с влюбленной парочкой. Зину кольнуло в самое сердце.

Слева, возле печи, вход в другую комнату, прикрытый красной занавеской в белый горошек. У входной двери — рукомойник, рядом ведро и фляга.

Печь не топлена, в доме не прибрано и неуютно.

Семен угрюмый, взлохмаченный, лицо серое, глаз из-под нахмуренных бровей не видно, но чувствуется их недобрый блеск. Сразу видно — приезду матери не рад, но деваться ему, да и ей, некуда.

Через несколько минут они остаются вдвоем в щемящей тишине дома.

Зина, боясь взглянуть на сына, суетливо возилась с вещами, как будто что-то искала в котомках. Наконец присела на маленькую скамейку возле печи, скромно поджала под лавочку ноги, разглядывая сложенные на коленях руки.

— Так, стало быть, ко мне насовсем? — разрядил тишину Семен.

— Выходит, что так, — робко ответила Зина, не поднимая глаз.

— Понятно. Жить будешь в этой комнате, спать на диване. У меня не хоромы. — И он скрылся в спальне. Задернул занавеску, оставив еле заметную щель.

\* \* \*

Потянулись однообразные осенние дни в доме сына. Тот снег, который выпал в день приезда, стаял, и зарядили дожди.

Угнетало Зину все — и холод, и грязь на улице, лишний раз из дома не выйдешь, и то, что дом стоял на отшибе, — в случае чего не знаешь, куда и к кому бежать. Дома себя и занять нечем: хозяйства у Семена никакого, даже кошки нет, что для Зины было совсем непонятно. Как же без кошки и собаки на земле жить?

Зина всегда была заядлой читательницей. Трезвая проглатывала книжку за книжкой. Ей нравилось переживать вместе с героями придуманную жизнь. Когда читала — мечтала... Книги были отдушиной. Благодаря им Зина в часы отрезвления не думала о прошлом, настоящем и тем более о будущем. Читая, придумывала себе новую жизнь, совершенно далекую от реальности. После душещипательной сцены Зина вздыхала и, шмыгая носом, долго протирала стекла очков. Любила, когда в конце у героев все хорошо складывалось, закрывая последнюю страницу, улыбалась и шла курить.

В доме у Семена не было даже газеты с программой, не говоря о книгах. Одно развлечение — телевизор. Предоставленная самой себе, не имеющая под рукой ничего, что могло бы скрасить унылый быт, Зина маялась и не знала, куда себя деть. Всю нехитрую работу по дому она переделывала до обеда, а потом безмолвный скучный вечер наедине с человеком, которого она не знала и боялась.

Первое время тяжело и неловко было им находиться вдвоем. Благо две комнаты и можно разойтись. Спасало и то, что Семен пропадал с утра до вечера на каких-то, как он говорил матери, шашках — постоянной работы в Никольском не было. Платили Семену гроши, и то через раз, поэтому к переезду матери, хоть и скрепя сердце, он отнесся спокойно, уже заранее рассчитывая на Зинину пенсию.

То, чего так боялась Зина, не произошло. И все равно каждый раз она со страхом ждала: вот, вот он наконец скажет или сделает что-то... Но Семен молчал и был ко всему происходящему в доме как будто безучастен. Зине казалось — сын не замечал ее. Она старалась не дышать, словно боялась обратить на себя внимание. В иные дни мать и сын не говорили друг другу и слова.

Порою в тишине дома, где слышны только шорохи, скрип дверей да лязг посуды, Зине мерещилась угроза. Исходила она из того угла, откуда на нее был устремлен тяжелый взгляд. И всегда в спину. Поворачиваться к нему лицом Зина боялась. Один-единственный раз они встретились глазами — и Зину придавило.

Знакомый взгляд из далекого прошлого и сейчас наводил на Зину панический ужас.

Были минуты, когда она готова была закричать: «Что молчишь и смотришь? Бей, режь! Только не молчи!» Но каждый раз, стоило только повернуться в его сторону, она останавливалась, не осмелившись и рта открыть.

Ожидание и неизвестность выматывали. Зина страдала. Внутренним чутьем понимала — не все так просто, и сын себя покажет. Только вот когда и как? Уж чем так мучиться — лучше бы скорее! Но в хорошие и светлые дни, когда оставалась одна и хлопотала по дому, надеялась и верила: а может, все обойдется?

Новую жизнь Зина проживала стойко. По складу характера оптимист, она и в доме Семена мечтала о лучшем. Странно, когда ехала к сыну,

готовилась к смерти, а сейчас возжелала жизни: «До весны проживу, а там видно будет».

Зина испытала огромное счастье, обнаружив в одной из захламленных стоек коробку со старыми книгами. Она притащила находку в дом и тряпкой обтерла каждую книжку. Прочликала. И тут же принялась за чтение, присев на скамеечке у печи.

— О, старая, ты прямо как библиотекарь — в очках и с книжкой! — посмеивался каждый раз Семен, заставляя мать за чтением. — Или нет — профессор! Профессор кислых щей! Эй, профессор, а не будете ли вы любезны дать чего-нить пожрать?

Зина откладывала книжку и с папиросой в зубах шла к кастрюлям.

— То-то же, книголюб-любитель, — закуривал Семен, наблюдая за матерью.

Через неделю после приезда Зины в дверь постучали.

«Кого черт принес?» — нахмурилась Зина. В доме она одна. К Семену никто не ходил, Зина тем более никого не ждала. Она отворила дверь.

Спустя столько лет Зина сразу узнала гостью: с порога на нее смотрели колючие глазки Галины.

— Ну, здравствуй, родственница. Пустишь или как?

— Заходи, коли пришла.

Обе замерли на пороге.

Галину, как, впрочем, и Зину, время не пощадило. Но в отличие от Зины, державшей голову прямо, а грудь вперед, Галина свернулась, стала меньше ростом, не поднимала и головы, как будто боялась чего. Вездесущий нос стал длиннее, а пронырливые глазки бегали еще быстрее. Только бегали они сейчас не в поиске предметов наблюдения, а наоборот, убегали от людей. Прятались.

«Постарела шельма. Совсем старуха», — отметила Зина.

«Да, вот что с людьми водка делает...» — сделала выводы Галина.

Первой опомнилась гостя — быстрым движением сняла платок, расстегнула тужурку. Прошла в комнату.

По приезде в Никольское Зина не горела желанием видеть кого-либо, кто знал ее прежнюю. Она прогуливалась по селу в первые дни, узнавала и не узнавала старые места. Долго не могла сообразить, где дом Киселихи. Оказалось, у дома новые ворота, крыша, облицовка и полностью вырублен палисадник. Обновленный, открытый каждому взгляду, бывший дом Киселихи смотрел на прохожих сверкающими на солнце окнами.

На месте сгоревшего дома Федора — новая усадьба, с вытянувшимися в палисаднике сиренью и рябиной. Здание клуба завешано агитплакатами голосования и рекламой.

Зина подолгу стояла у знакомых ворот и домов, прищуриваясь, высоко вскидывала голову. Большею частью дома остались прежними. Мно-

гие пришли в упадок, а некоторые и совсем стояли брошенные, с заколоченными окнами.

Никого из прошлой жизни Зина так и не встретила. То ли умерли, то ли разъехались, а может, еще увижу, думала Зина. Узнаю ли? И вот увидела. Узнала.

— Ну, как вы тут устроились... с сыном? — поинтересовалась Галина, особо выделяя — сын.

Она с любопытством осматривала комнату. Зина успела навести порядок, повесила свежие занавески. Галина удовлетворенно хмыкнула.

— Как тебе с Семеном живется? — вкрадчиво спросила она. — Характер у него не сахар...

— Живется да и живет. — Зина уставилась в окно.

Видя, что разговор не вяжется, Галина перешла на другое:

— Он раньше в Гришкином доме жил, на Южной. Так продал. Неизвестно зачем. Наверно, за долги. Вот теперь здесь. В этом сарае.

Зина отошла от окна, села на скамеечку у печи, закурила.

— А Лешенька у меня начальником работает в самой Москве. Ты ведь, наверное, слышала про Лешеньку? Позднее счастье наше... Вот выучили, теперь не нарадуюсь. Жена у него хорошая женщина да двое ребятшек — все зовут меня к себе. Я ведь одна осталась, Миша-то мой два года как уж в сырой земле. Сердце...

— Если зовут, что не едешь? — ради приличия спросила Зина.

— А что я? Мне и здесь хорошо — здесь все родное. Чего я в этом городе забыла? Да и боюсь я эту Москву. Ни разу там не была.

— Да, в городе не каждый сможет. В Москве и подавно. Я вот, когда в Красноярск с глазами ездила, чуть под машину не попала. Несутся, сами не знают куда. Наверное, на тот свет. Того гляди сшибут. В нашем городишке спокойнее. А у вас тут и совсем сонное царство.

— Да уж... царство.

Явилась Галина, сгорая от любопытства, — очень хотелось посмотреть, что стало с бедовой родственницей. Как, интересно, им живется вместе — мамаше и сынку? Но вот пришла, и все куда-то делось. Все поняла Галина и про Зину, и про жизнь ее, и про Семена. На пороге поняла. Не ожидала, что когда-нибудь пожалеет, — и вот пожалела. Оставила за порогом и ехидство, и «наставительную лекцию», какую хотела прочесть, и хвастовство. Не стала добивать... Тем более наглое вранье — удавшаяся жизнь ее самой, Галины.

Сама ходит как недобитая. С мужем жили как собаки — все она лаяла. Сын единственный, Лешенька, два года как в колонии сидит за воровство в особо крупных и по сговору. Но не виноват он, Лешенька! Не мог он сам — это люди недобрые в проклятом Красноярске подбили. Заставили! Жена-стерва, дети неблагодарные — отказались. А что, он для себя, что ли? — ведь все для них! Она с отцом и денег никаких не видела. Сама бы за него пошла и села! Вот теперь врет всем, что тот в Москве на высокой должности. Москва далеко — кто ж проверит. Муж, как узнал

про суд, — так сразу за сердце. Как жива осталась, сама не знала. Теперь вот живет ради Лешеньки — ждет. Кому он после девяти лет колонии нужен будет? Дожить бы...

Галина выдохнула. Голову не держала шея. Не держала Галина и слез.

Они сидели друг против друга и мирно беседовали, как старые хорошие знакомые.

— Зин, ты прости уж меня.

— Ладно, чего уж. Сама я была не подарок. И ты прости. — Как ни странно, глаза у Зины тоже были на мокром месте.

— Простила, Зиночка, простила. Всем простила. Я вот чего к тебе забежала — ты шьешь еще?

— Шью, конечно. Глаз-то один совсем не видит, но шить могу.

— Ну и хорошо. Я тебе клиентов подыщу. Да и мне шторы переделывать надо. Народ тут, сама понимаешь, в основном сейчас безденежный, но за работу, чем смогут, оплатят. А тебе молоко, яйца, сало — не лишние будут.

— Не лишние, пусть несут.

— Ну, до свидания. — И на пороге, обернувшись, Галина добавила тихо: — Ты с Семеном поосторожней будь, а если что — я живу там же, за магазином. Приходи, не стесняйся.

Зина долго смотрела в окно. Смотрела, пока Галина совсем не скрылась из вида.

\* \* \*

На дворе декабрь.

С мутного неба днем и ночью падает снег. Все тонет в белой мгле. Снег вырос до самых крыш, затрудняя передвижение. Техника и лошади с санями — все на равных перед сюрпризами зимы.

В один из дней снег прекратился. Небо прояснилось, и усилился мороз.

Санки с пустой флягой катятся легко. Зина направляется к колонке.

На обратном пути санки идут медленнее, на пригорках тормозят, и Зина останавливается, чтобы отдышаться. Идет дальше и замечает, что за ней увязалась, виляя хвостиком, черная собачонка.

Зина заприметила ее вчера у магазина. Собака металась по улице, подбегая к случайным прохожим, словно кого-то искала. Опытным глазом Зина определила — старая сучка, и явно брошена. Галина подтвердила, сказала, что это Чернушка Федоткиных — тех, что уехали в город, продав дом, а собаку выгнали со двора новые хозяева. «Если не прибьется ни к кому, к себе возьму, — вздохнула Галина, — будет с моей Авроркой тявкать».

Голодная, продрогшая Чернушка и не ожидала, что под закат жизни окажется на улице. Она устала ждать, искать хозяев, но те как в воду канули. А в родном дворе лает незнакомый злой барбос и живут чужие

люди. Совсем отчаявшись, она подбежала к Зине, поджимая окоченевшие задние лапы.

— Пошли уж. Что жмешься? — Зина решает приютить собаку.

И вот они теперь уже вдвоем шагают к дому.

Золотой рожок месяца освещает путь маленькой женщине с огромной флягой на санях и бегущей рядом полной надежд собаке.

— Давай, шкидра, наяривай. — Зина ставит перед Чернушкой миску со щами и размоченным хлебом, и та с жадностью набрасывается на еду. — Да не торопись ты, а то подавишься.

Наевшись, Чернушка смотрит новой хозяйке в глаза.

— Одни мы с тобой на свете, Чернуха. Две старухи, и деваться нам некуда, — говорит благодарной слушательнице Зина, закуривая папиросу.

Чернушка сидит напротив, выставив вперед белую грудку, и с пониманием слушает, смотрит на Зину черными глазами-смородинками.

Хруст снега во дворе, скрип двери, в дом входит Семен.

«Трезвый, слава богу», — отмечает Зина.

— Э, старая, ты что, совсем ошалела — кобеля в дом пустила?

— В доме она жить не будет, успокойся. Устрою ее во дворе, — бросается на защиту собаки Зина.

— Если в ограде — черт с ней, пусть живет. Только под ногами чтоб не крутилась. Жрать есть чего?

С матерью Семен решил не связываться: что-то сердитая она стала последнее время. Осмелела, что ли? Сбежит еще со своей пенсией, как раз перед Новым годом.

Умывшись, он молча садится за стол.

Зина разогревает ужин и внутренне улыбается, довольная своей первой победой.

Так и жили они под одной крышей — с опаской и недоверием друг к другу. Терпели и как будто выжидали чего.

\* \* \*

Январь. Стояли крещенские морозы. Никольское сковало. Днем не видно даже птиц; на улице ни души — все попрятались в теплых избах. Морозный туман заставлял цепенеть округу, и на селе наступило затишье.

И вот как-то вечером, в канун Крещения, Семен вернулся домой на веселе. С собой — бутыль с мутной самогонкой, взятой уже в долг.

По тяжелым шагам сына Зина догадалась — пьян и не в духе.

Семен с силой поставил бутыль на стол, отчего та чуть не разбилась.

Со страхом наблюдая за сыном, на бутыль Зина смотрела с надеждой.

— Ну что, мать, как жить дальше будем, а? — начал Семен медленно, подбирая слова. Манера не спеша, будто готовясь к чему, даже

торжественно, но при этом тихо и вкрадчиво говорить заставляла сильнее биться сердце той, которая приходилась ему матерью.

— Пенсия твоя давно кончилась, нету ничего. Что скажешь? — Семен опрокинул полстакана мути в себя. Самогон с шумом скатился по горлу и упал в желудок.

Зина молчала.

— Что, оглохла, старая?! Деньги, говорю, где? Денег уже нетути, — развел в стороны руки Семен.

— Где ж я их возьму? Рожу, что ли? Все тебе отдала, — огрызнулась Зина, искоса поглядывая на опустевший стакан. В другие времена она за такие допросы любого отбрила бы, да времена теперь не те, и перед ней сейчас он — судья и палач.

— Заткнись! — рубанул Семен, ударив по столу кулаком. — Ты родишь, как же, рожальщица! Ты вон одного уже родила. Кукушка. А то, что деньги отдала, — так посмела бы не отдать. Я тебе не Дашка — со мной такие фокусы не прокатят. — Потряс в воздухе указательным пальцем. — У меня, сама знаешь, разговор короткий. — И он выставил в сторону матери кулак, заставляя тем самым ее съежиться. — Шила бы — все копейка, вон твой инструмент пылится, — кивнул на стоявшую у окна швейную машинку.

— Так я шила бы, да заказов никаких нет, и не вижу уж ничего. Много нашьешь с одним глазом, — оправдывалась Зина, закуривая папиросу дрожащими руками.

— «Нашьешь...» Знаю я, что ты, окромя стакана, ничего не видишь, тот хоть в темноте найдешь, по запаху. Да? Зинка-Зингер!

Зина вздрогнула, и показалось ей — тень мелькнула в комнате. «Ах вот ты о чем...»

Он опрокинул в себя еще полстакана.

— У тебя вечно отговорки, сидишь у меня на шее, на всем готовом, прихлебательница, — продолжал Семен, занюхивая самогон куском черного хлеба.

Внутри Зины клокотало. Это она — прихлебательница? Живет, жрет, пьет на ее пенсию — мерин безрукий. А насчет шитья, рада бы пошить — да некому и нечего. Было два заказа (спасибо Галине) — сшила халатик да шторы, и то за самогон, так ведь понюхать не успела — ирод проклятый все отобрал. Молча пыхтя папиросой, сидя возле печи, в открытую дверцу которой уходил дым, Зина все молчала и терпела, с завистью поглядывая на бутылку.

— Ладно, старая, давай дерябнем. На стол хоть чего-нить собери, — предложил Семен. Трезвая мать несловоохотливая и сердитая, другое дело, когда выпьет.

С быстротой стартующей ракеты Зина махом выставила картошку в мундире, квашеную капусту и, притормозив, с достоинством, не спеша взяла стакан и присела за стол.

— Наливай, не откажусь, — услышал Семен знакомое с детства.

Слегка поморщившись при виде закуски, Семен налил почти полный стакан матери, себе, и, не чокаясь, они выпили.

Он, как всегда, залпом, не закусывая. Потом наблюдал за матерью, как она, оттопырив мизинец, не спеша, выпила до дна, крикнув от удовольствия.

Зина подняла руку с пустым стаканом и тяжело поставила его на стол, утерев губы ладонью. Порция для нее за раз тройная. Внутри ожгло, из глубины рыкнуло, и Зина обмякла. Занюхивая хлебом, прислушивалась к любимым ощущениям после первой. В глазах вспыхнул озорной огонек. Через стол она смотрела на наблюдавшего за ней сына, и море в эту минуту стало по колено...

— Ну что, мать, по второй? — промычал Семен.

— Наливай, не откажусь.

— Ты-то, конечно, не откажешься.

В тишине комнаты зажурчал ручеек, наполняющий стаканы.

Опершись щекой о кулак, Зина с замиранием смотрела и прислушивалась к журчанию, жадно вдыхая ни с чем не сравнимый запах самогона.

Второй раз Семен налил матери меньше.

После второй, уже пьяная, она с жадностью набросилась на закуску: жевала долго редкими зубами и от нетерпения глотала.

— У... чайка, все бы глотала. Смотри не подавись, — процедил злобно Семен.

— А ты что, куска матери пожалел? Лучше бы еще налил. Чего держишь?

— Обойдешься, мамаша. Вот тебе! — Семен показал Зине кукиш и, налив себе одному, демонстративно, проливая мимо рта, выпил.

— Смотри не подавись, — пробурчала Зина, закуривая папиросу.

— А ну заткнись, ведьма! Не напилась еще?! — заорал Семен, еле вставая и тяжело дыша.

— Не фыркай фургоном! — рявкнула Зина, ударив по столу рукой, и тут же замерла, успев осознать, что совершила непоправимое.

Кулак сына опрокинул на пол.

Сквозь разбитые стекла очков Зина с ужасом смотрела на возвышающуюся над ней фигуру человека, которого она никогда не знала и всю жизнь боялась.

— Ах ты, тварь. Ты и на отца так же орала. — Он хотел еще говорить, но не мог: в горле онемело и в голове опять преследующий всю жизнь шум.

Вдруг комната поплыла, все завертелось. Запах водки и табака ударил в нос, как в детстве. Разговоры и смех. Он сидит у кого-то на коленях, и его гладят по голове, затем чья-то сильная рука хватается за шиворот. Семен, не чувствуя ног, бежит по воздуху и падает в снег. Снег обжигает, как и жар из печи. Мать и Пряник храпят на постели. Расплавленная магма стекает с совка на пол, превращаясь в раскаленные угли.

Страшно от содеянного. Дверь он так и не подпер — испугался и убежал.

Голову раздирает боль. Семен идет по отцовскому дому, а ему на встречу попадают пьяные рыла гостей. Всем нужна Зинка-Зингер. Слышен ее смех, и вот она сама хохочет прямо в лицо, задирая голые ноги.

— Ах ты, сука! — Тяжелыми унтами он топчет, стараясь сломать, мелькающие всю жизнь перед глазами ноги. Ляжки Зинки-Зингер! Запыхавшись, бьется головой о стену, чтобы выбить мучительную боль. Так просто от нее не избавиться. Боль сидит внутри. Истошно крича, он машет руками, отмахиваясь от невидимых врагов. Мечется по избе, все сметая и круша. Запнувшись об окровавленное тело матери, хватается его и как ненужную вещь, как источник своих страданий вышвыривает на мороз. Захлопнув дверь, падает и бьется в истерике. Затем утихает, теряя сознание.

Недокуренная матерью папироса, закатившись под стол, тлеет. Пол вокруг начинает чернеть.

Придя в себя, Зина попыталась встать. Перебитые ноги не слушались, заплывшие кровью глаза еле различали предметы. Она ползла по обжигающему снегу в сторону ворот — там люди. Руки немели от жуткого холода. Обессилев, Зина прижималась к земле, чувствуя ее ледяное дыхание. Одна только мысль двигала с места: «Жить! Даже такой собачьей жизнью — все равно жить!» И тут же звенело колоколами: «Помру у сына. Помру».

Зарево пожара осветило ночное небо.

— Где-то горит, — прошептала Галина, смотря в окно. Алый свет шел со стороны Семена. — Неужели они?! Зина!

В воздухе пахло гарью. Так и есть, горело в стороне Семена. Со слезящимися глазами и задыхающимся сердцем Галина спешила на пожар.

Дом Семена полыхал. Трещал огненным скелетом на морозе. Огонь гудел, дожирая последние бревна.

Народ, собравшийся вокруг, замер, наблюдая за осыпающимися искрами.

Запыхавшаяся от быстрой ходьбы Галина остановилась на дороге.

«Только бы живы, только бы живы...» — шептала она, всматриваясь в черную толпу людей.

Вот от толпы отделилась фигура и побежала в сторону Галины.

Когда мужик приблизился, она крикнула:

— Что случилось? Почему горит?

— Да черт его знает! Семен, походу, сгорел!

Галина схватила мужика за руку:

— Как сгорел?

— Не знаю! Нету его нигде!

— А Зина?

— Да увезли ее! У ворот нашли! — махнул рукой мужик и побежал дальше.

Галина не могла дышать. Завидев скамейку у чьих-то ворот, присела. Она держалась за сердце, а мимо впотьмах пробежали люди, где-то за домами завывала сирена. Так уже было. Много лет назад она так же спешила на пожар вместе со всеми. Переведя дыхание, Галина поднялась со скамейки. Откуда-то из темноты к ней выбежала вся седая от инея Чернушка.

— Бедная... бедная... — шептала Галина, и прошлое вставало перед глазами. Все так ясно, словно было вчера.

\* \* \*

Зина наконец согрелась.

Она лежала, ощущая мягкость и благодатное тепло. Спать бы и не просыпаться.

Но что такое? Горячий лучик упал на лицо. Зина приоткрыла глаза и тут же зажмурилась:

— Семка, проказник!

Семен засмеялся и вновь пустил солнечный зайчик. Зина прикрылась рукой.

— Семка, посвети лучше отцу.

Поблескивая зеркальцем, Семен отбежал.

Зина привстала и вдохнула полной грудью. Хорошо. Необъятное поле разлилось перед глазами, трава невысокая, и все видно до самого горизонта. Зина всегда мечтала о таком поле. Чтобы бежать, бежать.

Она всматривалась в даль: Федор и Семен уходили, взявшись за руки.

— Куда же вы? А я?! — крикнула Зина.

Никто не обернулся.

Какие... Идут и не слышат. Неужели забыли? Зина опять позвала.

Они удалялись, а главная черта — желто-голубая, где сливалось поле и небо, — совсем близко. Зина в волнении поднялась и махнула рукой. Эй!

Федор что-то интересное рассказывал сыну. Зина только сейчас заметила — он не хромал. Шел быстро, и Семен вприпрыжку за отцом.

Необъяснимый страх подступил. Неужели ее оставят? Они переступят голубую линию, и все. Откуда она это знает? Зина огляделась по сторонам — обманчиво прекрасная тишина.

Она бежала.

По желанному, бескрайнему полю, как и мечтала всю жизнь, только не убегала, а догоняла, не выпускала из вида. Главное — не потерять. Она кричала, но голос тонул.

И вот, когда сил не осталось, у самой последней черты...

Они оглянулись.

Вера КУЗЬМИНА

## УРАЛЬСКИЙ ХАРОН

### Музыка

Как давно это было — звучало соломенно, палево,  
Тополёво, лилово, орешно — дрожа и звеня —  
Деревянная музыка стен, половиц и завалинок  
Сторониться железа с рожденья учила меня.  
Эх, железо — решетки, замочки да двери с запорами,  
Так и было, и будет, хоть минут года и века...  
Засыпала под бабкину песню про черного ворона  
И под страшную дядькину: Север, указ и срока.  
Голосила про птиц, что «все выше, и выше, и выше», и  
Про смешного жука — встаньте, дети, для Золушки в круг.  
Громко ахала Дора-училка: «Фальшивей не слышала!  
А ведь все понимает, как надо... Веруша, генуг!»  
Начинала сама — на рояле старинном, покоцанном:  
«Просто слушай, не пой, не насвистывай... чистый Гаврош!»  
Это было — не здесь...  
...Я шептала трехлетнему Моцарту,  
Что полезем на звонницу — только чуток подрастешь.  
Потому что для всех — настоящее, злое и теплое,  
Потому что его так легко — железякой в висок...  
Савояр и сурок по Назёмке, насупившись, топали,  
А Бетховен нахмуривал бровь, как соседский Васек,  
Дядька с кухни блажил: «Где чекушка, вы, суки позорные?!» —  
А потом запевал, как всегда, про войну и тюрьму.  
Грамофоны въюнкков и литавры цветущих подсолнухов  
Про судьбу Риголетто не в такт подпевали ему.  
Только — все-таки в такт.  
Ведь большое не удержишь запорами,  
Перельются поверх Амадей, Риголетто, срока...  
Вы сыграйте мне, клезмеры, в память о музыке Дориной,  
По-бетховенски — вашу... про горькую смерть ямщика...

## Уральский Харон

Развалюха — дядькин домик на горе. Не Итака — глина, бревнышки, мостки. Дядьки-Колин Цербер лаял во дворе, дожидаясь хозяина с реки. Вспоминаются копейки на кону: не выигрывала в чику ни шиша, да как дядька за реку возил жену — через Каменку в лесок у Мартюша: «Ты не дергайся, сиди, едрена вошь, зачерпнем, тогда нашлепаесси вброд!»

— Ты пошто, Маруся, с пьяницей живешь?

— Он ить, Аннушка, базлает, да не бьет.

Ох, базлал же на Маруську! «Дура, цыть», но давал рублевку — грошик попроси... Мне поэтому не страшно полюбить распоследнего из пьяниц на Руси.

Забазлал — я сдуру спряталась в камыш, потеряла сандалет среди корней.

— Ты пошто от дядьки бегашь, Верка, слышь? Я убивец, да другие-то грешней. Дали десять — ухайдакал... спьяну бряк... отпустили... через восемь — на печи. Был один там вертухайишко-червяк: застрелил десяток — орден получил. На десятчик — видел, в чику не везет, накупи конфет да больше не играй... Эй, Маруська, натрепалась, дышло в рот? Цас поедем, ты подол-то подбирай.

Я балдела: дал десятчик, повезло. Подследить бы, как заявятся назад... Дядька спугивал некрашеным веслом толстозадых и веснушчатых наяд и тревожил чебачишек, плавунцов, годы, броды, воды, месяцы, века. И оливы были вроде огурцов, вроде Стикса — наша Каменка-река.

А убивец не страшнее палача, а народ накоротке с тюрьмой-сумой... Мне поэтому не страшно по ночам возвращаться переулками домой.

Эх, наколочки да кепочка на лоб, да чекушечку поглаживают рука! А Дедалы не вылазили из роб, а Икары-то лопатили срока. Отсидевший знает: денег не жалея, нынче гладко, а потом пойдет ухаб... И никто не знал про список кораблей, хоть, бывало, воевали из-за баб.

А закат-то был по-гречески пунцов, сыпал красным на проулочки и гать. У Харона — дядьки-Колино лицо. Мне поэтому не страшно помирать.

\* \* \*

В прошедшем нет графы «просрочено»,  
 Навечно — самый мелкий штрих:  
 Меня тащила бабка в очередь,  
 Тогда давали «на двоих».

Пятнадчик, продавщица Кошкина,  
 Липучка рыжая для мух.  
 Сводил с ума — куда картошке-то! —  
 Колбасный аппетитный дух.

Стеной стояли те, кто верили,  
 Кто пил «за Родину, за Ста...»,  
 А рядом — те, кто помнил Берию,  
 Вождям не веря ни черта.

Я помню: Губерманы, Дровицын,  
 Самойленки, Рахимов, Берг...  
 Ведь память тем длинней становится,  
 Чем у людей короче век.

Стояли кралаи и уродины,  
 Старухи, дети, мужики —  
 И все они любили Родину  
 Нипочему и вопреки...

«Куда без очереди, Панина?  
 Смотри, зараза, так пихну!»  
 ... Так любят бабы мужа пьяного  
 И муж — гулящую жену.

«Два двадцать, — бабка мрачно буркала, —  
 По три бы семьдесят... да хрен...»  
 А колбаса сияла шкурками,  
 Качаясь в сетке у колен.

«Приду, да с дедом по стаканчику,  
 Не разругаемся, не ной...»  
 И плыл колбасный дух заманчивый  
 Над всей Вороньжей и страной.

\* \* \*

Ускакала сегодня в четыре утра  
 И ворчу на себя: «Садоводка... рабыня...»  
 Я из сада тацусь, и пожрать бы пора,  
 Но невольню люблюсь цветущей рябиной.  
 Пьяных вроде бы меньше, и небо синей:  
 В мае, кажется, время взаправдашно лечит...  
 Выпускные идут по огромной стране:  
 Вальсы, слезы и розочки, плечи и речи.  
 Эх, гогочут; какие ж еще пацаны!  
 Рядом девочки: бантики, школьная форма...  
 Только б им не сгодиться для новой войны  
 Да еще — для какой-нибудь новой реформы.



Вон Алена: наколка у самой брови,  
Два аборта в шестнадцать и вскрытые вены.  
Если дома большой недостаток любви,  
То в ближайшем подвале найдется замена.  
К ней притиснулся Серый — отнюдь не дурак,  
Правда, к слову сказать, и не умница с книгой.  
Государство стоит, если есть середняк,  
И такой, чтобы слишком мозгами не двигал:  
Будет Серому колледж, завод и развод,  
Новый брак, двое деток — Маринка и Женя,  
Вздохи тещи: «Да ладно, хотя бы не пьет» —  
И, конечно же, в Турции отдых тюлений.  
Вон Олег: аккуратно подбриты виски,  
Из хорошей семьи, не ругается матом.  
От его михалковской холеной тоски  
Две дороги: в кабак да еще в депутаты.  
В стороне — «не такая» до самой кости  
Ритка-дурочка: крестик, браслеты, косичка.  
Тоже пара дорожек: от мира уйти  
Или мир переделать — хотя бы частичку.  
Если время лететь — не повесишь на гвоздь:  
Стой, куда полетела, такая-сякая...  
Май, июнь — это время пустеющих гнезд,  
Выпускные... Подросших птенцов выпускают.  
Сколько форменных платьев, крутых пиджаков  
Будет ночью гулять на угрюмой Исети...  
Почему их так жалко — таких дураков,  
Всех и каждого — может мне кто-то ответить?

## Тропы

А даль еще светла и голуба, стихи растут, как сказано, из сора,  
И ниже старушенция-судьба на нитку жизни встречи-разговоры.  
Мне Радомир, обросший и худой, вещал, что христианство — путь в болото,  
Что надо жить в согласии с землей, еще дружить с волками для чего-то,  
А кто не с нами, тот не просветлен — врачуют Веды и тела, и души,  
И голубел вокруг кудрявый лен — он просто цвел и никого не слушал.  
А прям назавтра батюшка Андрей, мой старый друг, соборовавший бабку,  
Ворчал: «Страшнее алчущих зверей сектанты, протянувшие культяпки  
К тому, кто не решил, идти куда...», березы шелестели над погостом,  
В окно светила ранняя звезда — не Божья, не сектантская, а просто...  
Меня пугал Андрея приговор: «Тогда лишь будет и светло, и чисто,  
Когда столкнем в один большой костер сектантов да еще и атеистов».

Я шла домой и вспомнила... Ну да, примерно с год назад была беседа  
(Всегда располагают поезда, чтоб взять и душу вывернуть соседу),  
Полночи речь толкал Сергей Ильич: «Русь возродится!

Спорт, семья и трезвость!

Патриотизм, казачество, кулич! А кто не с нами, тот стоит над бездной».  
Шел поезд в гору с грацией червя, Русь за окном пахала и стирала,  
Не возрождаясь — попросту живя, поскольку никогда не умирала.

Хотели трое повести толпу за истиной, а вовсе не за славой,  
И каждый пробивал свою тропу, и каждый был по-своему неправым.  
Согласным — да, а несогласным — нет, долой с дороги и под зад коленом...  
Любую крайность разгляди на свет — фашистинка проглянет непременно.  
Раздумаешься — столько, блин, тоски, а счастье убегает, как борзая...  
Жнецы, хирурги, вольные стрелки — как вам бы полечить, не отрезая?  
А мне — вплетать в стихи беззлобный мат, и на ходу бурчать

под нос тихонько:

«Я буду жить в провинции, где март», и представлять,

как выглядят тахорги,

Кормить собак, перебирать крупу, сидеть в саду под яблоней корявой —  
Ну, в общем, пробивать свою тропу и в этом быть по-своему неправой...



Денис СОРОКОТЯГИН

## СЕЗОН ПОТЕРЯННЫХ ПЕРЧАТОК

Э т ю д ы

### Только мы

Сретенский бульвар.

Остановила коротким «простите», спросила, какой парфюм на мне сейчас. Ответил, что никакого. Туалетная вода неделю назад закончилась, а новая еще не пришла, жду доставку со дня на день.

— От вас идет такой... — И она развела руками, очертив в морозном воздухе круг.

Через месяц наступит новый год. Пока меня не остановили и не спросили, я шел и думал, что вот еще один год почти позади. Отматывая назад, понимаю, что он был переломный, переходный и много других таких «пере».

— С кем вы будете встречать Новый год? — спросил ее. Получилось как-то нагло, слова из-за мороза вырывались небрежно и колко, но она нисколько не смутилась.

— Со своим молодым человеком, — ответила с искренней гордостью.

Мне не хочется заострять внимание на ее внешности, здесь это не важно. Она не была красива, но и не отталкивала от себя. Ее облик не запоминался с первого раза, голос не врезался в память и не продолжал звучать в голове после.

— Я подумал, что вы спросили меня про парфюм просто потому, что захотели завести разговор.

— Ну да, — говорит она. — Просто хотела узнать, какое название, и подарить этот аромат своему...

Я перебил ее:

— А если он не раскроется на нем так же, как на мне?

Пошутил. Шутник.

— Вы же сказали, что ничем не брызгались. Чему ж тут раскрываться? — подхватила она мою волну. Не растерялась.

— Ведь это ваши слова, что от меня идет...

И вот уже я режу воздух кругами и смеюсь, как дурак.

Тут девушка не выдержала, шагнула ко мне и припала к моему шарфу, выбившемуся из-под пуховика. И я вспомнил, что когда-то так же я и она стояли на конечной остановке в другом городе, в другой жизни. Мы прощались, думали — ненадолго, а оказалось...

Так прислоняются к иконам, я видел не раз, но никогда так не делал. Есть в этом припадании что-то отчаянное и безнадежное. Мы стояли на остановке, мимо нас проходили люди и думали: «Вот это! Да, вот это оно — то чувство, которое не хочется разбирать и разгадывать, оно есть, оно существует. Как это все-таки радостно видеть!» А ведь мы тогда были друг другу уже совсем чужими, но стояли как спаянные, и обманывали всех вокруг, и обманывались сами.

Вот и сейчас, находясь в новом городе и в новой жизни, мы все так же стоим — незнакомка и незнакомец. Вокруг нас Сретенский с его людьми, машинами, курьерами на велосипедах.

— Я чувствую... да... и не надо мне врать. Вы просто не хотите говорить название, вы просто издеваетесь надо мной. — Незнакомка померкла и стала казаться взрослее своих лет. Тридцать? Тридцать два?

Я взял в руки свой шарф, притянул к шмыгающему носу. Да, что-то далекое плещется на самом доньшке, еле различимое, такое зыбкое, что сразу же смешивается с запахом улицы.

— Может, у вас ковид? И нюх пропал? — сказала она, совсем как бабушка: с заботой и участием, которые бывают только у бабушек к своим внучатам.

— Нет, не бойтесь, я ничем не боюсь. И вам не советую.

— Я привита. Мне не страшно.

— Вот как... А мне страшно. Чуть-чуть...

Я сделал паузу, выдохнул и зачем-то многозначительно посмотрел ей в глаза. Слишком многозначительно. А потом сказал:

— Наверное, я кого-то обнял и запах просто перекочевал ко мне. Он такой слабенький, как вы смогли его почувствовать?

— Вы можете меня обнять? — вдруг спросила она.

— Могу. Но все это как-то странно... у вас есть молодой человек, и...

— Обнимите, разве это сложно?!

Я перевел взгляд на неоновую вывеску на фасаде впереди стоящего здания и, продолжая смотреть на нее, притянул незнакомку к себе. Резко, было в этом что-то насильственное, но она не отстранила меня. Я смотрел на вывеску, на бесконечное мерцание и думал о ней — о той, из старого, давно минувшего года. Совсем скоро все будет новым: новый год, новые мы, новые ароматы и объятия на улицах. Тогда, в другой жизни, я не обнял ее, сославшись на то, что не люблю долгих, сентиментальных прощаний. Ведь мы только на время, не на... Сегодня на Сретенском бульваре, через много лет, я обнял другую, обнял так, как мог обнять ту. Тогда.



— Спасибо. И простите меня за беспокойство, — сказала девушка, не смотря мне в глаза. Она тоже сейчас обнимала не меня, а кого-то другого.

— С наступающим. Ровно через месяц, — сказал я ей вслед.

Но она ничего не ответила.

Еще рано, еще целый месяц впереди.

Год скоро закончится и уйдет — так же, по Сретенскому бульвару вниз, — вот только прощения у нас не попросит. Ни за что. Не за что.

Все равно во всем виноваты только мы.

### Колокольчик

Болит центр живота. Что-то пульсирует там, бьет ножкой, просится на волю. Неужели новый текст, замешенный из обрывков фраз, фрагментов лиц, осколков судеб?

До репетиции было два часа, и я решил зайти в храм. На Покровке есть часовня, с двух сторон зажатая особняками, в одном из которых располагается «Театр на Покровке». Часовня находится в колокольне, построенной в семнадцатом веке. Сам же храм взорвали в двадцатых века прошлого.

Мне нужно было купить свечку для предстоящей репетиции «Анны Карениной». К свечке был нужен маленький подсвечник. Он должен уместиться на ладони актрисы, быть невидимым из зрительного зала. Такого подсвечника в наличии не оказалось, и сотрудница часовни, милая женщина средних лет, предложила мне попробовать отрезать кусочек хлеба и вставить в него свечу. Воск будет стекать в хлебный квадратик и не обожжет руку Анны.

В это время в часовню зашел мужчина. Прилично одетый, седой, видно, что на пенсии. Движения его были излишне плавные, словно замороженные. Мы все сейчас немного заморожены. Ноябрь, сыро, непривычно холодно.

С первого взгляда показалось, что прихожанин просто зашел погреться.

Женщина поздоровалась с ним как с давним приятелем и спросила:

— Ну как? Читаете акафист?

— Да, — сипло ответил мужчина, откашлявшись. И продолжил рассматривать низенькую витрину, в которой были иконы, четки, книжки — в основном старые издания, начала двухтысячных.

— А сколько стоит колокольчик? — спросил мужчина.

Женщина достала из витрины колокольчик под гжель, с надписью «Валаам».

«Я там был», — подумал я, читая вот уже пять минут одну и ту же строчку из книжки Юлии Вознесенской, которую взял с прилавка у кассы. Сам следил за мужчиной.



Помещение часовни крохотное, запах, идущий от мужчины, — терпкий парфюм, смешанный с перегаром, — сразу же заполнил пространство. Знакомый с детства запах, до боли знакомый.

Женщина повернула колокольчик, увидела цену.

— Пятьсот рублей. Отдам за триста пятьдесят, — сказала она.

— Хорошо, — отвечает он. — Пенсию получу и куплю. Что-то пенсию не несут все.

И протягивает женщине деньги за две свечи. На толстых пальцах обеих рук печатки из черненого серебра.

Отходит от прилавка, медленно движется к иконам, наклеенным на стенах — фотопечать. Шепчет, крестится. Ставит свечи — одну за здоровье, другую за упокой. Не сходя с места. Возможности для шага нет. Правая рука — за здоровье, левая — за упокой.

— Я вам книжку хотела показать, — говорит ему женщина, после того как он завершил молитву. — Здесь о семье. Как раз о вашей проблеме. Написал священник молодой.

На обложке — детский рисунок цветными карандашами. Мама, папа, девочка, мальчик, собачка, домик, солнышко, листики.

Он берет книжку в руки, подносит близко к лицу, долго смотрит на обложку.

— Вы видите, какая здесь красивая семья. — И отдает книжку обратно. Переводит взгляд на чан со святой водой, спрашивает, есть ли в храме бутылка, чтобы набрать.

— Вы можете где-нибудь взять бутылку, прийти и набрать. Я сегодня до восьми. Вы рядом ведь где-то живете?

— Через дорогу.

— Ну вот.

— Я тогда зайду.

Выпивает стаканчик святой воды, надевает маску, до этого был без нее. Уходя, бросает несколько монет в ящик, те с гулким звоном падают на дно.

— До свидания. — И выходит из часовни.

— А что у него за проблема? — спрашиваю женщину.

— Жена пьет, ребенок маленький. И сам, наверное, тоже употребляет. Но не уверена.

— Понятно. Давайте я куплю колокольчик, а вы ему его отдадите, хорошо? Он ведь вернется за водой.

— Он в прошлый раз месяца полтора назад был. Может и не...

И, не договорив, быстро выходит из-за прилавка, выбегает на улицу, смотрит по сторонам. Я вижу ее через стеклянную дверь.

— Нет, успел уйти.

Безнал не работает: проблемы со связью. Отдаю наличкой — за свечи, за колокольчик.

— Если он не придет... Я эти деньги запишу вам как за сорокоуст. Вас как зовут?

— Денис.

— Дионисий, значит. И напишите записочки — за здоровье и за упокой.

Написал. В правой руке — за здоровье, в левой — за упокой. По три имени на каждой.

— Вы всех запишите, все строчки заполните.

— У меня столько и нет, — говорю ей. — За упокой точно не наберу.

— Ну и слава Богу.

Если обещал вернуться — вернись. Никогда ведь не узнаешь, что ждет тебя там, в точке возврата, пока не придешь туда.

Если замерз — поспеши согреться.

### Сезон потерянных перчаток

Искал на «Римской», потом на «Марксистской», но так и не нашел. Перчатки — не дети. Для них нет специального места в центре зала: «Если потерялся, стой здесь, жди, когда за тобой придут».

— Не подскажите, какая станция? — спрашиваю человека в маске.

Человек отвечает мне на ходу, не глядя. Из-за маски и гула поездов я не смог разобрать, что он мне сказал.

Отвлекся на сообщение в телефоне. Написала Лена и спросила, помню ли я слова песни, которую она когда-то пела.

— Ты про какую песню? Про эту?

— Нет, эту я помню, я про ту.

— Я ту не помню, помню только эту.

Голосовые тонут в подземном гуле. Я переслушиваю их, потому как Лена спросила:

— Голос потерянный. Ты в норме?

— Да, — отвечаю. — Но потерял перчатку и не могу ее найти.

— Сочувствую. В карманах смотрел?

— Нет.

— Может, там?

— Может.

— А ты сам где? Мне показалось, что я видела тебя на «Таганской», но из-за маски не разобрала, ты ли это.

— А, так я на «Таганской»! Спасибо тебе. Я вспомнил слова песни, о которой ты говорила.

— Я тоже. Вопрос отпал.

Голос справа:

— Молодой человек, вы обронили перчатку?

— Спасибо.

— Хорошего дня.

Мне показалось, что это была ты. Забери меня отсюда, слышишь?

Елена СЕВРЮГИНА

**ВДОЛЬ СОЛНЦА**

\* \* \*

ничего не исправишь —  
онемела рука...  
пианино без клавиш  
превращается в шкаф —  
не стучат молоточки  
строй не держат колки  
и доходишь до точки  
обнищанья строки

духи музыки ныне  
не с тобой говорят  
в заводной сердцевине  
не гудит звукоряд —  
так попавшее в невод  
виртуальной тайги  
мимикрирует небо  
до вороньей лузги

вместо памяти — лета  
вместо слов — сухостой  
обращается флейта  
деревяшкой простой  
и вздыхаешь печально  
у казенной стены  
пригвожденным к молчанью  
инструментом больным

\* \* \*

снова вдоль солнца бредут моряки  
бред мой бессмертный зеница оки  
серверный сон до рассвета  
я не смогу да и как не сказать  
пепельный лед застывает глаза  
звуки слезятся от ветра

сколько бесчисленных пульсаций судьбы  
от вожделения до ворожбы  
день обезличен и матов  
что обрету за чертой тишины  
сизый сквозняк на задворках весны  
май поперхнувшийся мартом

горы ли годы ли горя ли нет  
кто-то заоблачный выключил свет  
и полоса многоточий  
встала на путь параллельной кривой  
город неузнанный город живой  
нынче стоит обесточен

вновь ожидать ничего впереди  
мне ли не знать этой боли в груди  
сталелетейского плача  
нежного гнева щетинится еж  
как же ты все-таки не устаешь  
всюду себя обозначить

и не сбежать от земного пути  
и бесконечно вдоль солнца брести  
твердого темного солнца  
питер палермо мадрид магадан  
где за спокойствие душу продам  
ночью вдоль окон гуляет беда  
все что теперь остается

\* \* \*

а потом не вспомнится ничего  
ни огня ни темени ни лица  
словно год украли под рождество  
или сын забыл своего отца

словно голос был или город встал  
на защиту тайных своих глубин  
потому молчи принимай верстай  
и гадай to be или not to be  
отрекись оглохни для всех иных  
слишком явных в небе твоих пустот  
и познай младенческой седины  
преснотелый взмах невесомый ток  
выдыхай вдыхай  
выплывай наверх  
и пройдет вина и придет война  
где в забвеньи зыбком зияет свет  
тот что крепче памяти  
глубже сна

\* \* \*

*Алексею Черникову*

милолетный ангел лей елей  
отпуская воздух из щелей  
мир взрывая флейтой родниковой  
питерской серебряновековой  
затопи земли крошечный зной  
черноречной правдой ледяной

на крыле литейного моста  
незнакомый взгляд из-под зонта  
прелести его не убивай но  
с гумилевским призывом трамвайным  
город твой — архангельский приют  
что тебе архангелы поют?

что темнеют храмов купола  
что родная улица мала  
как ни надевай а все не к месту  
спят провинциальные невесты  
стих бежит по миру босиком  
сигаретным кутаясь дымком

свет его печален — почему?  
что там прозревается сквозь тьму?  
кто шагает в венчике ли в шапке  
словомир укачивая шаткий

золотой с серебряным в одно  
тонкое сошьются полотно

мимолетный ангел лей елей...

\* \* \*

засыпают низы а потом забывают верхи  
из глухого огня вырастает треножник ольхи  
распадается круг возникает забвенная зона  
тьнь ложится на грудь горизонта  
воспаленно дыша заболевшей удушьем весной  
вырастаем из тел кочевых из обугленных снов  
из ветрами потресканной кожи  
на себя непохожи  
на иных непохожи но кажется чем-то жива  
корневая основа сверставшая годы в слова  
опустившая веки веков в золотые порталы  
ворожкой краснотала  
полынной латынью сильны  
голоса прирастают смешеньем вины и войны  
серебрится сократовым смехом  
безымянное эхо  
в этой точке любой из ушедших  
как прежде живой  
и земная трава навсегда остается травой  
поименно всплывают секунды события лица  
тишина замирая в языческом небе троится  
как десятки столетий назад  
бесконечное время назад  
как тогда  
и уходит вода  
но приходит другая вода  
навсегда



**Алексей НИКОЛАЕВ**

## **ЧАРЛИ**

Р а с с к а з

Сколько себя помнил, Семен жил на реке Ёлтыреве. Когда-то у него была большая семья, род, который по меньшей мере две сотни лет жил в Колпашевской тайге и исповедовал Христа по старому обряду. Отец — Поликарп Матвеевич — умер от старости, спокойно, с молитвой на устах, в своем доме еще в начале шестидесятых. Мать — Елизавета Петровна — пережила мужа почти на двадцать лет и скончалась ранней теплой осенью, вскоре после того, как по стране отзвучали Олимпийские игры восьмидесятого года. Два брата — Иван Поликарпович и Егор Поликарпович — после смерти матери уехали вначале в Колпашево, а затем перебрались в Томск. Они, может быть, и остались бы, но однажды, в восемьдесят первом году, их всех на вертолете доставили в райцентр, где уполномоченный долго беседовал с ними. Убеждал выйти в жизнь. Грозил статьей за тунеядство и отсутствие прописки. Иван и Егор сдались, уехали. Как они устроились, Семен не знал. Они не виделись с того самого времени.

А Семен не уехал. Он не мог представить себя где-то за пределами Ёлтыревы, вне тайги, где меж болот на возвышенностях стоят первобытные кедровые боры, а по берегам реки растут высокие корабельные сосны. Старые сосны иногда падают, ложась поперек русла. Весной в половодье их смывают потоки мутной талой воды и прибывают к берегу. У поверженных стволов вьют гнезда таежные птицы, с удовольствием селятся бобры и ондатры. Ёлтырева — таежная река, текущая по торфяникам. Вода в ней чистая, но с коричневатым оттенком. Ее русло извивается по тайге причудливыми петлями и образует заводи, старицы и даже небольшие островки.

Семен был невысок, но для своих лет проворен и силен. Глубокие морщины по-хозяйски бороздили его лицо, от рождения не знавшее брит-



вы. На высокий лоб ниспадали пряди густых седоватых волос. Из-под бровей смотрели спокойные, глубокие, темные, как таежная вода, глаза. Иногда в них отражались огоньки некоей лукавинки, выдавая невидимую из-за густых усов и бороды улыбку. В другое время они были наполнены благочестием, граничившим с какой-то скорбью, и смирением. Но, как правило, смотрели по-доброму и лучились любовью ко всему окружающему.

Дом Семена стоял на высоком месте, на правом берегу Ёлтыревы. До ближайшей деревни около ста километров тайги. Это если напрямик. Из единственного окна, которое смотрело на восток, было видно, как встающее из-за еловых макушек солнце начинало свой новый день в его мире. Более тридцати лет он жил один. Дом Семена был добротным, хотя и небольшим. Нижние венцы сделаны из лиственницы — вечное, негниющее дерево. Остальной сруб — из толстых корабельных сосен. Между бревнами аккуратно уложены слои зеленого, красного и белого мха с болот. Рядом с домом стояла баня — небольшой рубленый домик с плоской крышей, — которую Семен топил по-черному. Трубы в бане не было, только сложенная из старого кирпича печь. Кирпичи скреплены светлой глиной. Почти все, что имело какое-то отношение к обиходу, было сделано или переделано руками Семена: кадушка в бане, шайка, кровать в доме, вешалка для простой таежной одежды, огромная русская печь, занимавшая полдома. Икона с ликом Христа, установленная на угловой полочке и покрытая белым полотенцем, не была сделана Семеном, а шла с их родом уже по меньшей мере двести лет. Откуда она появилась у них, Семен не знал.

Будучи чисто плотным, он готовил поздней весной много дров для дома и для бани. Когда в майский солнечный день к лесным звукам пробудившейся жизни, пению птиц добавлялся звонкий стук топора — около дома пряно пахло сосновой смолой, корой, природным скипидаром и влажным свежим деревом.

Семен молился каждый день. Кроме основных, известных с малых лет молитв, он любил разговаривать с Богом и о житейском, делиться своими радостями, спрашивать совета в печали. Голос его был тих и покоен. Любое событие своей жизни он принимал так, как будто давно этого ждал, как будто именно оно и было совершенно справедливым и должно было случиться. Противиться естественному ходу вещей казалось ему если и не кощунством, то недолжным сопротивлением тому тайному завету, который заключили они с Богом, той дружбе и общению, которыми, как казалось, дорожили оба. Помолившись утром по «форме», он переходил к разговору с Богом, который связывал с делами предстоящими. Если Семен собирался идти на несколько дней в тайгу на охоту, то просил Бога послать ему меткий выстрел, чтобы не маять зверя без нужды. Просил дать ему разум на охоте, чтобы не добыть мяса сверх меры, не впасть во грех алчности. Собираясь на рыбалку, Семен просил Бога сотворить так, чтобы рыбы, носящие икру, обошли его сеть стороной, чтобы в ней не

запутались и не погибли бобер или ондатра, чтобы улов случился не очень далеко от дома и все, что будет поймано, сразу можно было обрабатывать: вялить, сушить, коптить, солить. Отправляясь в кедрач, Семен, с детства побаивавшийся высоты, просил у Бога сил для преодоления этого страха, а также ловкости в ногах и руках, чтобы залезть на кедр и посшибать с него урожай шишек, не сломав крупных веток.

Его отношения с Богом сложились с детства. Бог присутствовал в его жизни как личность — конкретная, почти осязаемая, постоянно являющаяся примеры своего рядом с ним нахождения. Семен молился и вечером. Благодарил за прожитый день, за посланную добычу, теплый дом, жаркую чистую баню, запас дров, за весь тот единственный, замечательный и только им двоим принадлежащий мир, который был создан и храним их руками.

Он иногда спрашивал у Бога о том, какое оно, Царствие Небесное, куда он попадет после смерти. Будет ли в нем тихая уютная река с коричневатой от торфяных болот водой, увидит ли он там двухсотлетние кедры? Будет ли там его любимая русская печь, на которую можно завалиться после бани в зимнюю стужу и, забравшись под огромное одеяло, размеренно подумать о дне завтрашнем? Можно ли будет в нем общаться с Январкой и Рябинкой — любимыми собаками? Ему казалось, что Бог отвечал, и отвечал утвердительно, потому после молитвы Семен с особой любовью шел кормить собак, как будто зная, что не за горами время, когда они встретятся вновь уже в другом мире, но очень похожем на этот. Иногда ему даже казалось, что между миром, созданным им вместе с Богом здесь, и Его Царствием особой разницы вовсе нет, а раз так, то стоит ли умирать? Однако, понимая, что смерть неизбежна, Семен не горевал о том. Смерть он видел как добротную деревянную дверь с косяком, с прибитой к ней деревянной кедровой ручкой. Дверь словно бы стояла отдельно от всех строений на полянке недалеко от дома. Он полагал, что в назначенный ему час он лишь откроет эту дверь, шагнет через порог — и вновь окажется в своем же мире, ровно в том же, который покинул только что.

Семен родился в мае тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. У него никогда не было свидетельства о рождении, паспорта, трудовой книжки, военного билета, страхового медицинского полиса. Он не принимал участия в выборах, не платил налоги, ему не полагалась пенсия. Его как бы и не было вовсе. Он и не стремился обозначить себя документами. О том, что он Семен, знали только он сам и те немногие деревенские, с которыми ему, отшельнику, время от времени приходилось общаться. Знал участковый, знал глава поселения.

Иногда Семен выходил в мир. Один-два раза в год на снегоходе выезжал в село, где происходили его нехитрые товарные отношения. Привозил туда мясо лосей, оленей, медведя, зайчатину, медвежий и барсучий жир, болотную птицу, рыбу, кедровые орехи, клюкву, бруснику, грибы, иногда меха. Обрато на прицепленных к снегоходу санях увозил к себе



бензин, порох, спички, пару мешков муки, мешок соли, немного сахара. В случае необходимости — новый автомобильный аккумулятор, крючки, сеть и одежду, если изнашивалась старая. На снегоходе ездил последние лет десять, до этого ходил с несколькими ночевками на лыжах, вольно за собой сани, привязанные длинной веревкой к поясному ремню. По просьбе властей поставил у себя в избе радиопередатчик, который можно было включить от аккумулятора, чтобы сообщить на определенной частоте срочную информацию. Антенну — длинный провод — вывел через крышу и закрепил на огромном кедре высоко над землей. Несколько раз он использовал это устройство, передавая весть о начавшемся в тайге пожаре, который не мог потушить самостоятельно. Раз забрел в окрестности его избы беглый преступник, убийца, скрывавшийся от людей. Изнемогая от голода, кинулся на Семена с пистолетом, но рука дрогнула. Семен связал его, подключил аккумулятор, передал сообщение. Пока летел вертолет, накормил преступника мясным супом, хлебом, козьим сыром, напоил молоком.

Проводив вертолет, в своей вечерней молитве Семен долго советовался с Богом о том, как бы сделать так, чтобы злость людская прошла, чтобы люди все любили друг друга и никто никого не убивал. Бог подсказывал Семену, напоминая историю Каина и Авеля, напоминая собственную историю Сына Своего, присланного Им в этот мир. Семен соглашался, что человек хотел свободы — свободу он и имеет. Свободу выбора между грехом и добром.

Стараясь придерживаться постов, отказывая себе в мясе в нужные периоды, Семен держал несколько коз. Козы давали молоко, а стало быть, сметану, масло и сыр. Они жили в добротной стайке рядом с домом, построенной из толстых сосновых бревен. Под крышей стайки лежал полуметровый слой сухого мха для тепла. Там же обитало и несколько кур.

Семен не был дикарем и вел календарь, имел в доме часы, умел читать, писать и считать. На полке, сделанной из широкой желтой кедровой доски, стояла Библия, изданная в тысяча девятьсот тринадцатом году в Петербурге на печатном дворе Его Императорского Величества, в переплете из тисненой мягкой воловьей кожи. Стояли Псалтырь, жития святых, «Война и мир» Льва Толстого, «История Русской старообрядческой церкви», «Житие протопопа Аввакума». Стоял даже непонятно откуда появившийся томик Жюль Верна «Дети капитана Гранта». На этой же полке примостилась старинная керосиновая лампа, которую Семен зажигал два-три раза в неделю по вечерам специально для того, чтобы читать.

Как-то в мае по тайге пошли пожары. Стояли неожиданно жаркие дни, с ветром и совсем без дождя.

Семен сидел около своего дома. В коптильне вверх хвостами висела рыба. В избе подходило тесто. Семен стряпал хлеб один раз в неделю — три-четыре крупные, пузатые булки в русской печи. Он ел их с мясом дичи, ломтиками вяленой оленины, рыбой, с козьим молоком или травя-

ным напитком. Несколько последних лет взялся даже делать варенье из брусники, для чего привез к себе, кроме прочего, мешок сахара.

Около коптильни в яме стоял металлический таз, накрытый решеткой и вторым таким же тазом. Поверх горел небольшой костер. На решетке внутри лежали скрученные свитки бересты. Из них выкуривался березовый деготь, который стекал в таз. Приближалось комариное время. Деготь — лучшее сибирское средство от комаров и другого гнуса.

Несвойственный для этого времени года и дня звук заставил Семена оставить дела, встать и пойти по направлению к лесу. Звук шел не с реки, а с маленького родового кладбища, где лежали отец и мать, деды и бабки. Аккуратные темные кресты из лиственницы — свидетельство долгого оседлого проживания тут целого рода. Подойдя к опушке, Семен увидел, как ему навстречу вышла глупая молодая лосиха. Она с трудом переставляла ноги. Посмотрев на них, он понял, что они обожжены низовым пожаром. Опытные взрослые звери уходят от пожара в сторону, выводят и потомство. Эта лосиха как-то оказалась одна.

Она была настолько истощена, что позволила Семену обнять ее за шею и подвести к дому. Поняв, что лосиха умирает от жажды, Семен налил ей ведро чистой торфяной воды из реки, потом еще и еще. Лосиха пила и не могла остановиться. Она смотрела на Семена такими беззащитными большими глазами, что у него даже не возникло мысли взяться за ружье. Да и не стрелял он в такое время — мясо некуда девать. Жара. Обработать не успеешь.

Первую испеченную булку Семен отдал лосихе. Он отламывал большие куски еще теплого хлеба и протягивал ей. Она молча, скромно и аккуратно брала их большими мягкими губами и благодарно потряхивала головой. Смешной рыжий хохолок на макушке стоял торчком и придавал лосихе милый вид. Теплые влажные ноздри теперь дышали спокойно и доверчиво. Семен попросил лосиху постоять спокойно, опустился перед ней на колени и, доставая рукой из деревянного долбленого туюска мед, стал обмазывать им обожженную и нежную в этих местах выше копыт лосиную кожу. Он уговаривал лосиху не дергаться и не ударить его копытом с перепугу или от боли, а потерпеть. Лосиха, чувствуя его заботу, стояла смирно, лишь тихо фыркала пухлыми губами и подергивала шкурой, отгоняя начавших появляться слепней.

Так началась их дружба. Вначале Семен не хотел привечать лосиху. Он понимал, что рано или поздно наступит момент, когда ему придется забрать одного из ее подросших детей — молодого большого лося — себе на пропитание. Но, пока лосиха сама была еще ребенком, он ее жалел. Она стала приходить раз за разом. Январка и Рябинка облаивали ее еще на подходе к избе, и по их лаю Семен понимал, что идет именно она. Осенью, по первым морозам выехав в деревню для очередной мены, он привез большую коробку соли-лизунца и стал выкладывать крупные куски на сосновый чурбак, который поставил рядом с кладбищем — местом, откуда она впервые появилась.



К Семену за его жизнь не раз выходили раненые звери. Он старался их выхаживать и отпускать в тайгу. Никогда не убивал подранка: считал это нечестным, неправильным. Охота может быть справедливой только в сезон, когда зверь здоров, полон сил и способен убежать или противостоять. Когда у тебя заканчивается пропитание и ты выходишь в тайгу на правах полноценного хищника, готового побороться с лосем или медведем на равных с ними. Семен чтит правила охоты. Не те, которые придумали люди, а те, которые диктовала сама тайга. Впрочем, правила, придуманные людьми, в целом совпадали с природными, отражали их целесообразность и достаточность, будучи увязаны со сроками нереста рыбы, беременностью животных, появлением и выкормом птенцов.

Он назвал лосиху Чарли. В этом для него самого было два вопроса: почему именно Чарли и почему ему вообще пришло в голову ее как-то назвать. Тем несколькими раненым зверям, которых ему довелось спасти ранее, он не давал имен. В своих вечерних молитвах он спрашивал об этом у Бога, но Бог медлил с ответом, предоставляя ему самому прийти к пониманию. Когда-то Семен слышал, что есть такое имя — Чарли. Кого им звали, он не помнил и даже не знал, было ли оно мужским или женским. Но имя показалось ему звучным, красивым и легко запоминающимся. Он даже думал назвать так следующую собаку, потому что Январке и Рябинке было уже по тринадцать лет и по всем признакам земная их жизнь подходила к концу.

Тем временем Чарли вырастала в крупную лосиху. Ее ноги, обожженные пожаром, зажили, в осанке появилась степенность и важность. Она начинала чувствовать себе цену. Взрослый лось в тайге — царь зверей. Медведь не нападает на лося: ведь тот одним мощным ударом передних ног может убить наповал. Медведи знают об этом. Волки иногда решаются, но только в стае и только если лось совсем старый или один. Но и это бывает редко. Лоси — верные мужья, но перед заключением таежного брачного союза между соперниками происходят нешуточные бои рогами, где сильнейший завоевывает себе мать своих будущих детей.

Перейдя при пожаре из другой части тайги на землю Семена, Чарли так и осталась на ней жить. Семен считал своей землей примерно на двадцать километров от своего дома вверх по реке, на столько же километров вниз и километров на десять от реки в каждую сторону. На этом участке тайги люди — большая редкость, а он знал эту тайгу как собственный небольшой огород: где какую рыбу можно добыть, где собрать дикий мед, как найти медвежьи берлоги, обиталища глухарей и места, где в изобилии росли боровики, маслята, клюква, брусника, лекарственные травы. Свою землю он обходил несколько раз в году. Раза три случалось тушить начинавшиеся, пока небольшие пожары. На этой земле у Семена было три маленькие избушки, каждая с крошечной печуркой внутри, только для того, чтобы переночевать. Около всех избушек хранился небольшой запас дров. На косяках, как и на доме Семена, крепились громоздкие деревян-

ные уключины, в которые он, уходя дальше по тайге, укладывал ствол сосны с выдолбленными под эти уключины пазами. Дверь открывалась наружу и нехитрым этим приспособлением фиксировалась прочно.

Хозяин избушек делал такие замки не от людей, таковых здесь не бывало, — от медведей. Любопытные от природы мишки всегда норовили залезть в избушку в надежде найти в ней что-нибудь съестное. Еды в избушке не было, но звери могли, при своей неуклюжести, все в ней разломать в поисках лакомства и, что самое главное, повредить печь и трубу. Когда пройдешь на лыжах больше десятка километров по зимней тайге, рассчитывая переночевать в тепле, чтобы назавтра двигаться дальше, меньше всего хочется в мороз, в темноте заниматься ремонтом своего пристанища.

В последнее время Семен иногда стал хитрить. Он знал, что лгать — это грех. Грех лгать даже самому себе. Но, несколько раз спросив совета у Бога, он получил ответ, что старость, которая подкрадывается тихонько, словно рысь, обманывать не только можно, но даже нужно. Ведь жизнь — это подарок Бога. И теперь, зная досконально всю свою землю, он выбирал маршруты, требующие меньших усилий. Преследуя лося, гнал его на место, где река делает крутой поворот, образуя полуостров, чтобы добыть его именно там — поближе к воде и к дому. Удобнее разделявать, недалеко везти. Чем дальше, тем чаще он так обманывал старость.

Чарли продолжала наведываться к нему, хотя нечасто. Семен был уверен, что лосиха приходит рассказать о своих новостях и показать, что с ней все в порядке. Если ее не было больше недели, Семен начинал волноваться и радовался, когда она появлялась вновь. Каждый раз она приходила со стороны его маленького кладбища, откуда вышла к нему впервые. Он уже не дотягивался, чтобы обнять ее за шею, — Чарли выросла, — а только прижимался к ее груди и ласково трепал ее бок. По старой дружбе он выносил ей булку хлеба, которую она съедала не так жадно, как в первый раз, а размеренно, спокойно, но с таким же удовольствием. Ему нравилось кормить Чарли с руки, он видел в лосихе что-то человеческое, дружелюбное и доброе, хотя и понимал, что совсем скоро ей предстоит стать матерью, она уйдет в тайгу и, скорее всего, забудет о нем. Возможно, навсегда. Съев хлеб и выпив два ведра чистой воды, Чарли часто в благодарность начинала лизать Семена, топорща во все стороны его усы и бороду. Он гладил ее и приговаривал ласковые слова, просил заходить еще. На прощанье давал пару крупных морковок, которые она аккуратно брала большими шершавыми губами. В ногах у нее все это время преданно крутились Январка и Рябинка, хотя перед этим они же громким лаем оповещали хозяина о ее приближении.

Прошло полтора года с того дня, как Семен познакомился с Чарли. Стоял конец марта. Солнце светило по-весеннему, на южной стороне сугробов днем образовывались невесомые хрустальные ледяные замки. Раза два даже начинало капать с крыши избы. На снегу образовался



твердый наст. По такому насту ходить на лыжах было одно удовольствие, особенно ранним утром.

Пользуясь случаем и в очередной раз обманывая старость, Семен накануне по насту прошел на Глухое озеро, которое располагалось в тайге километрах в семи от реки. Посередине озера он насверлил не менее пятнадцати лунок и в некоторые опустил самоловы. Остальные лунки предназначались для поступления воздуха в озеро и приманивали к самоловам рыбу. Сегодня он собрался туда вновь, для того чтобы снять самоловы и привезти добытый улов домой. По насту и на недалекие расстояния он ходил на лыжах, таща за собой большие длинные сани с коробом из фанеры. Длинную веревку от саней цеплял карабином сзади за скобку на широком кожаном ремне.

Чарли заходила к нему около недели назад. Вернее, уже не заходила, а шла мимо, остановившись по привычке поестъ хлеба и морковки из погребка. Она была беременна. Отец ее не рожденных пока лосят вместе с несколькими такими же парами проходил неподалеку. В марте почти все лосихи бродят по тайге беременные, готовясь к отелу в апреле-мае. Ходить им тяжело. Огромные нескладные фигуры на длинных ногах, с большими раздувшимися животами. Наст не выдерживает их веса, и, проваливаясь, лоси ранят ноги о ледяную корку, поэтому идут очень медленно, тщательно выбирая место, куда сделать следующий шаг.

Семен гладил Чарли по животу и разговаривал с ней о предстоящих родах. Возникновение новой жизни — жизни, данной Богом, — он воспринимал как сакральное чудо, будь то проклевывание черемши на южных полянках после схода снега или рождение медвежонка или лосенка. Каждый раз, когда приходила Чарли, он вставал перед ней на колени и осматривал ее ноги, глядя их сухой, загрубевшей рукой. Чарли привыкла к этому и не боялась. Походка ее изменилась. Появилась сдержанность, серьезность и ответственность за будущее потомство. Создавалось впечатление, что теперь она заходит к Семену не за помощью или полакомиться, а как бы между прочим, по старой дружбе, между своими важными делами. Он понимал это и не сердился. Чарли стала совсем взрослой лосихой.

Гадая о том, сколько Чарли принесет лосят и когда наступят роды, Семен незаметно дошел до Глухого озера. Он назвал его Глухим много лет назад, когда впервые, еще мальчишкой, оказался здесь на охоте с семьей. Озеро было идеально круглой формы, с чистейшими пологими песчаными берегами и огромными соснами, которые подходили к самой воде и наклонялись верхушками в сторону центра. От этого само озеро казалось шире, чем круглый кусок неба над ним. Тогда он обратил внимание, что здесь почти не слышно звука выстрела и нет эха, если кричать друг другу с берега на берег. Сосны гасили звуки. Так озеро и стало Глухим. Сейчас берегов не было видно, все покрывал толстый слой снега.

Уже подходя к озеру, внимательный Семен внезапно остолбенел от удивления — прямо перед ним были глубокие, проваливающиеся сквозь

наст следы двух лосей. Лунки каждого следа были в крови. Судя по следам, кто-то гонял лосей по насту.

Разгадка не заставила себя долго ждать: недалеко от следов он увидел бураницу — след снегохода. Встретить человека на своей земле для Семена было равносильно тому, как если бы, выглянув случайно из окна избушки, он увидел падающий метеорит. Посмотрев на бураницу, Семен тут же понял, что это кто-то залетный, не из ближних деревень. У местных если у кого и имелись снегоходы, так только древние, еще советские «Бураны», а тут был след гусянок дорогого импортного снегохода. Кроме того, местные знали границы его земли и без спросу охотиться бы не стали. Не иначе браконьер из Колпашева или Томска. Охотиться-то сейчас нельзя. Категорически нельзя! Лосихи готовятся к отелу и совершенно беззащитны. Браконьера нужно срочно остановить, уберечь от греха!

Все эти мысли пронеслись в голове Семена за какие-то доли секунды, и он, прибавив ходу, почти побежал на огромных лыжах к берегу. Выбежав к последнему ряду сосен, который образовывал идеальную окружность вокруг озера, он увидел лежавшего на прибрежном льду убитого крупного взрослого лося. Глянув на рога и копыта, Семен мгновенно определил, что лосю от семи до десяти лет — по лосиным меркам тот был его ровесником.

В этот же момент он увидел, как через озеро с противоположной стороны, неуклюже вскидывая ноги, прямо на него бежит Чарли. Она задыхалась и глубоко проваливалась в снег, порой почти касаясь огромным животом ледяного наста. Сзади ее гнали двое. Один сидел за рулем большого, тяжелого белого снегохода, второй устроился за его спиной и выцеливал Чарли, готовясь выстрелить.

Семен увидел, что лосиха бежит к середине озера, где он несколько раз за зиму чистил снег. Там все в лунках. Она может там провалиться под лед! Несмотря на то, что все развивалось стремительно, он вспомнил о Боге и криком попросил его помочь Чарли. Одновременно с этим вскинул ружье, чтобы выстрелом в воздух отогнать ее от опасного места. Как же сейчас были нужны собаки! Они быстрые, и ими можно управлять. Но Январка и Рябинка умерли зимой в тихой теплой старости, а новых щенков Семен собирался привезти в дом только в конце марта — начале апреля, когда поедет в деревню...

Выстрел прозвучал почти неслышно, потом второй, сразу третий... Чарли, почувяв опасность и перед собой, резко метнулась вбок, чего и хотел Семен. Слава Богу, она не утонет! В тот же момент будто раскаленная железная палка ткнула его в грудь с такой силой, что он откинулся назад и стал медленно оседать на снег. «Карабин», — подумал Семен и понял, что пуля, выпущенная в Чарли, попала в него. Уже валясь на спину, он увидел, как снегоход на полном ходу выехал на середину озера и стал было поворачивать вслед за убегающей Чарли, но провалился под лед и мгновенно ушел в воду.

Голубое небо было неизменно, и по-весеннему яркое солнце как ни в чем не бывало освещало Глухое озеро. Кроме бывших ранее звуков, слышались всплески воды. Это рыба, почуяв воздух, устремилась к полынье от провалившегося снегохода.

Семен лежал на спине, неловко раскорячив ноги в лыжах, рядом валялась винтовка, заряженная дробью. Тут же лежал убитый лось — отец детей Чарли. Чувствуя, что душа вот-вот покинет тело, Семен вновь заговорил с Богом. Попросил прощения за то, что не может сотворить молитву по положенному чину. Умолял простить «залетных», принять их с миром в Божье Царство, ибо они не ведали, что творили, а его, Семена, скорее всего, даже не успели заметить. Попросил за Чарли: чтобы Бог послал ей легкие роды, помог сохранить себя и лосят без отца. За братьев своих Ивана и Егора, которых не видел больше тридцати лет. За родителей, которые покоились недалеко, на их маленьком родовом кладбище.

В оставшиеся минуты жизни Семен увидел, как к лосю подошла Чарли, осторожно переставляя пораненные, кровящие после сумасшедшего бега по насту ноги. Она еще не до конца отдышалась. Постояв и обнюхав лося, Чарли направилась к Семену. Собрав последние силы, он развязал мешок, где лежала половина круглого хлеба. Чарли стала есть хлеб, и из ее глаз, обрамленных длинными густыми ресницами, постепенно исчезали страх и беспокойство, сменяясь уверенностью и благодарностью. Рыжий хохолок на ее голове, всегда умилявший Семена, топорщился все так же уморительно и мило. В знак благодарности Чарли стала лизать шершавым языком лицо Семена, вновь смешно теребя густую бороду и усы. Видимо, от него пахло хлебом, заботой и уверенностью, как и в первый день их встречи.

Семен улыбался, но благодарности Чарли уже не видел. Он ушел спокойно, с молитвой и улыбкой — так же, как когда-то его отец. Семен всегда знал, что в тайге он не один. Рядом с ним всегда был Бог. Он ушел, но Бог на его любимой земле остался. Он сбережет Чарли. По старой дружбе.



Алексей ШЕВЧЕНКО

## БЕЛЫЙ СОН

### Лето

Нагроможденье облаков —  
одно выходит из другого —  
как будто свалка летних снов  
в плену сознания кучевого.

И если весь земной наш путь  
нам только снится, снится, снится,  
то, может, выйдет как-нибудь  
нам в это лето возвратиться?

Где тени, тени по полям  
скользят, как строчки по бумаге,  
где небоскребы-тополя  
и быстрых ласточек зигзаги.

\* \* \*

Омут в небе деревенском —  
звезды желтые и тьма.  
Перед смертью понял Ленский:  
рифма — горе от ума.

Слово есть, но нет ответа,  
только шум из темноты,  
как порыв ночного ветра,  
растрепал его листы.

Но к утру за строчкой строчку  
 путь пройдет он до конца,  
 а в конце найдет лишь точку —  
 метку страшную свинца.

Так бывает век от века,  
 как сказал один поэт,  
 смерть — она для человека,  
 для поэта смерти нет.

Кто же, кто же на досуге  
 пулей дружеской убит?  
 Ходит-бродит по округе  
 призрак мелочных обид.

\* \* \*

В темноту колодца больно падать.  
 Через годы или сквозь года  
 озарила беглой вспышкой память  
 девочка, которая звезда.

Милая девическая храбрость,  
 звук босой погони озорной.  
 Ловко ты взяла меня за жабры,  
 захлестнув соленою волной.

Лунной ночью на прогретой суше,  
 юные созданыя темноты,  
 мы в припадке нежного удушья,  
 словно рыбы, открывали рты.

Берегом, раскатисто шумящим,  
 ты меня, как ветер, догнала.  
 Это лето было настоящим,  
 ты лишь нереальной была.

Не сердись, мне сомневаться можно,  
 просто все волшебю чересчур:  
 пухлых щечек матовая кожа,  
 хитрых глаз таинственный прищур.

Поразмыто прошлое местами,  
 но еще колышет легкий бриз  
 платье лета с белыми цветами,  
 что когда-то соскользнуло вниз.

\* \* \*

Не поцелует, не обнимет,  
не приласкает никогда...  
Как пес бездомный, в небе зимнем  
дрожит и щурится звезда.

И столько снега в ночь вместилось,  
что ночь не ночь, а белый сон.  
Не надо больше, сделай милость,  
теснить меня со всех сторон.

Ведь то, что было в нас когда-то,  
и то, что будет в нас с тобой,  
с улыбкой примем виноватой  
и сделаем своей судьбой.

Зачем легко и осторожно  
снег расстилается везде?  
Затем, чтоб не было тревожно  
лететь сорвавшейся звезде.

\* \* \*

Ты напевала песню Юты —  
«Когда настанут холода...»  
Прошло полжизни с той минуты,  
но я запомнил навсегда

крупицу радости невнятной,  
что указала сердцу путь —  
он в тишине зовет обратно,  
но время вспять не повернуть.

Храню, как бабочку в ладонях,  
от посторонних утаив,  
прощанья наши на перроне  
и полюбившийся мотив.



Оксана ПОЛИКАРПОВА

## НЕОБДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ

Р а с с к а з

Кате исполнилось шестьдесят. А в душе осталось шестнадцать. Никудышный возраст для взрослой женщины. Почему? Да потому, что душа определяет, что человек видит вокруг и как к этому относится. А в шестнадцать в голове сквозной ветер.

Наверное, из-за этой особенности Катя не слишком долго думала, прежде чем согласилась переехать с дочерью, зятем и внуком из средней полосы на Кубань. Казалось бы, зачем оставлять комфортную квартиру, налаженный быт, подруг, все, что знакомо и привычно, и ехать туда, где у тебя никого и ничего нет? Где нужно начинать с нуля? Осторожный человек взвесил бы все за и против. И самым большим минусом было бы то, что съезжаться с молодыми — ошибка классическая. Но Катю такой серьезный подход к жизни только раздражал, и фраза «я подумаю» в ее лексиконе не числилась.

На Кубани Катя бывала проездом к морю, и все ей там нравилось. Когда глядишь на мир как в радужный калейдоскоп предстоящего отдыха, иначе и быть не может. Особенно мило смотрелись побеленные стволы. Деревья стояли ухоженные, нарядные и навевали воспоминания о молодости и субботниках. В ее городе об этом уже давно никто не заботился.

Дом купили в поселке Газырь. Странное название, если учесть, что в газырях черкесы хранили порох, чтобы перезаряжать ружье на скаку. Может, в поселке когда-то был склад с порохом? Может быть. Только смутные времена миновали, а поселок так и остался Газырем. Однако название не мешало ему быть чистеньким и приятным во всех отношениях. Розы цвели возле каждого дома. Одни длинными гибкими стеблями оплетали беседки и заборы. Другие красовались кустиками на стриженных лужайках. Нежные бутоны имели самую разнообразную окраску: розово-малиновая гамма перетекала в пурпурную, бело-голубая — в фиолетовую. И все это великолепие источало дивный аромат. Раскидистые плодовые деревья росли прямо вдоль дорог.



Поселок был небольшой: всего около двух тысяч жителей. В летние месяцы он оживал, наполнялся отдыхающими студентами, отпускниками. По субботам на площадке возле Дома культуры устраивали танцы. На крыльцо выносили аппаратуру, и музыка летела ввысь и вширь. А потом все затихало, люди расходились по домам и наступала тишина, какая городскому жителю и во сне не снилась. Высокие фонари сквозь кроны акаций освещали тротуары с разъехавшейся от времени плиткой, и каменный Ленин одиноко стоял на своем постаменте, простирая куда-то руку. Куда — обычно интересовало одних голубей. Но памятник при этом тоже был ухоженный.

Апрель выдался дружным, солнечным, с легким теплым ветерком. Хотелось распахнуться ему навстречу и дышать, дышать... Вбирать в себя свежесть, молодость и бесконечность жизни. Земля прогрелась и источала особый аромат — готовность принять и взрастить семя. У Кати руки чесались: хотелось посадить и то, и это... На подоконниках помидоры, перец, базилик тянулись к солнцу, просились в землю.

Катя ходила по огороду, размечала, куда что посадит.

— Лен, надо мотоблок покупать, — не в первый раз начинала она разговор с дочерью. — Землю пора пахать, соседи вон сажают уже. Когда в магазин поедем?

— Не знаю. Денис сказал, подумает.

— Что значит подумает? — От волнующей темы учащался пульс. — Время-то не ждет! Меня больше всего бесит его нежелание трудиться для семьи.

— Ты не права. Он работает. Зарплату мне приносит.

Катя хмыкнула:

— А пахать кто будет? Вы зачем сюда приехали? Сидели бы в городе, играли в свои игрушки. Здесь работать надо.

— Мам, ты от меня чего хочешь? Ты знаешь Дениса. Пока нервы не потреплет, ничего не сделает. Хочешь узнать, когда поедем, — спроси сама.

— Не хочу я у него спрашивать! Он давно поставил барьер между мной и собой. Я это чувствую. Очень удобная позиция: закрылся в своей раковине — и трава не расти! Покушать только регулярно выползает. Тещиноного борща похлевать.

Наконец выбрали день, сложились деньгами и поехали за мотоблоком. Катя сидела в машине на заднем сиденье, помалкивала: боялась взглянуть. Вечером нажарила картошки с грибами. Поставила на стол бутылку водки. Она почему-то чувствовала себя обязанной отблагодарить зятя за то, что он уделил время домашним хлопотам. Правильно это или нет, для нее осталось нерешенным. Выпить он не откажется. Да и повод есть — мотоблок обмыть. Подспудно она хотела этим задобрить его, поощрить на будущее, чтобы втянулся в работу, стал заботиться о доме и земле.

В выходной Денис сделал над собой усилие, отрегулировал мотоблок — и тот затарахтел. Зная зятя, Катя и близко не подходила: не дай

господь, что-то пойдет не так — все бросит и убежит. Еще тебя же и виноватой сделает. Ищи тогда, кто будет пахать! Иногда из любопытства поглядывала через кухонное окно, но так, чтобы зять не видел.

У Дениса что-то не получалось. Мотоблок то зарывался в землю и пробуксовывал, то, вырвавшись на волю, как молодой жеребец, проворно скачками двигался вперед, оставляя за собой невспаханные участки. Денису приходилось то толкать машину, то «натягивать поводья». Тяжело, а так быть не должно!

Он явно начинал злиться. Эмоции Денис контролировать не мог, да и не хотел. Злоба поднималась синхронно с каждым рывком «мустанга». В яму раздражения, как всегда, валились все и вся: теща вместе с мотоблоком, весна, пролетевший голубь, соседская лающая собака... Ух, как все бесило! Как хотелось все бросить! Денис и сам падал в эту невидимую яму и варился в собственной злобе, как в геенне огненной, что и вовсе лишало сил. Мотор глох. Приходилось вновь и вновь дергать шнур, заводить...

Эта каторга длилась пару часов. Наконец Денис покатил «конька-горбунка» в стойло. Катя метнулась в огород — посмотреть на плоды титанических усилий зятя. Плохо разбитые комья земли и срубленный молодой кустик смородины. «И какого рожна он сюда залез? Не видит — посажено! — Катя с сожалением выкопала то, что осталось от кустика. Отряхнула куцый огрызок, сделала лунку, полила. — Расти, мой хороший!»

За ужином с напускной бодростью произнесла:

— Ты мне чуть смородину не загубил!

— Стоять надо было рядом! — последовал резкий ответ.

Лучше бы ничего не говорила. Обида разлилась в груди, остался терпкий, противный осадок. Промолчать, сделать вид, что не больно, — или высказать? А что скажешь? Стоять надо было рядом.

В понедельник утром мужская часть семьи покинула дом: один ушел на работу, другой — в школу. Катя и Елена сидели на кухне и пили чай с душицей. Катя с наслаждением ощущала, как лучи солнца, проходя сквозь стекло, мягко согревают затылок и плечи.

Было хорошо, но в воздухе висело напряжение. Катя знала почему. Накануне внук опять довел мать до белого каления.

— Вчера Богдан разозлил меня, — начала Елена. — Любым способом тянет время, лишь бы уроки не делать. Что за ребенок!

В сотый раз начинался один и тот же разговор.

Дочь долго не беременела. Родила после тридцати. Долгожданное счастье назвали Богданом. Елена тогда часто говорила: «Ребенок должен чувствовать только восторг и обожание». Наверное, Богдан подумал, что он принц и вся Вселенная вместе с Солнцем крутится вокруг и для него. Кате казалось, внук захлебывается в фонтане вседозволенности и все, что ему нужно, — это свежий глоток порядка и правил. Так ведь ребенку легче расти и понимать этот большой и сложный мир.



Сейчас Богдан учился в третьем классе. Длинненький худой аллергик, он был основной причиной переезда: Елене хотелось, чтобы сын рос на свежем воздухе, деревенском молоке и не обработанных химией фруктах. Но чего хотели взрослые, Богдана не интересовало. Он был катастрофически избалован, катастрофически мало ел и катастрофически много играл в компьютерные игры. Болезнь века. Смартфон у него из рук вырывали со скандалом. Каждый раз Богдан визжал, как резаный поросенок, еще минут тридцать.

Мать с ребенком не справлялась. Он ее просто игнорировал, грубил ей. Отец вообще не знал, как подступиться к отпрыску, и впадал в ступор. Ему было проще убежать в свой кабинет, надеть наушники и самому погрузиться в мир компьютерных игр. На экране монитора все было предельно ясно: есть враг — и есть он, Денис, смело и решительно преследующий противника. Пройдя очередной уровень, потирал от удовольствия руки. Здесь он чувствовал себя состоявшимся мужчиной. Не то что там, где сын визжит, жена в растерянности, а теща нагло вмешивается, куда ее не просят!

Старый, проверенный веками метод кнута и пряника, предлагаемый Катей, оба родителя отвергали. Денис — потому что вообще терпел тещу с большим трудом и уже сто раз пожалел, что съехался с ней под одну крышу. Все, что от нее исходило, было для него неприемлемо. Он изо всех сил отгораживался от нее непреодолимым забором. Выработывал к ней иммунитет, как к вирусу. В одном устоять не мог: теща вкусно готовила, а Денис любил покушать. Особенно расслабляли жареные пирожки. Они делали его каким-то нестойким, податливым. Каждый съеденный пирожок неумолимо разрушал выстроенную баррикаду. Приходилось потом строить заново.

Елена все капризы сына пыталась лечить мягкостью и терпением. Изучала детскую психологию. Делала конспекты. Выработывала стратегию и тактику воспитательного процесса. Однако все ее планы разбивались о броню детского упрямства. Ее мучил один глобальный вопрос: почему он так себя ведет? Ну почему?! Даже шекспировское «быть или не быть» не звучало для нее столь остро и злободневно. Психологи давали разные ответы, вплоть до психических отклонений. Иногда в это верилось...

Катя, глядя на внука, догадывалась, что все намного проще.

«Ни одна сука не позволит своему щенку взять над ней верх, а ты позволила!» — был ее окончательный вердикт, высказанный дочери. Катя не ругалась. Она любила собак и кое-что о них знала. Тот, кто хоть однажды в жизни наблюдал, как растут щенки, не даст соврать: разницы между ними и человеческими детенышами никакой! Ну, до некоторых пор, конечно.

Катя отвлеклась от своих мыслей. Сейчас она скажет дочери то же, что всегда. И они опять не поймут друг друга, и каждая останется при своем мнении. А промолчать нельзя. Елена — единственная, кто по-настоящему дорог. Ближе никого нет. И ей сейчас плохо, нужно выговориться, спустить пар. Так ей станет легче. А Кате — тяжелее.



Как жалко дочь! В такие минуты хотелось растерзать этого паршивца Богдана за то, что обижает ее девочку. Но Катя знала: ребенок не виноват. Он не родился таким. Это мать и отец своей мягкотелостью и попустительством сделали его маленьким монстром. Богдан не чувствует границ. Школьная учительница — молодая, неопытная — жалуется, что он матерится, выкрикивает посреди урока, часто не подчиняется ей. И это уже сейчас! А дальше-то что будет?

Катя вздохнула, подыскивая нужные слова. Разговор начала мягко:

— Лен, ну разве можно позволять ребенку так себя вести? У него никаких рамок нет. Ему все равно, с кем он разговаривает: со взрослым или с ровесником. С этим пора что-то делать.

— Но что? У него явный СДВГ! — Елена нервничала.

— Не надо самой ставить диагнозы. Если и есть отклонения в поведении, так они вызваны вашим воспитанием. — Катя коснулась больной точки. Сейчас понесется душа в рай...

— Вот только этого не надо! Мы с Денисом нормальные родители и дали ему все, чтобы он был счастлив!

— Слишком много дали. И при этом забыли объяснить, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нет.

— Почему он не понимает нормальных слов?

— А как ты не понимаешь, что он не может их понять? Когда осознаешь это, начнешь действовать соответственно.

— Знаю, что ты скажешь! — Елена вскинула руку, ладошкой отгородилась от матери. — У тебя один метод — пороть!

— Метод у меня не один. Но в данном случае другой не подействует. И ты это прекрасно знаешь! А за дело и выпороть не грех. Небольшая встряска задницы чудесным образом влияет на голову.

— Я не буду его пороть! Сейчас за это родительских прав лишают.

— Ой-ой-ой! Хорошо было бы поместить его в другие условия. В Америке, говорят, неблагополучных детей можно на несколько дней в детский дом определить — чтобы сравнили. Там пелена с глаз быстро слетает.

— Мы не в Америке.

Катя посмотрела в окно. Сад зацвел. Опять обработать от вредителей не успели. Никому ничего не надо. Подумала с горечью: «Зачем я сюда приехала? Жила бы спокойно в своей квартире. Так нет, вечно меня несет душа цыганская... А здесь столько дел, столько дел! Дверь в сарай с петель слетела — рядышком поставили. Косяк чинить надо, весь разболтался. В прихожей стены облупились, счистить бы все да заново оштукатурить. Дом-то не новый, ремонта требует. Мужских умелых рук. А где их возьмешь? Знала ведь, что зять работать не любит. На что надеялась? Что повзрослеет, поумнеет? Так и не мальчик давно — пятый десяток. Что сам поймет: дом заботы требует? Не понял. Другие с работы придут и по хозяйству успевают. А этот? Голову в плечи втянет, глазки опустит, пробежит к своему компьютеру — и не трогай его, а то занервничает, разозлится. Ошиблась, ох как ошиблась!»



Этот привкус горечи... Когда он появился? Незаметно прокрался в Катину жизнь и стал медленно отравлять, разъедать самую сердцевину. Дружной семьи не получилось — той, о которой мечталось: чтобы все да к единой цели. Цели оказались разными. Что с этим делать? Ничего. Собрать чемодан и уехать. Пусть живут как хотят! В конце концов, это их жизнь и не в ее, Катиной, власти что-либо изменить. Но как не хочется уезжать...

Отношения Кати и Дениса, как снежный ком, несущийся с горы, на глазах обрастали неприязнью, обидами и злостью. Катя чувствовала: Денис на взводе. Одно слово — и взорвется. Перестали здороваться. Проходили друг мимо друга, будто не видя. В своем раздражении он игнорировал ее, словно пустое место. Это лишало возможности договориться.

Свое неприятие зятя Катя выплескивала на дочь:

— До чего же противный мужик! Упертый, как баран. Как ты с ним живешь? Я бы с таким на одном гектаре... не села.

Елена не могла оставаться безучастной к тому, что происходило. Видела, что коса нашла на камень, но принимать чью-либо сторону не хотела: и муж, и мать были ей одинаково дороги. Все ее попытки помирить их оказались тщетны.

— Я живу с ним уже пятнадцать лет. Привыкла. Перебесится и успокоится. Ты сама не лезь к нему, слишком много хочешь — и все сразу.

— А я не только для себя хочу, для вас стараюсь! Деревья старые спилить надо? Надо. — Катя начала загибать пальцы. — Забор покрасить... Кто это будет делать?

Внутреннее напряжение нарастало, рвалось наружу, чтобы, как страшный вирус, заразить все вокруг.

— Опять нанимать? Ладно бы деньги большие получал, а то так, едва концы с концами свести хватает. Иди скажи этому уроду, пусть хоть мусор на свалку вывезет...

— Хватит! Я не хочу все это слушать! И буфером между вами не буду. Надоело! — закричала Елена, потеряв самообладание.

Вошел Богдан:

— Мам, продли игру.

— Нет, сначала за уроки садись.

— Я еще немного поиграю, а потом уроки сделаю.

— Я тебе все сказала! Иди.

Богдан издал рычащий звук, означающий крайнюю степень недовольства. Поменял тембр голоса, заорал визгливо:

— Вот, ты всегда такая! Я бы поиграл, а потом бы сделал эти противные уроки. А теперь не буду делать! И все из-за тебя! — Он с размаху хлопнул дверью и, громко топая по деревянному полу, убежал в свою комнату. Затих. А это значило — взял в руки телефон.

Елена напряглась. Резко встала со стула, чуть не опрокинув его. Схватила переполненный пакет с мусором, быстро вышла на улицу.

Денис был в гараже, копался в машине. Едва влетев в гараж, Елена выкрикнула с порога:



— Ты когда займешься воспитанием своего сына?! Он мне все нервы измотал! — В ее голосе слышались слезы.

В это время мусорный пакет не выдержал и лопнул. Содержимое рассыпалось по бетонному полу, и в воздух поднялся запах гниющей селетки.

Денис оторвался от машины. Кровь хлынула ему в голову, накрыла волна бешенства:

— Пошла вон отсюда! Чтобы я тебя больше не видел в гараже! Надоела вместе со своей мамашей. Тварь!

Катя лежала на диване, уставившись в потолок. В груди — кипящий самовар. Кипяток наружу выплескивается.

«Сволочь ленивая! И ничего с ним не сделаешь, не повлияешь никак! Свободен от всех, никого и ничего не ценит. Захочет — развернется и в город уедет, никто не остановит: ни жена, ни сын. Как же больно, когда не любят твоего ребенка! А дочь-то этого лоботряса любит, спускает на тормозах его взрывы агрессии, смотрит сквозь пальцы на его лень, лишь бы рядом был...»

И вдруг как током прошло: «А я не так же, как Денис, вела себя много лет назад? Пренебрегала своим мужем и не пыталась этого скрыть. Было все равно, что он чувствует и думает. Ни общих разговоров, ни целей, даже поесть старалась отдельно от него. Не любила... Жила своей жизнью, а он существовал рядом. Без тени упрека. Пока наконец молча не собрался и не ушел с чемоданом. А я не остановила — свободы хотела!.. Выходит, Денис все же лучше, чем я. Из семьи не уходит — значит, что-то держит его и не все так плохо. Говорят, время разбрасывать камни, время — собирать. Вот я и собираю камень к камню...»

Катя заплакала: «Прости меня, Господи, за прегрешения мои и благодарю за то, что научил, показал!» Она плакала, как маленькая девочка. Растирала по щекам горькие слезы, а они все лились, и не было сил остановить их. Это плакала душа, которая сегодня стала чуть-чуть старше.

Хорошо, что человек умеет плакать. Когда невыносимое чувство переполняет и раненой птицей бьется в человеческом теле, на помощь приходят слезы. Они открывают дверцу клетки, и птица вырывается на свободу, унося с собою боль. Но ее можно приручить, и тогда она будет прилетать на зов — а ты будешь кормить ее тем, что у тебя есть, и она станет для тебя не проклятием, а даром.

Наутро после скандала Катя проснулась рано, едва светало. Послушала, как перекликаются петухи. Старые кричали с хрипотцой, протяжно. Молодые — звонко и задорно. Они изведали мир, что наступает новый день. В воздухе висел легкий туман. Он таял, исчезал на глазах и не пытался бороться: его время кончилось.

Постепенно вернулась мыслями во вчерашний день. Тело опять наполнилось тяжестью. Будто желчь разлилась по сосудам, отравила серд-



це, мозг. Кате стало невыносимо противно. Она села за стол, обхватила голову руками.

Что делать? Как жить дальше?

Захотелось выйти на улицу, очиститься от скверны. Уйти куда-нибудь подальше, где нет людей, нет домов, а есть только земля и небо — все то вечное, что просто живет, не обременяя себя желаниями, амбициями, злостью. К природе. Душу исцелять. Там она найдет правильное решение.

Катя тихо вышла из дома. Поежилась от прохлады. Застегнула кофту на все пуговицы. Пошла быстро, будто бежала от кого-то или чего-то. На окраине села свернула с асфальтированной дороги на проселочную и пошла в сторону леса. Она шла сгорбившись, скрестив руки на груди и глядя себе под ноги. Ее бил озноб. По телу сверху донизу пробежали холодные колючие волны.

Она вспомнила фразу: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Криво, с горечью усмехнулась: «Мои намерения тоже привели всех в ад. А ведь хотела как лучше: чтобы в доме было добротно и сытно. Забыла только у других спросить, чего хотят они. Что же я натворила?! Ведь дело может закончиться разводом. Останется мальчишка без отца... Я виновата. Во всем я виновата! Сама всю жизнь без мужа прожила и дочь на это толкаю. Надо уехать, уехать! Это единственный выход. Им будет лучше без меня... Им-то лучше. А как же я? Совсем одна, никому не нужная. У подруг свои семьи, внуки... Ох, как пусто и одиноко!»

Катя увидела поваленное дерево на опушке леса. Подошла. Села. Провела рукой по бугристой, грубой коре. Дерево еще цеплялось за жизнь, некоторые веточки были зелеными. Они не хотели умирать, и толстый ствол питал их последними соками. И такая жалость разлилась, так резанула по сердцу, что Катя заплакала, и было непонятно, кого ей жалко больше: себя или дерево.

Вспомнила, как дочь сказала: «Что бы ни случилось, я останусь со своим мужем». Конечно, она права. «У нее жизнь впереди, ребенка поднимать надо. А я отработанный материал. С ними остаться — значит утратить право голоса. Разве что на кухне будут использовать. А во всем остальном я им не нужна. Сами знают, как жить».

Катя застонала. Как было бы хорошо разрубить этот узел одним ударом, чтобы больше не думать и не мучиться! Одна минута, а может, и меньше — и все! Нет человека — нет проблемы.

Неподалеку рос высокий раскидистый дуб. «Какой он спокойный и могучий... Как хорошо было бы прикоснуться к его спокойствию, безмятежности. Стать его частью, освободиться от невыносимой тяжести...» Катя посмотрела на пояс от платья. Сердце подпрыгнуло и застыло. Появился спазм в горле.

— Я сошла с ума! — Катя вскочила и стала яростно пинать дерево. Она задыхалась и кричала: — Нет, нет! Это все неправильно!

Вдруг к ней подлетела собака и с громким лаем стала носиться вокруг. Это было так неожиданно, что Катя упала. Потом села и обессиленно оперлась спиной о дерево. Собаки она не боялась. Ей было все равно.



— Альфа, ко мне! — Подбежавший мужчина схватил собаку за ошейник. Он запыхался и говорил прерывисто. — Женщина, что с вами? Вам помочь?

Катя посмотрела на мужчину и собаку. Они оба были рыжими: золотистый ретривер и рыжеволосый хозяин. Она закрыла глаза:

— Это не в ваших силах... — и зарыдала.

Мужчина сел на поваленное дерево. Бросил взгляд на жалкую, несчастную фигурку, на Катины голые колени, поджатые к груди, и отвернулся в сторону. Помолчал: не мешал Кате прореветься.

— Когда-то я тоже был в таком состоянии. У нас с женой родилось двое детей. Первый умер, не дожив до полугода, а второй — еще раньше... Я думал, сойду с ума. Больше экспериментировать мы не решились. Надеюсь, у вас не подобное горе. Давайте я помогу вам встать! — Он протянул руку.

Они потихоньку шли назад. Катя прихрамывала, пожаловалась:

— Нога болит.

— Неудивительно. Так лупить по дереву!

Катя опять заплакала.

— Ну ладно, ладно. Сейчас зайдем ко мне. Мой дом крайний. Приведете себя в порядок.

— Неудобно... Нет, я не могу.

— Неудобно в таком виде по селу идти. Пересудов много будет. А я чай травяной заварю. — Мужчина тряхнул полотняной сумкой. — Мы с Альфой за травками ходили. Меня, кстати, Николай зовут. А вас?

— Катя.

— Ну вот и чудно. Вы знаете, что каждую травинку нужно вовремя сорвать: одну на рассвете, другую на закате? Каждая к определенному времени набирает свою силу.

— Нет, я про это мало знаю, но всегда хотела научиться разбираться в травах.

— Почему до сих пор не научились?

— Не знаю. Других дел, наверное, много было.

— Если хотите, присоединяйтесь к нам. Вместе ходить будем.

— А ваша жена не будет против?

— Ее я похоронил год назад. Мы с Альфой одни.

— Печально.

Николай вздохнул.

Они сидели на летней кухне, за столом у окна. Пили свежий душистый чай. У Кати отлегло от сердца, и она с интересом рассматривала чужое жилище.

— Я в основном здесь обитаю, — пояснил Николай. — В дом редко захожу. Он для меня одного слишком большой. Мне там неуютно.

Здесь было все: и кухонная утварь, и диван, и телевизор. На журнальном столике лежали очки, блистеры с таблетками стопочкой. Отсутствие женщины читалось в мелочах: и плита, и чайник требовали чистки, ручное полотенце не совсем свежее, занавески...



— Я долго учился жить один, — продолжал хозяин. — Может быть, и до сих пор учусь. Главное — быть постоянно занятым. Для меня в этом спасение.

Он спохватился:

— А чем бы вкусеньким мне вас угостить? К встрече гостей я не готовился, но масло, сыр и колбаса в холодильнике всегда найдутся.

Он легко встал, повернулся к Кате спиной, открыл холодильник. Она бросила на него оценивающий взгляд. Сухощавый, подвижный, с круглой лысиной на макушке. Остатки рыжих волос коротко острижены.

— Катя, может, на «ты» перейдем?

Она быстро отвела взгляд, улыбнулась:

— Хорошо.

— Помоги, пожалуйста, порезать. — Николай выложил пакеты на стол. — Вот нож, дощечка. А я приготовлю свое фирменное блюдо. Ты когда-нибудь ела цесариные яйца?

— Нет.

— Сейчас попробуешь.

Он разбил два небольших, в крапинку яичка в пиалу, размешал с солью.

— Ой, я не люблю сырые яйца!

— Как ты можешь не любить то, чего не знаешь? Поверь мне, это вкусно. У меня большой птичий двор: куры, цесарки, утки. Когда есть о ком заботиться, унывать некогда. В следующий раз придешь — виноградник покажу. Вином угощу. Сам делаю, — добавил не без гордости.

Чуть позже он провожал гостью.

— Дойдешь одна?

— Дойду. Спасибо тебе за все. — Катя с благодарностью посмотрела ему в глаза. — Мне немного стыдно за то, что было. Ты ничего не спрашивал...

Николай взял ее за руку:

— Сама расскажешь, если захочешь. Обещай, что не забудешь нас с Альфой и придешь в гости!

— Обещаю.

Утро разделило жизнь на «до» и «после». Катя больше не хотела перебирать в уме ссоры и недоразумения. Не хотела думать, кто в чем виноват. Она устала переживать и наконец поняла: от нее мало что зависит, а в жизни дочери все свершится и без ее надзирающего ока. Можно расслабиться и просто быть.

Домой она пришла другая. Поставила на плиту чайник, размешала яйца с молоком для омлета, сунула в духовку.

На кухню вошла Елена. Коленки на бирюзовых в горох пижамных штанах топорщились. Села на диван.

— Я сегодня плохо спала. Во сне металась по темному коридору, искала выход...

Катя присела рядом. Понимающе заглянула в глаза:

- Нашла?
- Вроде бышла... открыла какую-то дверь...
- Вот и хорошо. Не переживай. Все наладится.
- Что мне делать? Слышала, как заорал вчера? Мне страшно.

Я боюсь, что он уйдет.

— Нет! Только не дай уйти. Все разборки нужно закончить. Хватит! К хорошему это не приведет. Я больше не буду лезть к нему. Не хочет делать — это его право. — Катя успокоилась, вздохнула: — Кое-что все равно делает. И не такой уж он плохой... Оставим все как есть.

Солнце клонилось к закату. Большой красный диск медленно оседал за домами, дворы пронизывал розовый свет. Небо было пестрым, как носок, связанный из остатков разных ниток. Цвета складывались в фантазийные узоры. Перетекали от перламутрового к фиолетовому, от нежно-розового — к багряному. И все это было расчерчено белыми полосами, оставленными самолетами.

Спустя несколько дней Катя шла в гости к Николаю. Немного волновалась и сомневалась: удобно ли? «Лучше об этом не думать, не придавать большого значения. Я иду просто немного поболтать, и все», — успокаивала она себя.

Вот и дом. Заглянула за забор: «Где Альфа?» Щелкнула задвижкой, открыла калитку и вошла. Из будки высунулась сонная рыжая морда. Собака узнала Катю. Спокойно подошла, обнюхала. Заинтересовалась коробкой конфет в руках. Осторожно взяла ее зубами, посмотрела круглыми дружелюбными глазами, потянула. Ничего не оставалось, как отдать. Альфа пошла к дому, остановилась, обернулась — приглашала за собой.

Вот так они и появились в дверях: впереди Альфа с коробкой конфет, за ней — Катя.

В доме вкусно пахло жареной картошкой. Николай, подпоясанный цветным фартуком, умело орудовал над сковородой деревянной лопаткой, подхватывал и переворачивал золотистые кусочки. Он обернулся, посмотрел поверх очков. Глаза залучились радостью, на щеках проступил легкий румянец — от удовольствия.

— Ах ты безобразница! Дай! — скомандовал он собаке.

Альфа, оправдываясь, заурчала. Покорно отдала коробку, легла под стол, отвернулась.

Катя шагнула в кухню.

— Как я рад, что ты пришла! — Николай всплеснул руками.

От лопатки отлетел прилипший кусочек картошки, описал полукруг и... шлепнулся обратно на сковородку! Это было похоже на фокус. Как в детстве.

Николай и Катя засмеялись. Им стало просто и легко, будто эта приземлившаяся куда надо картошка была знаком их совместности.

Денис ТКАЧУК

**«ТЛЕЮЩИЙ СВЕТ ПЛАЦКАРТА...»**

\* \* \*

Вагон качается, хмельной,  
и свет мигает,  
и черный дым летит за мной —  
не догоняет,  
не проводник заварит чай,  
а сам апостол,  
разговоримся невзначай —  
легко и просто,

промчится жизнь, как товарняк,  
за ней — другая,  
и вот — разбуженный сквозняк  
в купе гуляет,  
со мною — всё, что я не смог, —  
мои осколки,  
и вера в лучшее, и Бог  
на верхней полке.

\* \* \*

Посмотришь из окна —  
почувствуешь родство  
с домами, фонарем,  
москитной пыльной сеткой,  
и, обретая на  
минуту естество,  
останетесь вдвоем  
с пустой тетрадью в клетку.

Машина входит в грязь,  
как будто ищет брод,  
и город, свет гася,  
на память дарит слово.  
Презреньем дождь обдаст,  
и ветер оттолкнет,  
и только ночь тебя  
обнимет как родного.

\* \* \*

Бог зажжет оглушительный свет,  
лампой выхватит самую суть:  
ничего там особого нет,  
лишь житейская серая муть.

Он вздохнет и отложит ланцет,  
ручкой впишет в простую тетрадь:  
«Лишь один за две тысячи лет.  
И, похоже, бессмысленно ждать».

\* \* \*

Шепот и перестуки,  
белый песок, руда,  
жизни моей разлуки —  
разные города.

Тлеющий свет плацкарта,  
гул самолетных дюз,  
не отмечай на карте —  
я туда не вернусь.

«Граждане пассажиры» —  
фраза на вкус горька,  
горечь взлетит над миром  
облаком, а пока

через иллюминатор,  
через оконный лед  
смотрит в меня утрата,  
так же, как я в нее.

\* \* \*

И ходит по следам точь-в-точь,  
уже не мать, давно не дочь —  
таблетки горькой оболочка,  
больничный серый порошок,  
яичной скорлупы снежок,  
крупы разваренной комочки.  
Домашки шаркнут в тишине,  
а циферблату сноса нет,  
и стрелки крутятся обратно —  
в страну, где вечно мать жива,  
где брезжит свет едва-едва  
и шепчут главные слова  
во тьме роддомовской палаты.



Андрей КОРОЛЕВ

## КРАСНЫЕ БУСЫ

Р а с с к а з

Поразительно, как могут забываться некоторые события — даже самые яркие когда-то, казавшиеся самыми главными. А потом стоишь вот так в октябре у окна вечером, выдуваешь дым в щелку, никого не трогаешь и вдруг понимаешь, что завтра Бесту пятьдесят.

Первая мысль: да нет, неужели? Перебираешь в голове, сопоставляешь даты, высчитываешь — и точно. Никакой ошибки. Ровно полтос.

И получается — самый важный юбилей, потому что более круглого, скорее всего, быть не может. И самый неискренний, потому что все понимают эту значимость — и полными фужерами льют елей. И таким юбиляру предстает заслуженным, прилизанным и благоухающим — аж самому неловко.

Нет, Бест достоин лучшего. То есть большего. Более честного отношения. Уж он-то точно заслужил.

Значит, тут нельзя просто включить умение удачно потрафить, свой хорошо подвешенный язык, когда привычно самонадеянно начинаешь придумывать тост всего за два человека справа. Здесь любой блестящей шуткой не отделаться — неправильно это будет, некрасиво, несправедливо, богопротивно, как сказал бы сам виновник торжества.

Да, виновник. Но еще и самый близкий друг, точнее, самый любимый. Бывший самым близким и самым любимым, а потом почему-то переставший им быть. Почему? Сразу и не вспомнишь. А сейчас вот, похоже, самое время. И пусть он, наконец, выслушает. Хотя бы так, на расстоянии.

Итак, полтинник, полтос. И тост. Полтост. Лучше и начать с каламбура (это как раз в стиле Беста), а продолжить просто и искренне, от души. То есть не кривить душой. Да никто и не собирался. Другое дело, что излишняя душевность, выворачивание души, копание в самых тонких переживаниях могут только навредить. Сразу вспомнилось (и правильно, что в самом начале, да, так логичней всего), как я загубил важнейший тост свидетеля на свадьбе именно манерной душещипательностью, пред-

ложив выпить «за любовь, как в книжках». Какая там на хрен книжность-нежность на Записе, где рабочий Хренов вкалывал после Кузнецкстроя! Многие гости, и без того ревновавшие какого-то приезжего беса к Бесту, слушали с растущим напряжением, так что пришлось даже скомкать концовку — к оскорбительному облегчению присутствующих. В общем, не хотел выделываться, но будто заставили, умилял сам себя, затянул все кокетливо минут на десять, и даже моральная (а потом и оральная, в смысле — громкая, о другом джентльмены не помнят) поддержка смазливой свидетельницы не исправила положения, пришлось доказывать свою заслуженную близость к жениху дополнительными стопками уже не в центре стола, а по углам.

Ну вот и хорошая подсказка — во главе угла. Что у нас было во главе, в голове — загнанность в угол особенных? Я возвращался со сборов или выездных матчей, и нужно было за один выходной урвать как можно больше удовольствий и впечатлений. И приход в университет на сдачу хвостов стоял, конечно, первым в списке: там ожидалось много интересного, особенно девчонок, а у меня была одежда не с местного базара и вообще небедный победный вид.

Так мы и познакомились с Бестом — притянулись взглядами еще в фойе: они с Дианой занимали пост у подоконника, оба такие яркие и сложные, и явно страдали от того, что все вокруг такие простые или блеклые, не с кем и словом перемолвиться. Ну как же не с кем — а я чем вам не третий нужный? Я подошел, щелкнул каблуками, отрекомендовался, в каком полку служил эт цетера, да нет, конечно, просто спросил, как пройти в библиотеку, честно, не вру. Диана классно расхохоталась: «Это не по нашей части!» — хотя на самом деле именно это и было ее самым сильным местом — помимо рельефной груди, оригинальных нарядов и вызывающего макияжа — редкая начитанность и даже тяга к знаниям, точнее — к образованию, у них в паре и роли распределялись вот так необычно: она — радио, а он — порыв, она — будущий ученый-лингвист где-нибудь в Беркли, а он — поэт-эстет с волшебной гумилевской чужестранностью, которого, конечно, примут там на полный пансион.

А пока мы решили отпраздновать знакомство — после того, как я сдам старославянский язык. Господи, тоже мне проблема — аки-паки иже херувимы! Окрыленный, я с блеском получил необходимый трояк, а потом набрал на пятерку еды и питья, и мы до ночи просидели в их съемной квартире, все больше вдохновляясь друг другом, открывая друг друга, раскрывая, снимая нетерпеливо, но бережно все лишние защитные слои, как обертку с дефицитных конфет.

Дома они были другие, более мягкие, расслабленные, и такими нравились мне еще больше: тонкие, чувствительные, остроумные без едкости, искренне нежные даже уже и ко мне. Вместе они были чуть ли не с подросткового возраста, и по неопытности я решил, что это и есть редчайшее чувство — одно на всю жизнь. Отсюда потом и дебильный тост на их свадьбе (перед распределением, чтобы не разлучаться и получить больше подъемных) о «любви, как в книжках». Но это замечание можно

и опустить, нужен ли здесь такой грубый материальный подтекст, и опять же — удлинняет, затягивает.

Нет, опять подсказка — затягивает. Меня так и тянуло в их квартиру. Я уже вырвался из родительского дома, в спорте был свой комфорт, но слишком обезличенный, и мне не хватало таких вот интимных уголков, именно тепло-уютных, не как в гостиницах или на базе. А они и ценили, и хвалили, и обихаживали это свое первое семейное гнездышко, пускай и как-то настороженно, с опаской: здесь не то был убит, не то покончил с собой известный кому-то художник (потому и арендная плата была ниже), зато у них возникало правильное ощущение, что нужно держаться вместе. И когда при мне они все же пытались затеять ссору, я уже знал, что делать. «Та-а-ак... Черная Кисть заходит в дом, — начинал я замогильным голосом, — Черная Кисть идет по коридору...» — «По какому коридору?» — первым отзывался Бест, потому что был более отходчивым. «По нашему коридору», — продолжал я. — «А куда он идет?» — «Не знаю». — «Так узнайте!» — «А вас, штандартенфюрер, я попрошу остаться!» — указывал я перстом на Диану, и к тому моменту она уже со смехом возражала: «Не-е-ет, в любви я Эйнштейн!» И тогда все вместе, хором мы выкрикивали: «Отдай свое сердце!» — и Бест с вампирски скрюченными пальцами тянулся ко мне, я — к Диане, а та — к нам обоим.

(Странно: в то время она ко всякой такой «отрицательной энергетике» и относилась отрицательно — как-то даже по-старушечьи убежденно, с безотчетным страхом, а через десяток лет, открыв охоту на мужиков, реально занималась чуть ли не ворожкой-приворотами и, похоже, действительно шагнула в какие-то области тьмы, заступила на темную сторону силы, что и сказалося потом на здоровье. Но эту ремарку, разумеется, приводить не стоит, это уж точно ни к чему.)

О чем еще важно вспомнить? Для меня весь тот период — просто один солнечный клубок, смотанный из дней постоянного ожидания встреч, счастья встреч, гордости, радости, тепла. Но без поездки на турбазу вчетвером уж точно никак не обойтись: для будущих общих баек нет ничего перспективней. А у меня как раз наклеивалась постоянная девушка, нужно было только доочаровать ее немного, и друзья были первыми подтянуты для штурма. В том, что осажденная хрупкая крепость вот-вот перейдет в мои руки, никаких сомнений не было, меня больше другое волновало: как бы эта изощренная парочка не слишком впечатлила (и без снобизма оценила, и без надменности приняла в нашу компанию) не богемное светлое создание.

В первый вечер Диана просто убила меня своим вероломством, заставив Катю к себе в комнату: «Мы тут покалякаем о своем, о женском, а вы, так уж и быть, друг перед другом зарубками на нефритовых жезлах похвастайтесь». «Фу, — сказал Бест, — как грубо и неспортивно!» — «И больно!» — добавил я. Но позже выяснилось, что это был гениальный ход, и когда ночью я проснулся от прикосновения губ и легких волос, опустившихся мне на лицо, все получилось даже великолепней, распутней

и возвышенной, чем можно было представить (а уж представлял я, не сомневайтесь, много всего разного).

И следующий день стал вообще самым красивым в моей жизни. Было очень тепло, мы вышли к Мрассу, девчонки загорали без верха купальников, но не лежа, а стоя на берегу или медленно прохаживаясь — гибкие точеные фигурки так и светились в лучах на фоне близкой тайги, — а мы с Бестом размышляли, щурясь, так ли обязательно быстро-быстро обеспечить рекопродуктами свои маленькие прайды. Снасти мы с собой взяли, но на стрелку острова переправляться не спешили — нам и здесь, и без рыбалки было хорошо.

Я подошел к ручейку, тихо втекающему в реку, и высматривал какую-нибудь трещинку в земле или камень, под который можно сунуть окуроч. И тут краем глаза заметил, как темная палка в прозрачной воде шевельнулась. Еще не веря, я дождался, когда рыбина, удерживаясь на месте, снова двинет плавниками. Обмерев, я знаками подозвал Беста. Он долго смотрел на тайменя (мы сразу поняли, что это именно самое лучшее) и вдруг, резко нагнувшись, зачерпнул его руками и потащил из ручья. Куда там! Мощно извернувшись, рыбина выскользнула из его объятий, упала в воду и мгновенно скрылась в реке. Я заорал от горя, девчонки подбежали в ужасе, но, узнав, в чем дело, стали подтрунивать над Бестом — дескать, Акела промахнулся, все, пора на покой, а он, расстроенный, смущенно оправдывался и ругал тайменя за такую душевную черствость: мог бы и уступить, тоже мне важная птица, что, мы каждый день сюда приезжаем?

Я опять закурил и трагично понурил голову. И увидел в устье ручья живое полено еще крупнее первого! Есть бог на свете, есть! Быстро стали думать, что делать. Снасти использовать — но как? И пока будем с ними копаться, он вообще может уплыть. Значит, обойдемся без них, одними руками, только хитрее. Кате с Дианой мы наказали перекрыть тайменю путь со стороны реки, опустив в воду ладони (вряд ли бы это сработало, но смотрелись они замечательно), Бест, упершись ногами в берега ручья, изготовился стать плотиной Саяно-Шушенской ГЭС, а я, растянув свою майку, как трал, навис прямо над рыбиной. Я надеялся, что в ткани руки не будут скользить, и для надежности собрался придавить тайменя сверху всей своей массой. И у меня получилось! Более того, я догадался, ухватив плотное тело, рывком перебросить его из воды на траву. Тут же подоспели Бест и визжащие девчонки. Я сжимал эту зверюгу под жабрами и чувствовал, что, поводя боками и изгибаясь, она вполне способна вырваться на волю. Но кто ж ей теперь позволит!

Устав, я со всеми предосторожностями передал тайменя Бесту, и тот торжественно принял его в обе руки. Это было как какой-то древний ритуал, да мы так и чувствовали себя — внутри волшебной легенды, при сотворении чуда. А если кто не поверит — у нас куча свидетелей!

На кухне турбазы мы нашли эмалированный бачок, и когда рыбина легла в него на дно, получился тор с перехлестом — хвост загнулся уже вторым слоем. Жалко было разделять такую реликвию, но ситуация обязывала: надо же было и вкус тайменя узнать, чтобы потом о нем рассказывать. Причем нам этого трофея хватило аж на два дня с лишним:

тушу мы съели сначала, а к оставшейся голове добавили еще пескарей, ершей и сорожек, и уха сварилась очень пахучая, насыщенная, даже без картошки не водянистая. Но и ее мы в один присест не осилили, и наутро остатки застыли, превратившись в желе.

А самое смешное произошло уже в городе, когда мы вернулись. Бест нашел «Энциклопедию юного рыбака» и в ней — портрет нашего тайменя. Который оказался налимом. Ус, торчащий у него снизу морды, конечно, смущал меня еще на турбазе, но я знал, что у сома два уса, а не один, следовательно, это не сом. А кто еще бывает таким красивым и крупным?

К тому же налим, как выяснилось, — пресноводный аналог трески, а мы его печень сдуру выкинули сразу, не подозревая о ее деликатесности.

— «Не только любите природу, но и знайте ее!» — назидательно изрек Бест. — Михаил Евграфович Мамин-Сибиряк. «Книга о вкусной и здоровой пище».

— Нет, — сказала Катя, — Алексей Максимович Пушкин. «Сказка о рыбаке и загадочной рыбке».

— Нет, — сказала Диана, — Александр Сергеевич Горький. «Быль о Балде». — И постучала Беста по лбу костяшками пальцев.

Он не с первых дней стал Бестом, но достаточно скоро. И не только потому, что столь удачно подошла фамилия (Берестов — Бест оф — просто Бест). Я вообще очень гордился этой своей находкой: редко когда удается придумать такое прозвище, чтобы и точным было, и охотно принималось другими. Для меня он действительно был лучшим — по самым разным статьям.

Он, например, знал нотную грамоту, и битловскую «Элинон Ригби» прямо при мне подобрал на пианино и спел по-английски.

И при всей своей надмирности не боялся электричества, умел работать инструментами и спокойно брался починить утюг.

И как ни странно, прекрасно исполнял Высоцкого (так, что со временем и я начал вносить свои семь копеек прилежным бэк-вокалом на важных застольях) — трудно было это заранее представить с его утонченностью, но тогда даже «блатные» вещи Владимира Семеныча проходили по разряду элитарности, а Бест пел и проникновенно, и сильно, не пытаясь совсем уж копировать, и это подкупало.

А еще он хорошо готовил, сам мыл пол в квартире и, скорее всего, был круче меня в постельных делах — судя по матерным выкрикам Дианы за стенкой, которые мне не раз приходилось выслушивать.

Ну разве что мяч ему нельзя было давать в ноги (поначалу я тоже пытался приобщать его к своим любимым занятиям), это было жалкое зрелище. Но девчонкам, кстати, нравилось, видимо, они хотели, чтобы и я в чем-то превосходил его, обе вслух потешались над Бестом, когда мы выбирались на отдых, и он ни капли не обижался, наоборот, подыгрывал им — а это, по-моему, лучше всего человека характеризует.

Были у нас, конечно, не только сплошные праздники, случались и размолвки, и минуты усталости друг от друга, но это такая мелочь в срав-



нении с главным, что их даже и вспоминать не хочется. Хочется вспомнить именно лучшее, избранное — даже без всякой хронологии или логической связи. Пусть все будет как в самом истинном устном народном творчестве — когда события просто следуют одно за другим, нанизываются на нить повествования, как бусы или четки: герой выходит из дома, встречается с волшебным дарителем, потом с чудесными помощниками, а в конце, допустим, расколдовывает нужную царевну, за что и получает главный приз — зрительских симпатий...

Помню, именно после моего экзамена по УНТ, уже во время загула в общаге, уже в третий или четвертый выход на лестницу покурить Бест прочел мне это свое стихотворение. Лестница была темная, и снизу, и сверху его вполне могли слышать, как мы не раз слышали там чужие исповеди или проповеди, и, возможно, на это он втайне и надеялся, или даже явно, не помню, но голос его мне врезался в память, и теперь, повторяя эти шестнадцать строк, я повторяю и его интонацию: в первой половине — воодушевленно-лукавую, а во второй — чуть ли не грозную:

Я подарю тебе красные бусы,  
Алые бусы из веток коралла  
В день, когда в синих глазах отразится  
Зелень моих якорей.  
Скажут подруги: «Красивые бусы!  
Чье, признавайся, ты сердце украла?»  
Ты им ответь: «Принесла это птица  
С теплых далеких морей».  
То же и дома скажи, пусть поверят,  
Пусть избегают опасных вопросов:  
Любит, когда сохраняются тайны,  
Демон бушующих вод.  
Взгневится он — не спасут тебя двери,  
Станут кораллы как алые осы,  
С ядом палящим, как жаркие страны,  
Испепеляющим рот\*.

Жгучий глагол «взгневится» мне тогда не очень понравился (да и сейчас слегка корябает), а вот про подружек — очень, мы тогда вообще много думали о всяком таком, особенно с пьяных глаз, вероятно, даже слишком много, с неразборчивым рвением зачем-то побольше испытать.

Это потом, через несколько лет, и аукнулось безумным визитом посреди рабочего дня веселой до ужаса Дианы — ее так и распирало от счастливой возможности уничтожить подлого мужа-предателя, и прекраснодушный наивный друг мог тут подействовать как нельзя лучше. Бест только пару минут назад зашел ко мне в кабинет и еще стоял у двери, а я сидел в глубине, в обманчивом ощущении безопасности, то есть неопасности, несерьезности происходящего, потому и отвечать на вопро-

\* Стихотворение Сергея Истомина.

сы Дианы начал игриво, бездумно, не догадываясь, что меня так легко и коварно могут взять на понт. И в общем, почти прямо подтвердил факт, который, оказывается, следовало всячески отрицать.

Я-то думал, что обладаю таким влиянием на обоих, так сильно их люблю, что запросто смогу, как голубь мира, вложить им в руки оливковую ветку, сумею убедить их не ругаться, обняться и проследовать дальше вместе в светлое будущее, перед стартом заглянув, положим, в коктейль-бар (чуть-чуть подстраховаться, думал мудрый я, для бурного воссоединения не помешает). Но не тут-то было.

— Да уж, милый мой дружок, — с незнакомой зубастой улыбкой сообщила Диана Бесту, — влип ты, конечно, по полной. Ну, и как с тобой дальше поступим? Знаешь, мне еще очень хочется расцарапать тебе рожу!

«Ну, это она переигрывает, — облегченно выдохнул я. — Не бывает же такого в самом деле у таких шикарных дамочек, защитивших диплом по Мандельштаму». Но оказалось, еще как бывает, а именно вот так: Диана с выставленными вперед ногтями бросилась на Беста, тот успел отшатнуться, вскинув руки, и только легонько отмахнулся-оттолкнул ее, и поначалу показалось, что прямого столкновения удалось избежать и урон с обеих сторон будет минимальным. В общем, так и вышло, если не считать того, что пальцем Бест зацепился за красные бусы у Дианы на шее (она вообще была во всем полыхающем, пламенном), нитка порвалась, и бусины осыпались на пол с протяжным грохотом, раскаленными окатышами прожгли оголенные нервы, оставив огненные борозды на щеке Беста (я не сразу понял, что это кровь), с долгим вспарывающим звуком раскатились по паркету. И наглядней символа краха, обвала, обрыва, разрыва, чем эти рассыпавшиеся бусы, придумать было нельзя. А еще (пока соперники, расступившись на пару шагов и громко дыша, отпугивали друг друга бешеными взглядами) нельзя было не подумать, какой это выразительный образ — и цветовой, и звуковой.

Тогда я глупо попытался как-то все исправить или хотя бы замять — поздно, дружок, поздно, лучшим исходом было уже просто растащить двух этих невменяемых в разные углы ринга, города, мира, что, в конце концов, и удалось, не без ущерба для моей гордости и их важности, но удалось. Причем Бест исчез первым, а Диана мигом из кровожадной пумы превратилась в милую киску, и, не будь эта догадка чересчур дикой, я вполне бы поверил, что она не прочь закрепить свой женский успех еще и со мной, но уже по-другому, и прямо на редакционном столе. К счастью, у меня хватило ума и стойкости сдержаться.

— Уйди, пожалуйста, Дин, — попросил я. И она ушла.

Но об этом я, конечно, не буду вспоминать.

Бест ненадолго перебрался к нам с Катей — совсем ненадолго, в таком состоянии он оказался не очень легок для совместного проживания, и сам, похоже, тяготился своей ролью осевшего-у-друзей-выгнанного-из-дома-за-дело. Подружка-разлучница, внезапно раскаявшись, закрылась в глухом целомудрии, но быстро подвернулась другая — выше нас даже

без каблучков, с походкой манекенщицы и лицом нимфетки, что и стало главным фактором ложной надежды на итоговую победу.

А для меня решающей стала встреча с Бестом месяца через три-четыре (мы оба еще чувствовали потребность встречаться, хоть и реже, но регулярно). Как сейчас вижу: мы подошли к перекрестку, напротив — сквер возле университета, мы собираемся посидеть там, и Бест со смехом передает мне новость, как блистательно он поймел Диану, выписав ей ровно рубль алиментов. Ровно один рубль! И все по закону, не подкопаешься! Можешь себе представить?

Уже узнав его нового, я легко себе это представил. А он, ловкий и успешный, не просто гордился собой, но и меня приглашал разделить свою радость, он был уверен, что и я отношусь к этому точно так же.

Загорелся зеленый, и Бест на автомате шагнул на зебру, продолжая с улыбкой разглагольствовать, дошел уже до середины дороги, оглянулся. А я так и оставался стоять на бордюре, да, так и остался, поднял руку и крикнул ему: «Давай, пока!» — развернулся и быстро двинулся прочь.

Он позвонил мне домой вечером, но я успел предупредить Катю, и она с пугающей честностью в голосе сказала ему, что меня нет.

— Да ладно вам, — возмутился Бест, — что вы все ее слушаете, она же вами манипулирует!

Но Катя, молодец, деликатно, но твердо свернула разговор, и больше он не звонил — целый год или даже больше.

Все это, конечно, я пропущу. Сейчас та история видится уже несколько иначе, акценты смещены и последствия размыты, но доставать ее из забвения во всех подробностях в любом случае не следует.

Тут самое время вплести в сюжет бусины попрозрачней и попраздничней, чтобы самый яркий и чистый свет излучали. Но вредная память подсовывает совсем другие эпизоды, в них свечение не изнутри исходит, а какое-то поверхностное, сусально-дешевое.

Вот Бест, захватив меня врасплох, заезжает прямо с утра в выходной день — приглашает покататься. Он купил новую машину и явно хочет похвастаться, показать солидный паркетник в деле. И это, кстати, вовсе не выглядит противно — наоборот, нормально, вполне естественное чувство. Другое дело, что я не очень-то способен оценить все прелести и преимущества. Мой потолок — это три деловитых вопроса: дизель или обычный двигатель, много ли жрет и сколько лет гарантия. «Но вообще хорошая же машина?» — искренне надеюсь я, и он искренне соглашается: «Хорошая. Но бензин люби-и-ит!» Мы катались по городу часа два (фоном крутилось, конечно, «Воскресение», с кроткой настойчивостью зовущее воскресить прошлое). Смотались в шашлычку на другом берегу, проехали мимо их с Дианой старой квартиры, мимо его нынешней холостяцкой и, вернувшись к моему подъезду, еще минут сорок просто сидели внутри и разговаривали. Бест сразу разрешил мне курить в салоне, но воспользовался я этим только раз — только чтобы оценить жест, принять его обходительность (ну и заполнить паузу). Я предложил подняться ко мне, но он отказался — и правильно: о чем еще можно говорить, я бы уже и не придумал.

А еще мы случайно пересеклись с Дианой — не поверите — в театре, но вовсе не для нас была предназначена та сцена. У их внука бархатный костюмчик, кудрявый начес, как у Ленина-октябренька, и произносит он громко, старательно грассируя, даже сложные редкие слова: «антракт», «партер». С нашей внучкой ему не слишком интересно шастать по фойе, у него другая миссия, бабушка наверняка вылепит из него Безупречного Рыцаря, отвечающего самым высоким стандартам. Он будет холить ее, лелеять и постоянно подкидывать поводы для восхищения, возить по заграницам (и везде бегло изъясняться на местном наречии), приносить тапочки и утреннюю газету... «Ну что ты такой злой? Маленький мальчик, очень воспитанный, просто немножко манерный. А что, Бест не такой, что ли, был? Такой же эксцентричный и эгоцентричный!» — отчитывает меня Катя, и я с удивлением понимаю, что она права.

Как сохранить воспоминания о человеке только хорошие? Невозможно: сразу всплывет какой-нибудь дурацкий случай, когда он недостаточно воздал тебе за щедрость, а то и вовсе оскорбил невниманием...

Вот я думаю сейчас о Бесте, и в самом деле хочу показать наглядно, подтвердить тот факт, что значил он для меня очень много, дал столько драгоценного тепла, что было бы странно и гадко это отрицать. Но почему тогда мне лезут в голову какие-то очевидно несущественные разногласия, надуманные претензии, глупые придирки?

Окно почти настезь, в кухне холодно, но все равно чувствуется, как накурено. Жена уже дважды открывала дверь и смотрела на меня выразительно, причем второй раз — без малейшей симпатии. А я все никак не могу придумать концовку для воспоминаний о Бесте.

По-хорошему, стоило бы написать целую повесть — с благодарностью, горечью, сожалением, с доброй печалью и злым надрывом, с резкой, но исцеляющей прямоотой. И с таким четким набором четок-эпизодов, который бы все прояснил.

Но почему это должна быть только правда? Это же не итог какой-то игры, где разных вариантов быть не может. Жизнь гораздо богаче, и возможность эту нужно использовать.

Вот я вспоминаю легендарный День Взятия Тайменя на берегу Мрассу, где все вокруг было залито ощущением чуда, девчонки сияли свежестью, и каждому из нас впереди светило нескончаемое счастье. Но почему бы не запомнить все так, что это и впрямь был таймень и мы вылавливали его в нешуточной равной схватке, восемь с половиной часов водили на леске, а в конце концов все же одолели благодаря силе духа и чистоте принятых правил?

Или, допустим, в театре мы встретили не только Диану с внуком, но и Беста, а потом все завалились к нам, и кудрявый мальчишка, одетый пажом, больше не обязан был исполнять эту жеманную роль, стал более открытым и забавным и спел, мило картавя, поучительную песню про медведя и лису, и все аплодировали с большим энтузиазмом, и все решили, что «артистизм — деда», и видно было, как Бест растроган, а

Диана зажала пацаненка между колен и щекотала носом его шею, и оба весело пищали, и этим можно было только любоваться, без всякой задней мысли.

Нет, правила слишком суровы, и от некоторых деталей отмахнуться никак нельзя, потому что не только в голове это засело, но и в руках, и в глазах, и меняется все безвозвратно. Как, скажем, забыть тот мерзко многоцветный и страшно тяжелый мешок, который нам с водителем пришлось спускать по лестнице хосписа? Как так вышло, что только мы вдвоем и оказались там? Ладно еще я, но водила-то точно зря попал под раздачу, ему это как минимум было неприятно, хорошо, если про себя он не сыпал проклятиями, это было бы совсем обидно и грустно.

Да, никуда не денешь тот длинный черный мешок с неудобными лямками, который людям без навыка просто нереально было аккуратно спустить вдвоем без лифта, можно было только стараться не бить провисающей головой о ступени, но все равно не получалось совсем не задеть, никак не получалось. И с каждым мелким шаркающим шажком по той лестнице, с предельным напряжением сил и усталостью все подходящие высокие мысли снижались и сужались, выходили вместе с потом, с нескрываемым шумным дыханием и досадой из-за чудовищной неловкости, некрасивости, невыносимости происходящего, мы уже не несли, изнемогая, а просто волокли растянутыми руками этот мешок по бетону до машины, и думалось уже только об одном — поскорее с этим развязаться.

Почему я тогда заставил Катю соврать, сам не взял трубку? Что, так уж трудно было унять свою принципиальность? Или позже, когда все улеглось, перестало задевать и заставлять сдерживаться, — неужели и тогда не пришла пора проявить благородство?

Был ведь еще один звонок — уже в самом конце. Я зашел в палату вскоре после священника, Бест был в сознании, мягко-расслаблен, мы нормально пообщались. Ему оставались считанные дни, и тут наавтра он звонит, а я нахожусь на перекрестке (как символично: опять на перекрестке) и все равно ничего бы не услышал, даже если бы ответил. А пока добрался до более тихого места, звонки прекратились. Но перезванивать я не стал. Сам не знаю почему.

И вот теперь наконец я понял. Если бы мы поговорили тогда, может, он извинился бы за что-то, а я, должно быть, не хотел этого — что за инквизиция такая, выворачивание рук? Признание под прицелом, прощение под занесенной косой... Я не хотел, чтобы он оказался кругом виноватым, — предавший всех, в том числе и себя...

Да нет, вранье все это. Ясно же было, как важен для него этот разговор — может быть, самый важный в жизни. А я вот так наказал его, отомстил так мелко и жестоко.

Зато теперь я знаю, что ему подарить. Пусть там ему зачтется, что не он один во всем виноват.

Я подарю тебе, лучший, память о дружбе, как в книжках.

Александр ТИХОНОВ

## **«О, КАТОРГА!», ИЛИ СИБИРСКАЯ ССЫЛКА ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА**

*В продолжение очерка  
«Четыре истории от мистера Бьюэла»,  
опубликованного в № 7 за 2021 год*

Если вас спросят, какие книги о сибирской ссылке и каторге вы знаете, на ум тут же придут «Записки из Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского — горечь четырех лет, проведенных в омском остроге, писатель выразил с присущими ему талантом и тщанием...

Затем, напрягая память, вы сможете вспомнить немало художественных текстов и научных исследований, посвященных ссылке, и одернете себя, когда захочется добавить к этому списку «Колымские рассказы» Варлама Шаламова или «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, — стоп-стоп, это другая эпоха!

Кажется, о ссылке уже нечего сказать и все ужасы, происходившие за стенами сибирских тюрем, в острогах и шахтах, детально описаны, но порой встречаются произведения, в которых сибирская ссылка представлена в совершенно ином виде, — это книги иностранцев, волею судьбы оказавшихся в Сибири и позже поделившихся своими впечатлениями. Один из них, Джордж Кеннан, в 1891 году, по итогам своей поездки, издал любопытный труд «Сибирь и система ссылки». В 1906 году прочесть книгу смогли и русскоязычные читатели — она вышла под названием «Сибирь и ссылка» в издательствах Санкт-Петербурга и Москвы, снискав немалый успех.

Когда в 2020 году для одной из краеведческих работ я взялся переводить отдельные главы из книги другого американца, Джеймса Бьюэла, подумать не мог, что наблюдения западного беллетриста окажутся столь эмоциональны, что встанут для меня в один ряд с лучшими книгами о сибирской ссылке и позволят по-иному взглянуть на жизнь сибиряков последней четверти XIX столетия.

Поначалу Бьюэл виделся мне забавным искателем приключений, неутомным, странным. Он — автор леденящей кровь истории о дереве-людоеде, в существование которого многие поверили, автор биографии легендарного гангфайтера Дикого Билла Хикока, чей образ потом не раз эксплуатировался писателями и киноделами.

Хотите познакомиться с Бьюэлом лично? Нет ничего проще, запустите компьютерную игру «Red Dead Redemption 2», и в одной из забегаловок к главному герою подсядут двое — Дикий Билл и Джеймс Бьюэл. А еще в той же игре одному из скакунов дают прозвище Бьюэл — явно с намеком на нашего Джеймса. Словом, Бьюэл — личность разносторонняя, скандально известная и в каком-то смысле культовая.

И вот, имея за плечами опыт работы в разных жанрах, пытливый и дружинистый Бьюэл собрался в загадочную Сибирь. Мне, признаюсь, книга представлялась историей лихого путешествия в неизведанные края. Невероятный талант Бьюэла попадать в неприятности и поразительная удачливость, с которой он из этих неприятностей выбирался, нашли себе применение. С мальчишеским азартом описывал он прибытие в Россию, беседы с чиновниками, замахивался на большую тему. Но мне все казалось, что беллетрист в нем победит, а победил исследователь.

Книга Бьюэла «Нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири» — вовсе не о путешествии лихого раздолбая в неизведанные земли. Это и впрямь серьезный труд, поднимающий важные проблемы. Легкий стиль повествования, байки о встречах с местными жителями — все это может ввести в заблуждение, ведь тон не меняется даже тогда, когда бравадирующий американец говорит об истории ссылки и контраст легкого авторского пера и тяжелой, горькой темы вызывает оторопь.

«...О, каторга! — восклицает Бьюэл. — В Сибири нет слова, которое сильнее волнует русское сердце. Слово “Бастилия” было произнесено в самые ужасные дни истории Франции. Марат лишь мог отправить своих жертв на гильотину, где их ждала быстрая и безболезненная смерть. Но в Сибири к приговору добавляли кнут и прочие орудия пыток, запирали мужчин и женщин в шахтах, из которых им никогда не суждено было выйти на свет, а плач не мог вызвать сострадания. История России в истинном ее виде представляет для меня сильнейший интерес, какой я не испытываю ни к чему другому».

...С этого начиналось долгое путешествие Джеймса Бьюэла по Сибири, а в каждом городе заграничный гость узнавал новые подробности о том, как устроена русская ссылка и какова судьба несчастных, оказавшихся в кандалах на пути из московской центральной тюрьмы в необжитую, угрюмую Сибирь.

Я предлагаю моим читателям отправиться вслед за Джеймсом Бьюэлом и заглянуть из-за плеча американского писателя в сырые камеры тюрем и запавшие глаза «изгнанников», как называет ссыльных сам путешественник. Вот только нас ждет не задорное приключение в духе Луи Буссенара, а планомерное описание ужасов, происходивших в те годы. Я намеренно не комментирую исторические неточности, возникшие в результате неосведомленности Бьюэла: где-то путешественник ошибался, лукавил, и, возможно, хитрый американец делал это намеренно, а может — виной всему ошибки собеседников, а он, наивная душа, им верил... В любом случае дадим слово Бьюэлу.



И первая остановка на нашем пути — Тобольск. Итак, Джеймс, вам слово!

В окрестностях тюрем я увидел мало интересного. Всего их три, они содержат от 1 000 до 1 200 заключенных. Расположены они у главного сада и находятся под присмотром коменданта крепости. Мне удалось встретиться с тюремным охранником, который немного говорил по-немецки и с готовностью ответил на адресованные ему вопросы, а после уговоров и небольшого подарка в размере пяти рублей разрешил мне войти в тюрьму. Вскоре я понял, что несколько рублей могут быть волшебным ключиком, который откроет любую дверь в России.

Здания кирпичные, с маленькими квадратными оконцами, в которые вставлено двойное стекло, чтобы не пропускать холод. Когда я вошел в тюрьму, двое охранников вышли навстречу с пристегнутыми штыками и сопровождали меня всюду, где бы я ни ходил. Старший надзиратель также всюду следовал за мной. От него я узнал, что раньше Тобольск был станцией, на которую присылали всех преступников для каторжных работ, но, поскольку восточнее появились рудники, их стали отправлять напрямую туда, а тюрьма отныне используется для временного содержания преступников, которых отправят на восток. Сравнительно малая часть арестованных в Тобольске оказалась в тюрьме за повторное преступление или были присланы обратно после неудавшегося побега.

Большие мастерские примыкают к тюрьмам, в них работают все, кто в состоянии трудиться. Здесь есть сапожники, портные, краснодеревщики и так далее. Все они вынуждены выполнять определенный объем работ ежедневно, иначе бывают биты кнутом, что представляется некоторым «не более чем игрой между плетью и ее жертвой» — по словам филантропа господина Лансделла. Этот метод наказания, якобы отмененный, используется для несчастных преступников в тобольских тюрьмах ежедневно, в чем уверяли меня несколько человек.



A CONVICT LABORER IN IRONS.

Каторжник в кандалах

Джентльмен, который засвидетельствовал применение подобных наказаний, описал процесс следующим образом: заключенного заводят в комнату, где в стенах, примерно в семи футах от пола, закреплено два кольца. Здесь его полностью раздевают, оставляя легкую ткань на бедрах, и это все не акт милосердия, но сохранение благопристойности. Бедная жертва, задыхаясь и дрожа, ожидает наказания. К его запястьям крепятся плотные шнуры, которые продеваются в кольца, после чего заключенный едва касается пола.

По сигналу в комнату входят двое мучителей, в руках у них узловатые плети. Это инструменты пытки, а не наказания, они состоят из нескольких ремешков, вырезанных из сыромятной кожи и связанных в один пучок в месте крепления к рукояти длиной в один фут. Каждый ремешок заканчивается узлом, цель которого придать уда-

рам дополнительную силу и ужесточить наказание, ведь каждый из узлов наносит ушибы. Свою работу они обычно начинают, несколько раз обойдя жертву прежде, чем ударить, чтобы застать врасплох, ведь считается, что наиболее острые мучения приносят удары, которых жертва ожидает меньше всего. Бьют они поочередно по всему телу, чтобы причинить наибольшие страдания.

С каждым ударом плети образуется все больше синяков, а если кожа особенно нежна, появляются глубокие раны, из которых хлещет кровь. Хотя кровотечения причиняют меньше боли, они опаснее, чем ушибы. Ушибы заживают быстро, в то время как открытые раны часто гноятся и вызывают болезни, от которых можно умереть. Известны сотни случаев, когда мужчины и женщины умирали через много часов после истязаний, так и не придя в сознание.

Среди рабочих, как я заметил, на многих были цепи, подобные тем, что я видел на заключенных в Москве. После вопроса, зачем это нужно, охранники сообщили мне через переводчика, что таким образом заключенные подвергаются дополнительному наказанию. Есть среди них преступники, которые были осуждены за преступления с отягчающими обстоятельствами, такими как неспровоцированное убийство или серьезные политические преступления, и приговором для них были каторжные работы в течение многих лет, а порой всей жизни без права рассчитывать на милосердие.

Из любопытства я приблизился к полудюжине или большему количеству скованных преступников и смог воочию увидеть последствия воздействия цепей. Там, где их цепи терлись о запястья, они наверняка причиняли страшную боль, в то время как у других плоть под оковами была столь черной, что начиналось гниение.

Я не мог видеть их ноги, поскольку тяжелая, чрезвычайно грубая обувь скрывала плоть, но по внешним признакам можно было судить о том, что лодыжки ужасно раздуты. От рук преступников к ногам вела двухфутровая цепь, которая давала некоторую свободу рукам, но запястья были соединены между собой кожаным ремнем так, чтобы обе руки постоянно оставались в одинаковом положении. Каторжный труд был гораздо более предпочтителен, чем бездействие в ситуации, когда ты связан таким бесчеловечным способом.

Женщины-преступницы привлекались к менее тяжелому труду, нежели мужчины. В основном они убирались в тюрьмах, готовили пищу и стирали одежду, но я заметил, что некоторые занимались плетением корзин и полировкой кожи. Принадлежность к женскому полу не освободила их от плети и розог. Этот последний инструмент истязания сделан из нескольких связанных вместе коротких, но толстых березовых прутьев, другой же конец оставлен свободным, чтобы повреждать плоть в нескольких местах при каждом ударе.

...Следующим городом на пути Бьюэла стала Тюмень, обе тюрьмы которой «являются низкими кирпичными зданиями, с сильной влажностью и миазмами вследствие болотистого характера почвы, на которой они построены».

Одна из тюрем города, по словам путешественника, используется властями в качестве места предварительного содержания арестованных, вторая же предназначена для размещения заключенных, отправляемых на восток, к местам ссылки. Не остался без внимания американца и Томск:

Добрые местные благотворители создали недавно школу для заключенных и их детей, но лишь немногие пользуются возможностью учиться, которая им предоставляется. Поначалу я не понял причину этого. Заключенные, содержащиеся в Томске, осуждены в основном за мелкие преступления, срок наказания за которые не превышает четырех лет. Эти преступники из числа неграмотных, которым противно учение, и они не умеют ничего, кроме как отбирать бумажники, грабить ничего не подозревающих людей и нападать на женщин.

Несомненной удачей пытливого путешественника стала бы встреча с героями книги — ссыльными, идущими к месту отбывания наказания. Он надеялся встретить конвой заключенных, и в окрестностях Томска ему удалось нагнать один из таких. О конвое Бьюэл пишет так:

Я хорошо пообщался со старшим надзирателем конвоя, дав ему подарки, например флягу, привезенную с собой для чрезвычайных ситуаций, к которым я приравнял нынешнюю. В течение некоторого времени я общался с ним через переводчика. Он не был расположен много рассказывать о заключенных, однако, когда фляжка опустела, стал более разговорчивым, и я начал вытягивать из него информацию для книги. Под воздействием алкоголя, который теперь овладел им, он выразил безразличие к комфорту своих заключенных, что характерно для отношения российской аристократии к крестьянству.

Было нетрудно заметить, что изможденные преступники страдали от усталости, хотя мне и пояснили, что они отправляются в путь через день, отдыхая на постоянных дворах и посещая церкви. На этот счет у меня есть сомнения, ведь какова вероятность, что какой-либо закон будет работать в Сибири?

Мне показалось, что офицеры конвоя, если они желают отдохнуть, например, выпив по дороге, останавливаются на один или несколько дней, но если они намерены продвигаться быстро и это служит их собственным целям, преступники вынуждены продолжить свой марш независимо от испытываемой усталости. По сути, офицер, с которым я разговаривал, подтвердил эту догадку.

Конвой сопровождали три медицинские повозки, чтобы везти тех, кто больше не мог идти, однако офицер сказал мне, что они используются лишь в крайних случаях, «когда мужчина или женщина отстает и уже не может держаться на ногах, в других случаях помогает плеть». Это демонстрирует, какие жесткие меры порой используются для принуждения ссыльных двигаться, когда они едва могут передвигать ноги. Я предполагаю, что многие предпочли бы симулировать болезнь, чтобы ехать на повозке, если бы не жестокая реакция охраны.

Когда я ехал рядом с офицером, мое внимание привлек человек, который покачивался, а лицо его было землисто-серым, он словно пытался заставить себя потерять сознание. Он был бесчеловечно скован, и каждый его шаг сопровождался грохотом цепей. К его скованным запястьям тянулась более тяжелая двойная цепь, которая, в свою очередь, соединялась с огромными железными оковами на его лодыжках. Вес, который он должен был нести, составлял не менее тридцати фунтов, и хотя я в то время не мог наблюдать эффекта от воздействия на людей такого веса, это все же вызывало сочувствие.

Именно поэтому я предпринял попытку узнать, какие проблемы у бедняги с его конечностями. Чтобы этого добиться, я прибег к небольшой хитрости, в которой мне помог Шлетер (переводчик Бьюэла. — А. Т.). Я знал, что на следующей станции будет последняя остановка перед Красноярском. Наполнив свою флягу вторично, я пошел к офицерам охраны и дал им отхлебнуть столько, сколько они хотели. После нескольких приятных слов в их адрес они уже были благосклонно ко мне расположены. Затем я вернулся к старшему надзирателю и дал ему полную флягу, после чего начал рассуждать о заключенных, а в особенности о ссыльных, заявив, что с ними нужно обращаться сообразно их преступлениям. Если человек совершил убийство, ему ведь нельзя дать больше боли, чем он причинил своей жертве, и я уверен, что плеть — это удачное наказание, а оковы на ногах заключенных слишком легки и было бы хорошо, если бы они были потяжелее. Эта длинная тирада возымела эффект, и офицер согласился с моими доводами, признавая их правоту.

— Некоторые из этих людей, — сказал он, — негодяи, достойные быть поджаренными на медленном огне, и я доволен, что они будут помнить меня.

После такого ответа я попросил его о разрешении исследовать одного или нескольких преступников на следующей станции — тех, кто, по его мнению, заслужили свое наказание. Я был рад получить его согласие и, когда на станции Балай под Красноярском мы остановились на час, обследовал беднягу, которого заметил ранее, а также одну женщину, которая передвигалась с большим железным воротником на шее, от которого к ее запястьям тянулись цепи. Эти двое были приведены в отдельную комнату на станции, чтобы не вызвать подозрения других заключенных и охранников.

Когда мы сняли с человека оковы и войлочные ботинки, я увидел зрелище, которое не приведи господь увидеть снова. Я не знаю, с чем сравнить его состояние, разве что с результатом пыток испанской инквизиции. <...> Плоть была ушиблена жесткими кандалами, а отек вызвал медленное истирание мест ушиба до тех пор, пока лодыжки не стали напоминать ноги человека на последней стадии проказы, когда плоть чернеет и начинает отслаиваться от костей.

Такого зрелища я никогда прежде не видел и, надеюсь, больше никогда не увижу, но в дополнение к страданиям, которые эти ужасные кандалы причинили ему, запястья ссыльного были в состоянии почти столь же плачевном. Его сапоги, конечно, несколько усугубили травмы лодыжек, о которые терлись кандалы. Однако и на его запястья оказывалось все возрастающее давление, поскольку он перекладывал на руки почти весь вес, чтобы снять напряжение с ног.

Сострадание к его боли довело меня до слез, и, когда охранник отвернулся, я незаметно сунул в карман бедняги десять рублей. Я понимал, что эта небольшая сумма может принести ему большие удобства или позволит оплатить место в медицинской повозке. Сказанное им «Благослови тебя Бог» было исполнено такой душевности и благодарности, что позже, тысячу раз вспоминая это, я жалел, что не дал ему вдвое больше. Впрочем, помимо отданных ему денег, я заплатил начальнику пять рублей, чтобы бедолаге сделали перевязку.

После осмотра мужчины была вызвана женщина, и, хотя ее состояние было жалким, сравнить его с состоянием мужчины было никак нельзя. Ее запястья оказались сильно изрезаны и кровоточили, но наибольшие страдания причинял железный воротник, который вызывал ушибы шеи, а когда его сняли, уменьшилась испытываемая ей боль. Я отдал офицеру еще пять рублей, и он согласился, чтобы женщина въехала в Красноярск без кандалов. Но пусть читатель не думает, что во всей партии заключенных страдали только эти двое, ведь рядом с ними находилось более шестидесяти мужчин и женщин. Двое выбранных мной для изучения не были исключительными, они представляли лишь образец того, какие травмы получают ссыльные, преодолевая пешком расстояние свыше двух тысяч миль.



A CONVALESCENT PRISONER IN IRONS.

#### Выздоровливающий заключенный в кандалах



Помимо этих несчастных, вместе с ними шла почти сотня измученных женщин с детьми, которые по собственному желанию решили сопровождать своих мужей или отцов в ссылку. Некоторые из женщин несли в заплечных сумках крохотных младенцев, как делают в Индии, поскольку из-за усталости постоянно нести ребенка на руках невозможно, как бы мать его ни любила. Я раздал несколько рублей тем, чей вид показался мне наиболее несчастным, но эти небольшие подарки лишь усилили жалость к ним, ведь я давал одному, а не другому, который тянул ладони и горестно смотрел на меня, но не получал ничего.

Одна из наиболее жутких картин предстала перед американцем в Красноярске, где в единственной тюрьме, помимо местных преступников, содержались ссыльные, отставшие от конвоя по болезни. Бьюэл, отмечая плохое состояние заключенных, пишет:

Из ста в двадцати двух узников тюрьмы, когда я ее посетил, пятьдесят один был безумен. Меня не удивляет, что столько ссыльных сходят с ума, ведь только самые грубые и сильные могут вынести несчастья, через которые проходят ссыльные.

В тюрьме я вошел в одну из камер, где содержался человек, с которым жестоко обращались во время его движения в ссылку. После того как он был оставлен в тюрьме, его состояние улучшилось, и через какое-то время он уже был способен сидеть и передвигаться. Но самое удивительное обстоятельство состоит в том, что по прибытии в тюрьму заключенный был закован в цепи еще более тяжелые, чем те, которые я описывал ранее. И они с него больше не снимались. В это трудно поверить, но я получил возможность своими глазами увидеть несчастного, все еще закованного в такие цепи.

Это было самое явное доказательство их использования. Он сидел на неудобном стуле, что я потом зафиксировал в гравюре. Его талию опоясывал железный пояс шириной два дюйма и толщиной почти в половину дюйма, к которому крепились тяжелые цепи, соединенные с железным воротником на его шее и огромными кандалами на ногах. Эти кандалы, должно быть, весили не меньше двадцати пяти фунтов и крепились у него на лодыжках. Это было грустное зрелище, и я даже не стал осматривать его лодыжки, понимая, что увижу там повреждения, ничем не отличающиеся от тех, что мне довелось недавно видеть на станции.

Продолжив свое путешествие, недалеко от Енисейска Джеймс Бьюэл посетил одну из шахт, в которой использовался труд преступников, описав увиденное так:

Сибирь, бесспорно, более богата золотом и серебром, чем Калифорния, Колорадо, Невада или Нью-Мексико. Она уже сейчас производит больше золота, чем какая-либо другая страна, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается, и с каждым годом добыча лишь возрастает. <...> Основные золотые рудники в Сибири расположены в районе Енисейска, Иркутска, Канска, Кары, Нижнеудинска, и вдоль реки Лены — несколько из них, как мне сказали, гораздо более богатые, чем все, ранее открытые в Сибири. Есть также очень большой золотой рудник на реке Витиме в районе Байкала, золота в котором ежегодно добывают почти на 3 000 000 долларов.

Енисейский золотой рудник расположен в нескольких милях от города, и мы добрались до него при помощи нашей повозки. Дорога шла по ужасной местности, требовалось пересечь несколько ручьев, которые были так глубоки, что днище нашего транспортного средства промокло. Достигнув шахты, я



был несколько удивлен, увидев раскопанный прииск. Я предполагал, что найду здесь преступников, работающих глубоко под землей, на примере которых смогу наблюдать результат долгого нахождения без солнечного света. Однако, даже не сделав этого, смог засвидетельствовать множество особенностей труда заключенных в горной промышленности Сибири.

Здесь были проведены серьезные раскопки, но использовался труд не более чем 400 рабочих, четверть из которых была наемными работниками — преступники, которые отбыли свое наказание, но остались здесь, потому что не могли накопить достаточных средств для возвращения в Россию или по иным причинам.

Эти шахты, как большинство других в Сибири, разрабатываются частными компаниями или капиталистами, которые берут преступников у правительства в наем. Подобная система действует довольно давно и нацелена на постоянную, непрерывную работу шахт.

Горная промышленность в Енисейске осуществляется примитивным способом. Большой цилиндр со множеством отверстий занимает место промывочного станка, как это было в первые годы золотодобычи в Калифорнии. В этот вращающийся цилиндр помещаются камни и порода, а также заливается вымывающая золото вода. Добыча небольшая, но чиновники осматривают каждый цилиндр и отправляют властям отчеты об их содержимом. Золотые самородки и мелкая пыль отправляются в Иркутск, где принимаются в работу. Транспорт с ними посылают из Енисейска четыре раза в год, неизменно под охраной казачьего караула, дабы защитить сокровища от попадания в руки дорожных грабителей.

Я стал свидетелем трудной работы на руднике, что можно заметить и при посещении любой колонии в Соединенных Штатах. Я видел нескольких мужчин, прикованных цепью к тачкам, и других, с цепями на запястьях и лодыжках, но мне не показалось, что они слишком страдали. Позже мне сообщили, что шахтой возле Енисейска управлял очень гуманный и добродетельный капиталист, отношение которого к рабочим исключительно внимательное.

Во время поездки по Сибири Джеймс Бьюэл повстречал немало ярких, колоритных людей, но одна из наиболее важных встреч произошла в Иркутске, где состоялось знакомство с другим путешественником, мистером Гансоллисом. За несколько месяцев до встречи с Бьюэлом Гансоллиса занесло на Сахалин, где он жил среди местных ссыльных, а поскольку Бьюэл не мог попасть на остров, крупицы информации о Сахалине были ему крайне важны.

Вот каким предстал рассказ Гансоллиса в обработке мистера Бьюэла:

После приобретения этой пустынной территории, произошедшего в царствование Александра II, население было обложено налогом и открыто несколько шахт. Порт Дуэ, расположенный на побережье, представляет собой военный форпост и самое важное место на острове, где находится пять тюрем, представляющих собой небольшие здания, в которых собрано около 2 000 ссыльных. Зимой все замерзает и заключенным трудно выжить даже при умеренном холоде. Обморожение рук и ног здесь является распространенной проблемой.

Из Дуэ ссыльных распределяют по различным частям острова, как и предписано. На посту стоят 500 охранников, чья бездеятельность и удаленность от общества делает их существование едва ли менее несчастным, чем у изгнанников, которых они охраняют. Примерно в ста милях к югу от Дуэ — еще один пост, который называется Корсаковск, где расквартирован небольшой отряд солдат, чье одинокое, неизменное житье не радует даже вид судов снабжения, которые приходят в Дуэ дважды или трижды в год.

Внутри охраняемого периметра находятся две шахты, на которых трудится большая часть заключенных. Однако уголь залегает так близко к поверхности, что все осужденные, занятые на этих работах, к счастью, избежали ужасов глубокой добычи. Их еще не принуждают спускаться вниз, в темные пещеры, навсегда уходя от благословенного солнечного света. Однажды это случится, а пока они находятся в шаге от мрачной меланхолии.

Иногда кажется, что охранники на Сахалине ведут себя более варварски, чем в Каре. Кнут и «скорпион» используются порой без всякой на то причины, а злобные охранники испытывают удовольствие, наблюдая за страданиями людей, и выплескивают нерастрченную силу, опуская плети на спины заключенных. <...> Несомненно, наказания осужденных на Сахалине более жестокие, чем в каком-либо исправительном учреждении Сибири.

Вырваться из этих мест практически невозможно, хотя было бы сравнительно легко выйти за пределы охраняемой территории, туда, где лишь дикие животные. Но в этих местах беглецу пришлось бы преодолеть 200 миль пешком прежде, чем достичь побережья, откуда есть шанс добраться на материк. Разве что самый отчаянный и дерзкий попытался бы сбежать при таких условиях. Зафиксировано несколько случаев таких побегов, об одном из которых я вам коротко расскажу.

Случилось так, что двое осужденных обезоружили охрану и, вооружившись пистолетом и топором, двинулись к цивилизации. Голодные и замерзающие, они встретили огромного сибирского медведя, которого убили, обеспечив себя пищей. Помимо опасности голода, беглецов могут настигнуть охотники, которым платят по три рубля за голову каждого беглеца, мертвого или живого. Этой варварской охотой за головами занимаются в основном гиляки, которые рыщут в поисках осужденных, намереваясь не схватить их, но застрелить, как диких зверей. Эта охота на людей ведется поблизости от мест содержания заключенных, и многие из них не помышляют о побеге, боясь быть убитыми в нескольких шагах от места своего размещения.

Коварные гиляки, подавая заявление о вознаграждении, обязательно расскажут подробную историю о том, как они настигли своих жертв, отчаянно пытавшихся скрыться. Доказательством для оплаты служит отрубленная голова осужденного. Так, убив ссыльного на Сахалине, гиляки несут его голову губернатору, но, поскольку не у всех ссыльных есть клеймо, легко можно выдать за беглеца обычного ссыльного или допустить ошибку.

Наиболее известной и недоступной для посещения была тюрьма в Николаевске, о которой Бьюэл пишет:

Я очень хотел найти кого-нибудь, кто посещал Николаевск и был знаком с этой знаменитой тюрьмой. Когда я рассказал об этом желании Гансоллису, он заверил меня, что не составит труда найти такого человека в Иркутске или любой другой части Сибири. Когда мы встретились на следующий день, он уже нашел трех человек, хорошо знакомых с Николаевском, один из которых был там в ссылке несколько лет тому назад. С помощью Гансоллиса и Шлетера я получил от них много информации об этой жуткой тюрьме, которая, по некоторым разговорам, страшнее, чем Кара.

Николаевск расположен недалеко от восточного побережья Сибири, на краю Татарского залива и напротив северо-западного побережья Сахалина, а точнее, в устье реки Амур. Он насчитывает около 5 000 жителей и имеет несколько действительно отличных зданий. Мои информаторы опровергли ранее слышанные истории о том, как там обращаются с заключенными, и заверили меня, что вера в жестокость николаевских надзирателей возникла потому, что многие заключенные прибывают в тюрьму сухопутным путем. Здесь заканчивается их пеший маршрут до Сахалина длиной в 4 000 миль, после чего они на-

столько измождены из-за тяжелых кандалов и полученных в дороге страданий, что готовы воспринимать эту финальную точку своего пути не иначе как Аид.

Это впечатление также распространяется на посетителей, потому что ни в каком другом месте нельзя увидеть столь изможденных, печальных людей, почти половина из которых безумны. Это также обычное зрелище в николаевских больницах, где у заключенных кожа на запястьях и лодыжках истерта тяжелыми цепями столь сильно, что обнажены воспаленные сухожилия.

Климат в Николаевске зимой ужасно суров, и из-за несовершенства защиты тюрем от морозов многие осужденные умирают из-за холода. И все же есть нечто человеческое в надсмотрщиках этой тюрьмы, в отличие от некоторых других мест в Сибири. Страдания заключенных здесь призвана уменьшить особая комиссия, участникам которой правительство доплачивает, если они будут доброжелательны, и порой эти суммы больше основной зарплаты.

Когда ссыльные пешком доходят до места отправки на Сахалин, их перебрасывают в порт Дуэ, откуда распределяют по шахтам. Очень часто случается так, что вместо того, чтобы идти на Сахалин, осужденные пытаются бежать из Николаевска, иногда большими отрядами, иногда группами или поодиночке. Прежде на востоке сибирские губернаторы предлагали награду за голову каждого беглеца, как это практикуют на Сахалине. Во время распространения этой практики некоторые местные племена прекратили ловить рыбу и охотиться, занявшись охотой на изгнанников. Те, у кого было оружие, летом вели процветающий бизнес, поскольку в летнее время беглецов особенно много. Охотники за головами ездили верхом на лошадях и вокруг талии носили широкий пояс, к которому привязывали головы своих жертвы. Когда эти язычники находили заключенного, они не щадили его. Стреляли, ранив и сбивая с ног, затем бросались на него и огромным ножом отрезали голову. Отсеченную голову привязывали за волосы к поясу охотника. С тела снимали всю одежду, которая ценилась, и, даже когда губернаторы отменили денежное вознаграждение, беглецов продолжали убивать лишь для того, чтобы снять с них одежду.

<...> Люди Сибири настолько хорошо знают страдания, которым подвергается каждый беглый изгнанник, что вечером, ложась спать, они оставляют снаружи на подоконнике хлеб и соль, чтобы их мог взять проходящий мимо беглец. Так были спасены жизни многих несчастных.

Одной из последних и самых восточных точек на маршруте Бьюэла стал Якутск, в окрестностях которого находилось в ту пору немало поселений ссыльных. Не могу удержаться от улыбки в адрес путешественника, который уверяет нас, читателей, что, несмотря на близость вечной мерзлоты, здесь можно получить хороший урожай. Кажется, доверчивому американцу рассказали много баек, в результате чего Бьюэл пишет:

Эти «исправительные колонии» обычно состоят из мужчин и женщин, отправленных в ссылку без трудового наказания на рудниках, которые, согласно императорскому указу, обязаны селиться в этой местности. Район возле Якутска удивительно плодороден, несмотря на то, что земля... летом оттаивает лишь у поверхности. Но даже с этими недостатками почва дает в сорок раз больше, чем в некоторых иных районах, таких овощей, как капуста, картофель, редис, репа и огурцы.

Император Николай очень хотел поселить здесь трудолюбивых людей и с этой целью издал указ, согласно которому мелкие правонарушители должны были расселиться по всей Сибири и колонизировать самые плодородные земли, в том числе якутские. <...> Эти меры привели к большому заселению якутской провинции, чем иных, и население составило около 250 000 человек. Дома ссыльных на Лене сделаны из сушеного навоза. В городе Якутске есть

исправительные учреждения, которые довольно комфортны. Они возведены из обтесанных бревен, соединенных вместе «ласточкиным хвостом» и обмазанных глиной. Эти кварталы, однако, предназначены только для временного содержания заключенных и, следовательно, называются этапными тюрьмами. Они редко содержат более сотни осужденных одновременно, так как прибывшие быстро распределяются по различным местам в провинции.

Хотя если осужденный прибывает в сопровождении своей семьи, ему оказывают помощь в течение первых трех лет со стороны правительства, которое платит ему суточные около десяти центов. Вдоль Лены эти каторжники в основном занимаются рубкой леса, рыболовством и охотой. <...> В якутской провинции есть также колония политических ссыльных, расположенная в небольшом городке на реке Оленек, который называется Вилюйск. Его населяют те, чье преступление находится под сомнением. Многие из них вызваны в Россию для помилования, другие же ждут отправки в иные районы. Поэтому в один месяц население города может составлять около двух тысяч человек, а в следующий — менее пятисот. Климат в Вилюйске ужасно суров, даже холоднее, как говорят некоторые, чем в Якутске, но, к счастью, ссыльные там не задействованы в работах, кроме летней рыбалки, и находятся в тепле.

Рассказывая о тех местах, куда не удалось проникнуть, Бьюэл опирался на источники, вызывавшие его доверие, обращался к книгам упоминавшегося выше Джорджа Кеннана, Роберта Лемке и других авторов. Порой, критикуя те или иные тезисы вышеназванных авторов, Бьюэл с достоинством и тактом позволял себе цитировать предшественников.

Нерчинские шахты заслуживают особого упоминания из-за их размеров и репутации, которую они имеют. Это место труда и мучений. Автор книги «Русские сегодня» пишет: «Шахтерами становятся худшие преступники, и их наказание равносильно медленной смерти, ибо это точно убьет их за десять лет и разрушит их здоровье задолго до этого. Если у осужденного есть деньги или влиятельные друзья, ему лучше всего использовать время между его осуждением и транспортировкой в Сибирь для покупки “ордера”, по которому он отправится на более легкую работу на поверхности, в противном случае он неизбежно будет отправлен под землю и никогда больше не увидит небо, пока его не вытащат, чтобы он умер в лазарете».

Выдающийся немецкий писатель Роберт Лемке посетил несколько шахт в Сибири по официальному разрешению правительства России, среди прочего он побывал в Нерчинской шахте.

Об обращении с осужденными говорится в статье, опубликованной в «Современном обозрении» в сентябре 1879 года, написанной господином Лемке: «Вход в помещения шахты едва достигал человеческого роста, смутно видимый в свете масляной лампы. Я спросил: “Где мы?” Оказалось, что это “спальня осужденных” — галерея, ныне служащая для них убежищем. Эта подземная гробница, не освещаемая ни солнцем, ни луной, называлась спальней комнатой. Подобные ниши были высечены в скале, и здесь, на кушетках из влажной, полусухой соломы, покрытой мешковиной, несчастные страдалцы должны были отдыхать от тяжелой дневной работы. В каждой камере закреплены в стенах железные кольца, чтобы привязывать заключенных, как свирепых собак. Ни окон, ни дверей. Нас провели через другой проход, где горело несколько ламп и конец которого тоже был перекрыт железными воротами, за которыми находилось большое помещение, частично освещенное. Это была шахта. Оглушительный шум кирок и молотков звучал в моих ушах. Здесь я увидел сотни сгорбленных фигур с мохнатыми бородами, болезненными лицами, покрасневшими глазами, одетых в лохмотья, — одни босиком, другие в сандалиях, и у всех ноги скованы тяжелыми

цепями. Не слышно песен и разговоров, лишь время от времени застенчиво поглядывали они на меня и моего спутника».

Господин Лемке также пишет, что в то время, пока офицер отвечал на его вопросы, заключенные смогли отдохнуть. Офицер взволнованно сказал им: «Отдыхайте!» Осужденные должны постоянно работать. Им нет покоя, они осуждены на вечный принудительный труд, и тот, кто однажды входит в шахту, редко покидает ее.

Я прочитал эти заявления прежде, чем покинуть Америку, и теперь, находясь в состоянии проверить их точность, решил воспользоваться преимуществом. Господин Гансоллис был все еще со мной и, после того как я сообщил ему о своем желании, взялся помогать в поисках тех, кто знал об обращении с осужденными в Нерчинске. Нам не пришлось долго искать, ибо в короткое время мой друг встретил торговца, дворник которого — домашний носильщик — был каторжанином на вышеупомянутых шахтах в течение нескольких лет. Этот молодой человек, однако, оказался очень глупым, поэтому я не спешил доверять его рассказам, но он хотя бы направил меня к другим ссыльным, отбывавшим срок в Нерчинске. Таковых оказалось шестеро, и трое из них были достаточно умны, чтобы понять мои мотивы, в то время как трое остальных отнеслись ко мне настолько подозрительно, что я не смог ничего от них узнать.

От троих, с которыми я свободно общался, была получена ценная информация, которая настолько удачно совпадала со всеми другими описаниями места, что я представляю ее здесь, абсолютно уверенный, что эти рассказы не содержат искажений. Один из троих просидел восемь лет в Нерчинске за участие в польских беспорядках 1863 г., другой провел десять лет на каторге за связь с нигилистскими мятежниками в Кракове, которую, однако, он отрицал, а третий сидел двенадцать лет за сожжение государственной собственности в Ярославле. <...> Что касается отношения к себе и другим, находящиеся под стражей в Нерчинске имели возможность говорить истинную правду.

Шахты в Нерчинске разрабатываются путем раскопок, проводимых у основания горы. Шахты почти триста футов в глубину, и из-за предполагаемого существования вулканических пожаров возле туннелей очень тепло. В этих туннелях, которые разветвляются по большой территории, как правило, пятьсот осужденных занимаются добычей серебра. Примерно четверти из этого числа никогда не разрешают появляться над землей, тогда как они обречены на тяжелый труд. Если они наносят ущерб, то подвергаются обращению, не предусмотренному их приговором. Эти несчастные не только обременены тяжелыми кандалами на руках, шее и лодыжках, изуродованных ношением грубых колодок, которые никогда не снимаются, но их задачи распределены



Закованный каторжник на этапе



совершенно непропорционально их способностям, и все же несчастные должны выполнять их, а иначе подвергнутся таким строгим наказаниям, какие могут вытерпеть немногие.

Болезнь или истощение не является для них оправданием, и они должны продолжать работать наравне со здоровыми.

Те, кто перемещает тачки, прикованы к ним, а те, кто владеет киркой, обычно прикованы к ближайшему камню, и поэтому никто не может уйти в другое место и трудиться там. В шахте есть специальная галерея, которая используется только для наказания. Она снабжена кольцами, закрепленными в скале, и устройством, какие в наших тюрьмах называют «Вдова».

Когда преступник становится объектом наказания, он приводится в эту галерею и либо привязывается запястьями к кольцам, либо кладется на балку, к которой привязываются его кисти и лодыжки. Привязанным таким образом часто мучают «скорпионом». Этим ужасным орудием пытки наносятся от двадцати пяти до пятидесяти ударов. Привязанные к кольцам получают от ста до двухсот ударов кнутом, которые так рассекают спину, что это трудно описать. Использование этих инструментов наказания очень часто приводит к смертельному исходу. Шокирующая жестокость тех, кто применяет такие якобы «корректирующие» средства, дополнительно иллюстрируется их отказом заботиться о своих жертвах после применения безжалостного наказания. К жертвам не испытывают никакого сострадания. Когда они покидают галерею, их спины кровоточат, тела дрожат в агонии, а ноги настолько ослаблены, что часто отказываются держать их. Бедняг же загоняют или оттаскивают обратно, чтобы они и дальше выполняли свою работу.

Многие из этих страдальцев возвращаются обезумевшие от боли, но все же их глупые высказывания часто заставляют их снова идти в галерею за двойным наказанием — или они могут быть застрелены свирепой охраной. Вместо кроватей, на которые можно уложить израненные тела этих бедных заключенных, имеются только неровные полы шахты, в которой они работают, — ничего, кроме камней, ни дивана, ни подушки, ни покрывала. Нечем перевязать раны, нечем облегчить боль. Это приводит к нагноению ран, которое усиливается из-за потоотделения до тех пор, пока не начнется лихорадка и жертва не упадет в беспамятстве, получая вечный покой.

Постоянный труд в шахтах без единой возможности увидеть благословенный свет дня, пребывание внизу, во влажной пещере, где дышат горячими металлургическими парами, оказывает страшное влияние на осужденного. Первые изменения заметны в волосах, которые становятся более грубыми, потом появляется бледность кожи, которая впоследствии становится тусклой, пепельно-серой, глаза теряют блеск и начинают западать, щеки делаются впалыми, и плоть высыхает до тех пор, пока после нескольких лет труда все тело не становится хрупким, мышцы атрофируются, и голос переходит в хриплый шепот. Губы становятся тонкими, как бумага, а пальцы словно вырастают вдвое, но это лишь кажется, просто плоть между ними высохла.

Они становятся призрачными фигурами, видимыми в мерцающем свете чадающих факелов, отбрасывающими танцующие тени на стены тоннелей. Гротескные, пробуждающие в наблюдателе ассоциации с измученными душами, истязаемыми бесами беззакония. Это и впрямь место мучений, установленных и поддерживаемых в таком духе, который можно описать стихами: «Человек бесчеловечен по отношению к человеку...»

Прежде чем закончить эту самую болезненную для меня тему, я должен упомянуть смягчающий факт, что не все сибирские тюрьмы существуют на нечеловеческих принципах, которые отличают Кару, Нерчинск и Дуэ. В то время как почти все заключенные, отправленные в изгнание российской властью, получают более жесткое обращение, чем надлежит, иногда можно встретить в самых пустынных районах Сибири губернаторов, старающихся облегчить бремя ссыльных.

Всему миру приятно будет знать, что растет на сибирской почве из семян доброты, разбросанных немногими милостивыми надсмотрщиками, древо милосердия, оказывая полезное влияние, которое в конечном итоге вытеснит зверства и освободит Россию от жестокости, за которую ей ныне стыдно перед миром.

\* \* \*

Я не берусь судить о достоверности сведений, приводимых путешественником. Обладая незаурядным писательским талантом и опытом, Бьюэл вполне мог придумать отдельные истории в угоду читательскому интересу.

Однако если читатели и заподозрят американца в неточности, то виной тому будет скорее непонимание иностранцем некоторых особенностей местной культуры, неверное истолкование слов собеседников и несколько раз переведенная с одного языка на другой субъективная информация.

Вдумайтесь — порой интересующие Бьюэла события доходили до него через третьих лиц, от кого-то, кто знал кого-то, знакомого с кем-то, владеющим нужными сведениями. Затем в работу включался переводчик по фамилии Шлестер, излагая на английском услышанную историю. Путешественник фиксировал сказанное, а через какое-то время отрывистая заметка по воле избирательности памяти и бурной фантазии преобразалась в яркий, почти художественный текст. Прежде чем получившаяся рукопись становилась книгой, ее перечитывал редактор или издатель — а в довершении всего пришел я (человек другой эпохи, к тому же не носитель языка) и взялся переводить творчество Бьюэла на русский.

Неточностей, оговорок и прочего в тексте наверняка много, но главное, что не подделать, не исказить и не отнять, — это индивидуальный взгляд путешественника на историю России, ее настоящее и будущее, на судьбы ссыльных в Сибири, взаимоотношения между людьми. Книга Бьюэла субъективна, и в этом ее прелесть — она фиксирует взгляд образованного американца на события, происходящие в далекой Сибири в его эпоху.

А ведь он мог пойти на поводу у российских властей, которые недвусмысленно намекали, что стоит написать «правдивую» книгу, упирая на то, что «правдивой» она должна быть ровно настолько, чтобы не колебать официальный взгляд на проблему ссылки. Но упрямый Джеймс Бьюэл пошел иным путем — написал то, что считал нужным, получил отказ в публикации книги от разъяренных российских чиновников, которые ждали восторженный памфлет, а получили едкую критику.

Это ли не проявление упрямства, которое и позволило ему сделать книгу такой, какой я ее увидел сто тридцать лет спустя?

О, каторга! О, Бьюэл!



Литературная премия «Иду на грозу»

Яна ЯНУШКЕВИЧ

## МУТАГЕННЫЙ ФАКТОР: КАК В АКАДЕМГОРОДКЕ СПАСЛИ ГЕНЕТИКУ

*В уверенности, что не стены здания и не бюджет создают научные институты, а идея и люди, я спокойно смотрю в туманное будущее.*

Николай Кольцов

Безмятежным летним днем 195\* года от ворот одного из домов в поселке членов политбюро на Ленинских горах стремительно рванула с места черная эмка. Сергей Аджубей и Рада Хрущева возвращались в свою московскую квартиру после скандала, произошедшего между генсеком и его дочерью из-за разных взглядов на генетику. Хрущев покровительствовал Лысенко, считал его «настоящим мичуринцем», способным кратно увеличить урожайность сельхозкультур и решить продовольственную проблему во всей стране. Рада Никитична пыталась «донести истинное положение вещей». Заметив благодушное настроение отца, она в очередной раз начала объяснять невыполнимость обещаний Лысенко: пшеница не может переродиться в рожь, а капуста в брюкву. Но все оказалось тщетно. Хрущев пришел в ярость. «Мухоловы! Морганисты! Фашисты! Ненавижу!!!» — кричал генсек, пока Аджубей спешно собирали вещи.

«О том, что именно из-за генетики отношения между Радой и Никитой Сергеевичем портились не один раз, нам рассказал Никита, внук Хрущева, когда однажды приехал в Новосибирск», — вспоминает академик Владимир Шумный<sup>1</sup>. Он свидетельствует, что Рада Хрущева неоднократно пыталась помочь генетикам и повлиять на отца. Но все было тщетно: «Хрущев, малообразованный человек, верил в коммунистическую партию как в господ бога и образованных людей патологически ненавидел. Даже само слово “коммунизм” произносил неправильно. “Коммунизм”, так у него получалось. Ученых он мог терпеть только в случае очевидной практической пользы».

---

<sup>1</sup> Шумный Владимир Константинович — советский и российский генетик, академик РАН. С 1986 по 2007 г. — директор Института цитологии и генетики СО РАН.

Спустя более чем 60 лет после скандала в доме Хрущевых мы сидим у Владимира Константиновича в его директорском кабинете в ИЦиГе<sup>2</sup>. Институт был создан в конце 50-х, в момент сильнейших гонений на генетиков. Сегодня Владимир Константинович — ученый с мировым именем, под его руководством институт добился значимых в мировом масштабе результатов, и знаменитая доместикация лис Дмитрием Константиновичем Беляевым — лишь одно из множества достижений. А тогда он был студент биофака МГУ, попавший в новый институт с легкой руки Николая Ивановича Дубинина.

Создание института и прорыв советской генетики — пример по-советски успешного коллективизма, противостоящего советскому же невежественному руководству. Об Академгородке, экспериментах Беляева есть множество публикаций в самых разных изданиях. Если бы можно было построить математическую модель научного сообщества, способного противостоять — и весьма успешно! — невежеству властей, то за основу стоило бы взять историю ИЦиГа. Но я снова задаю вопросы, кто виноват, и как удалось выстоять, и на что пришлось пойти ради общего дела.

### Дерзость и надежда

*Тупик — это отличный предлог,  
чтобы ломать стены.*

А. и Б. Стругацкие, «Далекая радуга»

Фактически приговор генетикам подписал еще Сталин по итогам сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. Ученых-генетиков изгнали из институтов, учебники и книги исчезли с полок библиотек. На последующие два десятилетия генетика оказалась под запретом. Тем не менее в стране появился целый институт, специализирующийся на генетических исследованиях.

Если инициаторами создания Академгородка были академики Лаврентьев<sup>3</sup>, Христианович<sup>4</sup> и Соболев<sup>5</sup>, то инициатива создания института генетики — целиком заслуга Игоря Васильевича Курчатова. «Первоначально в постановлении правительства [о создании научного центра в Новосибирске] наш институт не был указан, — рассказывает Шумный. — Но поскольку для дальнейшего развития атомного проекта Курчатову нужно было знать о влиянии радиации на живой организм как можно больше, то он уговорил Лаврентьева включить еще один институт, основным направлением которого станет именно радиационная генетика».

Для молодого советского государства радиационная генетика началась с Германа Мёллера, американского биолога, который в начале 20-х годов прошлого века впервые приехал в СССР по приглашению Николая Вавилова. По своим политическим взглядам Мёллер был левак, «приверженец дела социальной революции», он считал, что СССР движется к бесклассовому обществу, где ге-

<sup>2</sup> ИЦиГ — Институт цитологии и генетики СО РАН, организован в числе первых десяти институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 г.

<sup>3</sup> Лаврентьев Михаил Алексеевич — советский математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР и новосибирского Академгородка, академик АН УССР, академик АН СССР и вице-президент АН СССР.

<sup>4</sup> Христианович Сергей Алексеевич — советский и российский ученый в области механики. Академик АН СССР.

<sup>5</sup> Соболев Сергей Львович — советский математик, занимавшийся математическим анализом и дифференциальными уравнениями в частных производных. Герой Социалистического Труда. Лауреат трех Сталинских премий и Государственной премии СССР.



нетические и евгенические исследования будут проводиться на новом уровне. В Советском Союзе Мёллеру понравилось, и в 1933 г. он перевез в Ленинград жену с ребенком и начал работать в лаборатории проблем гена и мутагенеза. В итоге именно за начатые в СССР исследования мутагенного влияния радиации на живые организмы Мёллер получил Нобелевскую премию. Но в конце 30-х годов Мёллер, предупрежденный Николаем Вавиловым об опасности, был вынужден спешно покинуть СССР.

В поиске кандидатуры директора для нового института выбор Курчатова пал на Николая Ивановича Дубинина, который тогда заведовал лабораторией радиационной генетики в московском институте биофизики. Он уже тогда был известным ученым, генетиком мирового уровня, и его назначение было абсолютно оправданным. Шумный вспоминает, что Дубинин успел сформировать кадровый костяк института, пригласил заведующих лабораториями и молодых специалистов: «Человек пять студентов взяли из МГУ, включая меня, примерно столько же из Ленинградского университета. Дубинин распределил нас по лабораториям и наметил направления работы».

В Советском Союзе сформировались две научные школы — Николая Вавилова, где изучали генетику растений, и школа Николая Кольцова, посвященная молекулярной генетике и изучению животных. Дубинину удалось привлечь ученых обоих направлений.

«Я начал работать у Юрия Петровича Бирюты, бывшего вавиловского аспиранта. Также в институте работали бывшие сотрудники Вавилова — Александр Николаевич Лутков и Вадим Борисович Енкен, — рассказывает Шумный. — Старший брат Беляева, Николай, благодаря которому Дмитрий сформировался как ученый, был генетиком кольцовской школы. Благодаря Льву Степановичу Сандахчиеву имя Николая Константиновича Кольцова было увековечено в названии нашего наукограда».

Правда, на посту руководителя нового института Дубинину удалось поработать только два года. На пленуме ЦК в 1957 г. Хрущев вдруг со страшной силой обрушился на ученого — он-де мухолов, для практики ничего не делает, надо снимать. Но Лаврентьев все же пошел на высочайший риск и сохранил Дубинина на посту руководителя. Дубинин проработал до осени 1959 г., до того самого момента, когда Хрущев, возвращаясь из неудачной поездки в Китай через Новосибирск, вдруг узнал, что, несмотря на его высочайший гнев, «тот самый мухолов» по-прежнему руководит институтом. Второй раз спасти ученого Лаврентьеву не удалось. Дубинин ушел из института.

Что испытывал Дубинин, в дальнейшем наблюдая стремительный взлет основанного им института? Чувствовал ли он гордость за свою причастность к общему делу? Шумный вспоминает, что после увольнения Дубинин был в институте только один раз. «Я попытался показать ему институт, лаборатории, сотрудников, которых он пригласил, показать, над чем работаем... Но он не пошел. Я снова звал его, но — не пошел».

Дубинину было мучительно тяжело вспоминать события тех лет, свидетельствует журналист «Комсомольской правды» Леонид Репин, взявший у Дубинина интервью в 2017 г. По словам Репина, ученый говорил тихо, «как будто погрузившись в себя» — вспоминал, как в конце 40-х все аргументы ученых потерпели сокрушительное поражение перед пышными, ничем не подкрепленными обещаниями Лысенко накормить всю страну. Хрущев, несмотря на разоблачение культа личности, отношения к генетике не изменил, считая ее «буржуазной лженаукой».



Увольнение Дубинина стало тяжелым воспоминанием для сотрудников института, об этом много говорится в их коллективных воспоминаниях, в книге «Как приручить лису» Людмилы Трут и Ли Дугаткина<sup>6</sup> и других источниках. Несправедливая жертва на пути общего дела. Для Лаврентьева выбор Беляева был логичным решением, поскольку Дмитрий Константинович был замом Дубинина и хорошо знал все его планы.

### Познания извилистой тропой...

*— Если не дурак — значит, у него есть какая-то сложная собственная концепция лысенковской галиматши, — профессор покачал головой. — Значит, он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь... Излечить от заблуждения, вернуть в лоно...*

В. Дудинцев, «Белые одежды»

Новосибирский институт генетики — уникальный пример удачного сопротивления ученых репрессивной государственной политике, сконцентрированной в руках невежественных людей. Спустя десятилетия мы с удовлетворением констатируем: усилиями сотрудников ИГиГ, а также руководства Сибирского отделения АН СССР институт выжил. Более того, генетика как наука полностью реабилитирована и ее роль не подвергается сомнению. Но однозначного ответа, кто же именно был ответственен за разгром советской генетики, до сих пор нет. Лично Лысенко, который с высокой трибуны демонстрировал якобы «достижения мичуринской науки»? Или все же инициатива исходила от необразованных членов ЦК? Несмотря на официальное разоблачение лысенковщины, и сейчас появляются работы, где утверждается, что на самом деле Трофим Денисович — выдающийся ученый, провозвестник современных достижений молекулярной биологии и т. д.

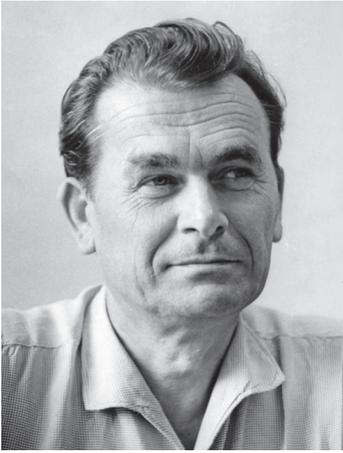
«Так кто виноват?» — этот вопрос я поставила перед Шумным.

Вместо ожидаемых мною беспощадных слов в адрес сталинского любимца Шумный стал объяснять суть тогдашних научных разногласий. «Понимаете, в биологии есть два направления, одно истинное, другое... противоположное, скажем так. Это генетика и ламаркизм. Последнее направление все приписывает влиянию среды — и генов нет, и наследственности нет, только условия среды все формируют. Ламаркизм был развенчан в самом начале XX века. Но до сих пор есть люди, которые его придерживаются... Лысенко был ламаркистом».

Мягкость ответа знаменитого академика меня не устроила: «Послушайте, если Лысенко и его последователи действительно были учеными, то их задачей было установление научной истины. Ученый, обнаружив ошибки в своей работе, должен их признать, чтобы двигаться дальше. Иначе он не ученый, это по-другому называется. Лысенко, выражаясь сегодняшним языком, великолепный пиарщик, даже авантюрист».

Чем больше я давила, тем больше Шумный приводил обстоятельства, которые могли оправдывать лысенковцев. И подытожил: «Да, они могли искренне заблуждаться». «Неужели? — изумилась я. — Лысенко всерьез верил во всю эту чушь, в превращение неживого в живое и т. п.» Мягко, но уверенно

<sup>6</sup> Ли Дугаткин, Людмила Трут, «Как приручить лису (и превратить в собаку)», М., 2019.



**Дмитрий Беляев**

Шумный уточнил свой ответ: «Он вполне мог искренне заблуждаться, надеясь на науку — как на чудо».

Стремясь к справедливости, Шумный отметил, что при личном общении сам Лысенко производил приятное впечатление. «Помню, раз весной в Горках Ленинских мы студентами шли куда-то. Идем, он вдруг останавливается, наклоняется и берет несколько комков земли с делянки. Держит в руке, мнет и задумчиво так говорит: “Нет, еще рано сеять. Почва холодная. Надо дня три-четыре подождать”. Есть такие ученые, которые действительно по-своему чувствуют землю. Она живая для них».

Но и у самого Беляева была не менее удивительная способность понимать процессы интуитивно и целостно, отсюда его многочисленные предвидения. «Из виденных за всю мою научную жизнь тысяч ученых, научных сотрудников, в СССР и за рубежом, — таких, как Беляев, единицы. Это совершенно определенный тип людей. Это фанаты науки, для которых вся жизнь — служение во имя высшей цели», — отметил ученый.

Таким образом, не только Шумный, но и его коллеги, включая самого Беляева, оправдывали Лысенко, считая истинным виновником разгрома генетики лично Сталина. Так, смягчая вину Лысенко, Беляев ссылаясь на раннюю работу Сталина «Анархизм и социализм», где «зеленый марксист» отдавал предпочтение ламаркизму перед дарвиновской теорией. Таким образом, Сталин, принимая решение о разгрома советской генетики, исходил прежде всего из собственных ошибочных научных взглядов, а не фальсификаций Лысенко.

Возможно, оправдание Лысенко новосибирскими учеными-генетиками — тот же самый психологический феномен, что и отмеченный Иосифом Бродским у себя «проклятый дар всепонимания, а следовательно всепрощения»<sup>7</sup>. Вспоминая развязанную против него травлю, Бродский отмечал, что по отношению к самим участникам системы — допрашивающим его следователям, судьям, и даже журналисту, опубликовавшему разгромную статью в отношении него, — он ненависти не испытывает: «Кого я не мог простить, это правителей страны — возможно, потому, что никогда ни с одним не соприкасался».

Все так: гораздо проще считать источником всех бед не своего бывшего соратника, в общем, неплохого парня, а далекого, никогда не виданного товарища Сталина. Тем более что сменивший его Хрущев оказался еще более одиозным в своей ненависти к науке и образованию.

Но если Лысенко — лишь приверженец ламаркизма, то Сталин и Хрущев — только сторонники крайнего прагматизма и суровой целесообразности в трате народных денег. Когда страна не в лучшем положении, то логично поддерживать только сугубо прикладные, нужные именно сегодня народному хозяйству исследования, не так ли?

Пожалуй, справедливости ради стоит обратить внимание на тот факт, что Сталин исходил из обещаний мичуринца «в корне изменить состояние сельского хозяйства», увеличив его продуктивность в неправдоподобно короткие сроки.

<sup>7</sup> Иосиф Бродский, сборник «Меньше единицы».



В стране, обескровленной войной, об этом можно было только мечтать. Сталин, жестко спрашивающий результат, и представить не мог, что обещания Лысенко — несбыточные. «Сталинские соколы» отвечали за свои обещания головой, и проживи Сталин чуть больше — участь Лысенко была бы предрешена. Но на место Сталина пришел Хрущев, в системе ценностей которого ученые с их фундаментальной наукой были на последнем месте. И Лысенко невероятно повезло, он не ответил за ложь, за свои нереализованные обещания, за попытки расправиться с новосибирским институтом и другими учеными.

Но мнение Беляева в отношении Сталина не изменилось даже после того, как всплыл факт заступничества Берии за Вавилова. Об этом Беляеву стало известно в ходе подготовки сборника очерков «Выдающиеся советские генетики», который вышел еще при Брежнев, в 1980 г. Как вспоминает жена ученого, биолог Светлана Аргутинская, письмо Николая Ивановича Вавилова к Берии, написанное в 1941 г. из московской тюрьмы, предоставила Екатерина Тимофеевна Васина<sup>8</sup>.

«Как истинный патриот, он писал, тревожась не за себя, а за Родину, что готов положить все силы, чтобы помочь стране. Ему было обещано ходатайство об отмене смертного приговора и предоставление полной возможности научной работы. Но через три часа после разговора об этом, во время паники в Москве в связи с эвакуацией, его отправили в саратовскую тюрьму, в город, где он работал в юности, где он погиб от пневмонии и голода», — вспоминает Аргутинская.

Таким образом, Николаю Вавилову могла быть уготована участь Сергея Королева — улучшение бытовых условий и создание всех необходимых условий для работы, и в дальнейшем соответствующее признание.

По данным Шумного, за Вавилова хлопотал Прянишников<sup>9</sup>, по просьбе которого Сталин заменил Вавилову высшую меру на пожизненное. «В панике всех узников Бутырки, где он, если не ошибаюсь, сидел, эвакуировали в Саратов. Там — страшный голод начался... Кто с ним сидел, рассказывали... Умирали целыми бараками. Николай Иванович не выжил. Где его могила, неизвестно. Но на входе в саратовское кладбище, где хоронили заключенных, сейчас стоит памятник ему. С Саратовом у Вавилова многое связано, он там начинал свою деятельность, его знаменитая работа «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» написана именно в Саратове. Он вернулся в город, где начиналась его такая стремительная и яркая научная деятельность».

### В чем движущая сила, брат?

— Он уже прошел! — сказал сидевший рядом с ректором человек с лимонной бледностью в узком лице и с огромной синеватой шевелюрой.

В. Дудинцев, «Белые одежды»

Рассуждая с позиций сегодняшнего прагматичного времени (хотя какие времена не были прагматичными?), решение Беляева уехать в Сибирь было чистой воды безумством — равно как и вся затея создания Академгородка. Правда,

<sup>8</sup> Дмитрий Константинович Беляев: книга воспоминаний. Новосибирск, 2002.

<sup>9</sup> Прянишников Дмитрий Николаевич — русский агрохимик, биохимик и физиолог растений, основоположник советской научной школы в агрономической химии.



**Дмитрий Беляев с domestцированными лисами на звероферме экспериментального хозяйства СО АН СССР. Фото ИЦИГ СО РАН**

идею консолидации научных кадров во глубине сибирских руд мог в полной мере оценить такой человек, как Лаврентий Берия, но он к тому моменту уже пал жертвой в борьбе кремлевских группировок за власть. И была большая удача, что Хрущев, ненавидевший интеллигенцию и образованных людей, все же не стал препятствовать развитию фундаментальной науки.

Внешняя сторона жизни Беляева довольно подробно описана. Последние точки над «i» поставил его сын Николай в своем очерке<sup>10</sup>, вышедшем в позапрошлом году. Он рассказывает об отце, казалось бы, буднично, но каждая деталь дышит любовью и живым ощущением личности ученого. «Избежать ненужного пафоса» — так он объяснил свою задачу. Но поскольку наша цель — попытаться определить формулу, позволившую состояться научному прорыву вопреки крайне неблагоприятным внешним обстоятельствам, то наша статья, возможно, ему не понравится. Ибо никакой Академгородок, никакие научные результаты в генетике не могли состояться без служения науке, Родине и человечеству в целом. Это высокие, но верные слова. Единственное, отметим, что герои бронзовеют вовсе не из-за попыток понять и осмыслить их жизнь, а от тоскливой казенности и парадной мишуры. Но взгляните на памятник Беляеву — тем, кто остался продолжать его дело, тухлый официоз явно не свойственен.

Вернемся к мотивам, которые двигали Беляевым. Исходя из воспоминаний современников, он отказался по крайней мере от двух возможностей, вполне благоприятных, если не безоблачных, с точки зрения материальных благ. В дальнейшем он — наравне со многими сотрудниками института — сделает еще один шаг в пользу не самого практичного выбора.

<sup>10</sup> Дмитрий Константинович Беляев. Штрихи к портрету. «Наука из первых рук», 2020, № 1.



О шансах продолжить после войны «многообещающую военную карьеру» пишет в своих воспоминаниях Светлана Аргутина<sup>11</sup>. Перспективы эти, к слову, стали следствием крайне рискованного шага — уйти добровольцем на фронт в первые же дни войны. Для Беляева, ранее нигде не служившего, отправка добровольцем почти наверняка означала верную смерть. Но решение созрело мгновенно. Ученый оставил начатый эксперимент по «изучению наследственных признаков у таких интересных животных, как сибирская лисица» в одном из звероводческих совхозов Тобольска, «собрал нехитрые пожитки и явился в военкомат». Удивительно, но, по свидетельству Беляева, таких, как он, «было в тот день много. Сознание того, что Родина в опасности, как-то сразу сближало совсем незнакомых, соединяло нас в единое целое...»

У Беляева были веские моральные основания быть в оппозиции к власти, а значит, по логике сегодняшних так называемых либералов («так называемых» — ибо к истинному свободолобию не имеют не малейшего отношения. — Я. Я.) по крайней мере остаться в стороне. «Он был из семьи священника, отец сильно пострадал от коммунистов. Однажды в бытность свою студентом Беляеву пришлось даже искать работу, чтобы помочь отцу заплатить начисленные ему налоги. Брата, уехавшего работать в Грузию, арестовали и расстреляли как врага народа», — указывает Шумный. Но в первые дни войны Беляеву, как и миллионам других, мысль «остаться в стороне» даже не в голову не приходила.

Сегодня, когда предпринимается столько попыток переписать итоги Великой Отечественной войны, дискуссии о том, как «было на самом деле», разгораются с новой силой. Показателен ответ монахини матушки Адрианы (в миру Натальи Мальшевой), которая объясняла в интервью «Российской газете» незадолго до своей смерти: «Знаете, я ведь до сих пор себя спрашиваю: ну как такое было возможно? Столько было до войны репрессированных, сколько разрушено церковью! Я лично знала двоих ребят, у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину»<sup>12</sup>.

В итоге ученого зачислили рядовым пулеметчиком и отправили в часть под Москвой. «А в 1943 г. Сталин издал приказ присвоить всем добровольцам с высшим образованием офицерские звания и “использовать по назначению”», — вспоминает Шумный. Он вспоминает, что погоны появились только после Сталинграда, до этого офицеры носили «кубики»: «Беляеву как лейтенанту дали два “кубика” и приписали к создающимся на случай применения немцами химического оружия химико-биологическим войскам. Но он только формально относился к батальону химзащиты, на деле он продолжил воевать в прежнем качестве. Закончил войну он уже майором».

Но в Беляеве всегда чувствовалась офицерская жилка. «Мне кажется, что если бы он не ушел в науку, то стал бы кадровым офицером и достиг бы и на этом поприще значительных успехов», — говорит Шумный.

Беляев продолжил работать в Институте пушного звероводства. Эта отрасль для послевоенного времени была стратегической. До освоения нефтегазовых месторождений Сибири было далеко, и пушнина являлась одной из важнейших статей советского экспорта. Потребности в валюте диктовали темпы развития, новые подходы и научные исследования только поощрялись. В итоге разработанные советскими специалистами технологии, системы кормления и пр.

<sup>11</sup> Дмитрий Константинович Беляев: книга воспоминаний. Новосибирск, 2002.

<sup>12</sup> Игорь Елков, «Повестка о призыве». «Российская газета» от 30.04.2015.



стали признанными во всем мире стандартами. Так, гонимая властями, генетика перебралась из академических институтов на зверофермы.

«В звероводстве без генетики ничего не сделаешь. Чтобы получить мех определенной окраски, надо знать генетические механизмы наследования, как скрещивать. Иначе можно такого наворотить... безнадежно испортишь породу», — говорит Шумный. По его словам, Беляев состоялся как крупный специалист уже к началу войны, его знали по всей стране.

Специалистам пушного звероводства разрешалось вести преподавательскую деятельность, участвовать в конференциях и симпозиумах, готовить научные работы. На фронте Беляев мечтал, если вернется — доведет до конца свой труд «Основы генетики и селекции пушных зверей», проверит на практике свою гипотезу о доместикации лис. Лаборатории пушного звероводства подходили для этого как нельзя лучше. Но идея поехать в Сибирь и там полностью сосредоточиться на научных исследованиях покорила его — несмотря на риск<sup>13</sup>.

Переезд в Академгородок был шагом в полнейшую неизвестность. Сложно было предугадать итог задуманного Беляевым эксперимента. Смелое предположение могло оказаться ошибочным, пополнив копилку неизбежных на пути научного познания отрицательных результатов. Но для отдельно взятого ученого отрицательный результат в генетических исследованиях не сулил ничего хорошего. «Мухолов! Беспольный теоретик!» — возмущенные крики генсека легко преодолевают четыре тысячи километров.

Беляева возможная неудача не остановила — возможно, сказалась его собственная генетика. Сын священника, он знал цену широких путей и прочих соблазнов. Более того, он увлек своей идеей молодую выпускницу, Людмилу Трут. Бросив все, с мамой, ребенком и мужем она вслед за Беляевым также отправилась в далекую Сибирь<sup>14</sup>.

### ...И отвага

*...Знаешь, был такой святой Себастьян. Он тоже отирался. В стане язычников.*

А. и Б. Стругацкие

«Чтобы перспективный ученый согласился уехать из Москвы в Сибирь? Многим эта затея казалась совершенно сумасбродной. Конечно, для этого требовалась определенная психологическая ломка. Но я был глубоко убежден, что найду единомышленников. Ведь в Москве накопилось много ученых, получивших прекрасные научные результаты, но не имевших условий для дальнейшего развития своих идей. В Сибири же они могли рассчитывать на большую самостоятельность, получить людей, помещения, средства — все необходимое для реализации своего потенциала», — вспоминал Лаврентьев<sup>15</sup>. Правда, его планы встретили упорное непонимание со стороны научного начальства. Так, по возвращении в Москву он зашел к президенту АН СССР А. Н. Несмеянову и рассказал ему о сибирских планах. «Несмеянов: “Никто не поедет”. Я назвал

<sup>13</sup> Справедливости ради стоит заметить, что именно зверосовхозы, особенно в первые годы, выручили Беляева, предоставив материальную базу для масштабного эксперимента. К слову, по данным Л. Трут, в ходе исследований было задействовано около 50 тысяч лисиц.

<sup>14</sup> Ли Дугаткин, Людмила Трут, «Как приручить лису (и превратить в собаку)».

<sup>15</sup> Зоя Ибрагимова, «Сибириада академика Лаврентьева». В кн: «Созидатели»: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска». Новосибирск, 2003.



четырех, когда назвал пятого, Несмеянов сказал: “Что вы говорите, а я считал его умным человеком...”<sup>16</sup>

Умный — значит, прагматичный, способный «резво оценить ситуацию», соблюсти собственный интерес в условиях изменчивого политического вектора. Но Лаврентьев сделал ставку на тех, кем движут иные мотивы, нерациональные. Правда, реальность оказалась такова, что очарование романтики быстро испарилось. Показателен опыт помощницы Беляева Людмилы Трут, которой для контроля над экспериментами пришлось зимой ездить по соседним зверосовхозам. Мороз — лютый, ждать транспорта приходилось в неотапливаемых помещениях или вовсе на улице. После одной из таких поездок, когда на станции Сеятьель при минус тридцати пришлось стоять почти час, Трут решила бросить все и вернуться в Москву. К счастью, дома мама и муж в буквальном смысле отогрели ее, и Трут решила продолжить работу.

Более того, Сибирь не спасла генетиков от высочайшего начальственного гнева. «Первые лет пять нас все время пытались закрыть. Только лысенковцы раза три пытались. Постоянно ездили комиссии ЦК, ВАСХНИЛа и т. д. У всех была одна задача — найти какие-то нарушения и закрыть институт. Лысенко этому очень способствовал, тогда он был в силе. Хрущ кричал на всех пленумах: “Слава Лысенко!..” Впрочем, как и Сталин...» — вспоминает академик Шумный.

А нарушений хватало. Одним из главных направлений было изучение материальных основ наследственности, долгие годы подобные исследования в СССР были практически запрещены. Если бы не Лаврентьев, спасти институт не удалось бы. Удивительно, каким образом Лаврентьев мог сориентироваться в далекой от математики отрасли, ведь имидж Лысенко как «настоящего почвенника, настоящего мичуринца» очаровал многих.

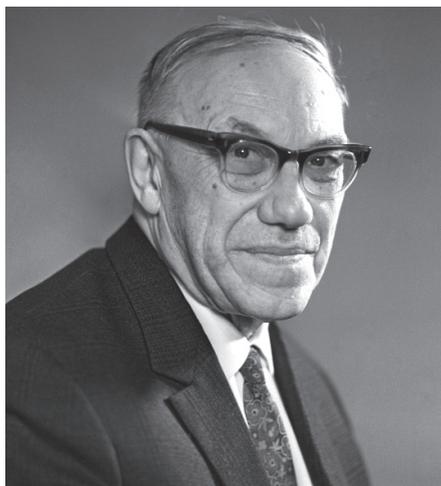
«Именно Лаврентьев был первый наш защитник на всех уровнях», — констатировал Шумный. Он вспоминает, как однажды возвращался вместе с академиками Христиановичем и Соболевым. «У них была какая-то проблема, всю дорогу спорили, как быть. “Министр против, ничего не сделаешь”, так получалось. И Христианович вдруг говорит: “Всё. Идем к Лаврентьеву, он найдет выход”. Соболев засомневался. Христианович убедил его: “Пойми, он ведь кого угодно — раскачает... Он ведь если вцепится, от него просто так не отделаешься...” И они поехали».

Шумный узнал: действительно, Лаврентьев сдвинул дело с мертвой точки, на самом высоком уровне — убедил, договорился. «Договариваться в условиях, когда у тебя нет рычагов давления на вышестоящее начальство, — это целое искусство. Михаил Алексеевич аргументировал, доказывал, как аксиому, очевидную пользу — от фундаментальной (!) науки... Умел».

Некоторые задачи имеют нетривиальное решение, и Лаврентьев, как математик, это хорошо знал. Шумный с удовольствием рассказывает такой случай. «Раз приехала очередная комиссия из Москвы. Мы тогда еще в городе сидели, на Советской, 20. И кабинет Михаил Алексеича тоже там был. Дубинина уже не было. Комиссия ходит, ищет, к чему придраться, как закрыть нас. Зашли к Лаврентьеву. То, се. Тут звонок ему по вертушке<sup>17</sup>. Лаврентьев снимает трубку, говорит: “Да. Приехали. Сейчас у меня. Да. ЦК считает, что институт должен

<sup>16</sup> Аганбегян А. Сибирь не понаслышке. М., 1981.

<sup>17</sup> «Вертушка» — система правительственной телефонной связи в СССР.



Академик Михаил Лаврентьев

спросить, правда ли это они с Христиановичем все тогда придумали. Он посмеялся от души, но — ни намеком не показал, ни да, ни нет. Так и унес эту тайну с собой».

Обладая значительной властью и, в силу ума, опыта, смекалки, еще более огромными возможностями, Лаврентьев весьма спокойно относился к своей персоне. Он прощал даже ситуации, когда его авторитет публично оказывался под вопросом. Когда Беляев, узнав о передаче стройплощадки ИЦиГа Институту катализа, напрямую публично обратился к президенту Академии наук Келдышу — через голову присутствующего там же Лаврентьева, тем самым обозначив его слабость как руководителя Сибирского отделения АН в этом вопросе, — Лаврентьев не стал сердиться. А впоследствии одобрил его решение.

### Гордость и предубеждение

- Абрам, ты самокритику любишь?
- Нет.
- Почему?
- Антисемитизмом попахивает.

Рассказано академиком Шумным

Харизматичность и притягательность Беляева, качества, которые с восхищением отмечают его близкие и соратники, могли сыграть роковую роль в карьере ученого. Харизматики вызывают полярные чувства — не только восхищение, но и недоброжелательство. Искренне радуются успехам только настоящие друзья, и не факт, что среди близких и соратников таковых большинство. Но основателям Академгородка и тем, кто откликнулся на призыв, удалось свети влияние фактора зависти к минимуму.

«Зависть в научной среде? Да, есть», — прямо ответил Шумный. Руководителю, который проработал 22 года директором ИЦиГа, 15 лет замом у Беляева и знает лично практически каждого сотрудника института, можно верить. По его оценке, в институте соотношение «нормальных людей с хорошим, спокойным характером» и «других людей» такое же, как и для «человеческой популяции в целом»: 90—95% на 10—5%.

быть? И я тоже так считаю. Надеюсь, что и комиссия так считает». Положив трубку, Лаврентьев пояснил комиссии — вот, из ЦК звонили, интересуются вашей работой. Комиссия переглянулась между собой и на всякий случай удалась из кабинета. В Москве еще несколько лет выясняли, кто же именно из ЦК Лаврентьеву звонил. Чье было указание и куда дует ветер...

А наши потом как-то прознали — вроде это Христианович звонил Лаврентьеву из соседнего кабинета. Прошли годы. Уже после того, как Михаил Алексеевич ушел с поста председателя Сибирского отделения, я решился



«Но вот этот небольшой процент — это совершенно другие... страшные люди. Они убеждены в своей гениальности, причем отсутствие научно значимых результатов их не останавливает, — разъяснил академик. — Недавно ко мне один такой заходил. Спрашиваю, сколько ученых повторило твои эксперименты и сколько подтвердило. Ни один. Как так, почему? Они слабаки. Не понимают».

Но Лаврентьев ценил только результат. Поэтому структура Сибирского отделения — не та формальная, прописанная на бумаге, но существующая в виде множества человеческих связей — включала в себя «купол», совокупную систему ответа руководства отделения на атаки со стороны верхних эшелонов власти. Созданный с применением всей палитры жизненного и номенклатурного опыта участников, «купол» обеспечивал ученым возможность мирно работать и развиваться.

Именно благодаря усилиям Лаврентьева удалось выбрать Беляева членом-корреспондентом Академии наук. Несмотря на очевидные научные достижения Беляева, кандидатура его дважды была отклонена действующими академиками. «На третий раз Дмитрий Константинович, уезжая в отпуск, попросил меня не подавать на него документы — какой смысл, все равно голосуют против, — вспоминает Шумный. — Спустя несколько дней меня вызвал Лаврентьев и спросил — выдвинули Беляева, нет? Я объяснил, что он отказался, потому что “какой смысл”. Лаврентьев потребовал срочно подготовить документы и отправить в Москву. Вечером того же дня мы сидели у него. “Дед” был в хорошем настроении, попросил секретаря принести список академиков общей биологии. Читал имена и спрашивал, как будет голосовать тот или этот академик, за или против Беляева. Мы прошли весь список и выяснили, что Беляеву для избрания не хватает одного-единственного голоса. “На кого бы ты поставил?” — спросил Лаврентьев. На мой взгляд, наименее жесткую позицию занимал академик Николай Васильевич Цицин, директор Главного ботанического сада». На этот раз Беляева приняли в академики, и Цицин, как узнал Шумный, проголосовал «за». «До сих пор остается загадкой, как математик Лаврентьев, сидя в Новосибирске, мог повлиять на московского академика-биолога. Но факт остается фактом, Лаврентьев убедил Цицина, и его голос оказался решающим».

У Беляева имелся существенный минус — он не был членом КПСС. Шумный отмечает, что были объективные препятствия для его вступления в партию: несмотря на знаменитое сталинское «сын за отца не отвечает», расстрелянный брат и отец-священник мало совместимы с биографией строителя коммунизма. Справедливости ради стоит сказать, что и сам Дмитрий Константинович, хотя и фронтовик, вовсе не горел желанием вступать в ряды КПСС. При этом антикоммунистом и антисоветчиком Беляев никогда не был.

Единственное, что он позволял себе, так это некоторую долю скрытого юмора — по отношению к партийным церемониям и процедурам, вспоминает Шумный. «Тогда на каждом предприятии были партийные ячейки. Одно время я был секретарем парторганизации. Представьте: очередное собрание. Надо пригласить директора. Я иду к Беляеву: “Дмитрий Константинович, у нас собрание, приходите”.

Он (скромно так): “Если пригласите, приду”.

Я: “Так мы и приглашаем вас!”

Беляев: “Пожалуйста, проголосуйте, чтобы я мог присутствовать”.



Иду на собрание, ставлю вопрос на голосование: кто “за”, чтобы пригласить Дмитрия Константиновича Беляева? Единогласно. Иду обратно к Беляеву: “Дмитрий Константинович, единогласно”.

“Хорошо”, — соглашался Беляев и покорно шел.

Но его присутствие не было формальным — он активно участвовал в обсуждении, и предлагал, и выступал».

Очевидно, что Беляев, равно как и миллионы советских людей, разделял «ведущую роль КПСС, союза коммунистов и беспартийных в эпоху развитого социализма» и т. д. — и проблемы реальной жизни, которые надо решать доступными инструментами, в том числе по партийной линии.

## Безжалостны судьи. Стражник свиреп

*В конце концов, противник обладал таким мощным оружием, как Большая Круглая Печать, и нам нечего было ей противопоставить.*

А. и Б. Стругацкие

Михаил Алексеевич Лаврентьев смог выстроить систему взаимоотношений со всеми ветвями власти, включая всемогущее КГБ. Первый отдел, наблюдая за генетическими исследованиями в ИЦиГе, вел себя вполне корректно. Шумный, отвечая на мой вопрос, отметил, что у ИЦиГа всегда был тот же куратор, что и у «Вектора», при этом кагэбэшники «держали всех на крючке, проверяли». «Разные люди работали. Особенно запомнился последний. Он был врачом по профессии. Мне было интересно, как он оказался в КГБ. “Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться”, так пояснил. Но он проработал недолго, буквально пару лет. Потом он ушел из института, и я потерял его. Знающий, приятный человек. Жаль».

Лаврентьев, безусловно, обладал всей полнотой информации о деятельности институтов, но при этом доносы и вообще мелкие пакости терпеть не мог. Однажды, рассказывает Шумный, Лаврентьеву поступил донос на ИЦиГ. «Тогда я еще был в ранге и. о., — вспоминает ученый. — Разгар рабочего дня, и вдруг меня срочно вызывают к председателю. Прибегаю, но не в президиум, где он редко бывал, а в гидродинамику. Захожу, сидит Лаврентьев, его зам Лавров и первый секретарь нашего райкома Яновский.

Лаврентьев меня спрашивает: “У вас в виварии — чума?”

“Михаил Алексеевич, — говорю, — такого быть не может — всех животных, что привозим, проверяем несколько раз”.

Он: “Давай так. Я тебе даю полчаса, ты бегом в виварий и мне перезвонишь. Но (чеканным голосом) если ты меня обманешь, я тебе не завидую”.

Мы с Лавровым — бегом обратно в ИЦиГ. Естественно, никакой чумы у наших мышек нет, ее и быть не могло. Мы с Лавровым постояли на крыльце, поговорили. Полчаса прошло, звоню, докладываю: “Чумы нет!” “Точно?” — спрашивает Лаврентьев. — “Ничего нет?” “Ничего нет, — говорю. — А кто вам сказал, что у нас чума?” “С ним теперь я сам разберусь”.

Потом я узнал, кто это был. Но говорить не буду. И что с ним стало, тоже не буду говорить. Михаил Алексеич был... хозяин. Дед. Мы, особенно молодежь, так его за глаза звали. Иногда говорили — Великий Дед... Его побаивались».

Потепление отношения к генетике началось только после 1964 г., когда, наконец, сняли Хрущева, вспоминает Шумный.



Осенью 1964 г. Никита Сергеевич был смещен с поста главы государства, и вместе с этим начался процесс падения Лысенко. В газете «Правда» напечатали программную статью Беляева о возрождении генетики. Помимо возобновления исследований, необходимо было менять все содержание курсов в вузах, создать научный журнал, общество генетиков и селекционеров, укомплектовать сельхоз-предприятия специалистами, владеющими знаниями по генетике.

Бряд ли у Брежнева была четкая позиция по вопросу наследования признаков живых организмов, скорее, он придерживался китайского принципа «пусть расцветают все цветы», развиваются все науки, полагает Шумный. «Первые десять лет при Брежневе были самые лучшие для нас и развития науки в целом, — вспоминает ученый. — Помню, как он приехал в Новосибирск. В оперном театре организовали всеобщий партактив, меня включили в состав Сибирского отделения Академии. Спортивный, подтянутый, Брежнев чуть ли не бегом поднялся на трибуну. Он говорил минут сорок, безо всякой бумажки, сильно, ярко, о регионе, о проблемах и возможностях. После Хрущева он производил сильное впечатление».

От Хрущева Академгородок спасли. Брежнев, в отличие от своего предшественника, обладал определенной широтой взглядов. Но настоящим испытанием стали 90-е годы. «Развал Союза — это аналог Брестского мира, позволившего прийти к власти большевикам. Это был чудовищный договор. Но либералы, Борис Николаевич перецеголяли Владимира Ильича. За две недели развалили страну и 14 республик разбежались, как мыши из вивария!.. А ведь страна имела запас прочности и еще могла существовать», — вспоминает Шумный.

### Блеск глаз и сердца бой

*Рой мушек, как поблескивающий  
дымок, вырвался и растворился под  
лестничным потолком.*

В. Дудинцев, «Белые одежды»

Беспартийный генетик Беляев выезжал за рубеж, причем не только в соц-лагерь, но и в капстраны. Но классический соблазн советского интеллигента — остаться за рубежом — не волновал его. «Даже в мыслях не было», — с удивлением взглянув на меня, ответил Шумный на вопрос, отчего Беляев не уехал. «В 1972 г. я пробыл восемь месяцев на стажировке в Швеции. Какая скукота!.. Ждал, когда уеду домой. И когда наш самолет наконец приземлился в Шереметьево и я спустился по трапу, то был готов в буквальном смысле — землю целовать родную, радуясь, что вернулся».

Помолчав, Шумный добавил: «И тогда, и сейчас есть те, для кого заграница как манна небесная. Они уехали. Но для нас-то смысл — добиться результата в исследованиях, развивать науку, студентов, наконец, учить... Беляеву в голову не приходило, что можно остаться за границей».

Шумный вспомнил, как старший сын ученого Николай уехал работать в Англию. «Беляев до конца верил, что сын вот-вот вернется. Но он не вернулся. Уже лет тридцать там живет. А младший сын работает у нас в институте».

Советская система, так называемый железный занавес не помешали Беляеву занять свое место в мировой генетической науке. Его доклады на международных научных симпозиумах неизменно вызывали огромный интерес.

Не меньший ажиотаж вызывали лекции Беляева в Новосибирске — приходили не только студенты профильного факультета, но и медики, научные сотрудники институтов Академгородка, сотрудники сельхозинститута. Об этом вспоминают и помощница Беляева Людмила Трут, и жена — биолог Светлана Аргутинская, доктор биологических наук И. И. Кикнадзе и другие.

Беляев переписывался со многими зарубежными исследователями, был избран президентом Международной генетической федерации, и до сих пор входит в пятерку самых цитируемых генетиков мира по своей теме. И это при том, отмечает Шумный, что он не спешил публиковаться — возможно, помня о печальной судьбе своего брата и его учителя, Николая Вавилова. При жизни он так и не успел обнародовать все результаты своих работ.

Тем не менее итоги деятельности Беляева впечатлили современников. Даже далекие от биологии сотрудники Академгородка, жители Новосибирска знали или хотя бы слышали об удивительном эксперименте с «беляевскими лисами», сократившем многовековой путь эволюции до фантастически короткого срока.

Именно эта народная известность помогла Беляеву и после смерти. «Памятник нам сделали — вот этот, где лисичка протягивает Беляеву лапку, а он ей — руку. Настало время оплачивать и забирать. А мы институт, бюджетная организация. У нас нет такой статьи расходов, как “оплата памятников выдающимся сотрудникам”», — говорит Шумный.

Традиционный способ в нашу информационную эпоху — организовать сбор средств через интернет, но институт не сделал ни одной публикации. Тем не менее помощь пришла откуда не ждали. Удивительным образом помощь приходит в самый отчаянный момент.

Институт не только был создан в самое неблагоприятное время, но и смог пройти через разные периоды истории страны, пережить гонения, испытание безденежьем. И это не последние вызовы, которые стоят перед коллективом ученых.



Ксения САВИНА

## ОПЫТЫ НОВОГО РУССКОГО ВЕРЛИБРА

Верлибром в наши дни называют практически любое поэтическое произведение без рифмы и регулярного размера. Правило «Нет правил!» привлекает авантюристов от литературы, но при этом богатая отечественная традиция остается неосвоенной. Кроме того, налицо «тлетворное влияние» сильной западной школы, которая при адаптации на почву русского языка порождает «дурную прозу».

Несмотря на наличие богатой практики и даже основательной традиции изучения<sup>1</sup>, общий взгляд на верлибр как способ стихосложения все еще не оформлен. Школы верлибра в России нет, и причиной этому, во-первых, исторически сложившееся господство силлабо-тонической системы, а во-вторых — общее падение уровня стихосложения. Но главное — низкий уровень образованности современных поэтов: теоретическая база ими зачастую не воспринята, а верлибры пишутся бессознательно, наобум. Современная литература остро нуждается в определении принципов стихосложения верлибром и доказательстве наибольшей эффективности следования им, иначе говоря — в определении «норм» верлибра.

Однако такую работу не может проделать только исследователь-стихoved, поскольку в его задачи входят этимология, дефиниция и статистика *всего* фиксируемого материала, а в данном случае необходимо, назвав что-то верлибром и оставив в литературе, одновременно отсечь то, что не продиктовано поэтическим наследием и языком, совместить теоретическое измерение с практической деятельностью. В этой статье мы суммируем результаты изучения верлибра в творчестве русских поэтов, чтобы предложить адекватное, на наш взгляд, определение русского верлибра, учитывающее теоретические разработки и поэтическую практику.

\* \* \*

Прежде всего, сам термин «верлибр», его французское происхождение, а еще точнее — его манифестация французскими поэтами-символистами, вносит сумятицу в вопрос определения. *Vers libre* — это всего лишь поэтические опыты Кана и Рембо и им подобное или самостоятельное явление литературы? Для разрешения этого вопроса обратимся к истории и теории поэзии.

---

<sup>1</sup> Приведем в пример, скажем, крупную монографию О. Овчаренко «Русский свободный стих» (1984), обобщающую научные изыскания дореволюционного и советского периодов.



Европейская литература развивалась как синтез народного творчества германских племен и классической античной литературы, и под стихом подразумевалась одна строка, подчиненная правилам античной метрики (при том, что древнегреческий и латинский языки обладали иной просодией, нежели новые европейские). Метрика базируется на постоянном чередовании групп долгих и кратких слогов, а количество таких групп ограничено — они до сих пор существуют как всем известные стихотворные размеры силлаботоники и на Западе, и в России. Фольклорная же традиция представлена тоническим аллитерационным стихом. После XI века приобретает особое значение рифма, связанная как с традицией созвучия в народной поэзии, так и с особенностями латинских флексий, дающих простор для рифмовки. В европейских языках метрическая система, таким образом, приобрела характер силлабической (разносложники), но в целом была силлабо-тонической. Французские поэты начали процесс разрушения в первую очередь силлабики, сначала приближая ее к тоническому стиху, затем перейдя непосредственно к верлибру — стиху, свободному от регулярности. Отсутствие концевых созвучий было необязательно и не мешало наличию богатой внутренней аллитерации. Кроме того, отсутствие периодической тоники не исключало использование тонического способа стихосложения в верлибре (ведь в верлибре нет привязки к фонетической соизмеримости стихов).

Русская народная поэзия подобна европейской — тонический, с тяготением к неперIODичности (интонационные повторы), стих, с аллитерацией, специально — с рифмой. С середины XVIII века, с исследований В. Третьяковского и М. Ломоносова, предлагавших конкретные нормы стихосложения, русская поэзия прочно встала на силлабо-тоническую почву. Однако в 1832 году, за четверть века до французских опытов, Лермонтов пишет «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», а через 10 лет Фет пишет «Я люблю многое, близкое сердцу...» и «Ночью как-то вольнее дышать мне...» — тексты, которые являются, пожалуй, первыми образцами русского верлибра<sup>2</sup>. Поэтому мы не будем считать русский верлибр подражанием европейскому и вести генеалогию русского верлибра от европейского. А соответственно, не будем рассматривать современные верлибры, являющиеся калькой «западного» образца.

Первым источником русского верлибра, очевидно, являются раёк, «слова» и другие формы народного творчества (как и в европейской поэзии), а вторым, по нашему мнению, следует считать библейскую поэтику, которая не утратила при переводе с иврита и арамейского на древнегреческий и латынь и затем на европейские языки, включая русский, своей системы сложения. В этой системе особую роль в формировании ритмической интонации играет изосинтаксизм — соизмеримость синтаксического устройства стихов или лесс (строф верлибра), подобие синтаксического устройства, синтаксическая анафора (узко — изосинтаксизм). Библейский изосинтаксизм является частным случаем общего свойства древних литератур как таковых, продиктованного отчасти мнемонической необходимостью, отчасти связанного с первичной мелодекламацией или скандированием, отчасти — и в большей степени — с естественным способом достиже-

<sup>2</sup> Здесь отдельно скажем о том, что о верлибре следует говорить в связи с силлабо-тонической системой, когда она уже ясно существует в литературе, поскольку в случае с древними, инокультурными и народными системами стихосложения мы говорим об *источниках* верлибра *внутри* силлабо-тонической системы, а не утверждаем, что библейские тексты или речи Цицерона написаны верлибром. Это необходимо для предотвращения дисперсии термина, который должен обозначать нечто конкретное, а не *любую* систему стихосложения, кроме силлабо-тонической.

ния изотонии. Поэтика древних литератур так или иначе вошла в европейский и русский контекст текстами Ветхого и Нового Заветов. В верлибре этот прием всегда широко задействован.

И третьим источником, по нашему мнению, является привитая русскому поэту (как и европейскому) со школьной скамьи античная риторика. Ведь в развитии русского верлибра «изосинтаксизм» скорее представляет собой системное интонирование, обусловленное умелым сочетанием различных синтаксических возможностей (особенно инверсии), и служит для создания интонационного рисунка, неважно — регулярного или нет. Риторические речи, которые следовало сочинять на родном языке по классическим образцам, — это во многом поэтическая работа с интонацией, связанная с необходимостью точного и убедительного донесения конкретной мысли (как при устном произнесении, так и при «чтении про себя») и регулируемая применением топов — логических ходов, суждений (*предложений*) определенного вида.

\* \* \*

Итак, даже простое перечисление источников возникновения верлибра ясно показывает, что приемы *иного* создания поэтического текста, отличного от классического, существовали и до золотого века культуры. К ним активно обращались и авторы-классики, и авторы развитого классицизма (модерна) — не столько в качестве жеста отказа от старой системы, сколько в поисках первоосновы поэтического языка, в стремлении расширить границы поэзии и познать саму природу словесного искусства. Отказ от периодического размера, от ритма и от постоянной, регулярной рифмы необходим для обнаружения некоего «арха» поэзии. Здесь следует сказать о ритме и интонации, поскольку эти понятия в стиховедении (и специально — в верлибристике) часто противопоставляются именно в связи с вопросом поэтичности верлибра. Мы дадим следующее определение: ритм есть частный случай интонации, постоянная интонация, формируемая тонически или силлабо-тонически. Интонацию как таковую создает синтаксис и фонетика.

Первичный признак поэтической речи — изотония, понимаемая широко как задание некоей интонационной повторяемости<sup>3</sup>, но будем смелее и пойдем дальше: стихотворение отличается «целенаправленностью», «осознанностью» интонации, в результате чего поэтическое произведение на короткой дистанции достигает удивительной выразительности и полноты высказывания. Простым способом достижения такой сознательной цельности является создание ритма (известной повторяемости, осуществляемой на уровне слогов) — «прокрустово ложе» силлаботоники.

Более сложными следует считать попытки сохранения цельности регулярной интонационной повторяемостью, осуществляемой на уровне слов (изосинтаксизм), или нерегулярной — интонационным рисунком. Следует отметить, что при определенном использовании изосинтаксизма можно получить тонический стих, поскольку ударения естественным образом будут постоянно распределены<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> «Принцип повтора фонетических представлений» Е. Поливанова [Поливанов: 106].

<sup>4</sup> «Ритмическое значение синтаксического параллелизма заключается прежде всего в равенстве акцентных отношений, т. е. в одинаковой последовательности и силе ударений, к чему присоединяется также одинаковое интонационное (мелодическое) движение, а в некоторых случаях — одинаковое число слогов и одинаковое расположение словоразделов» [Жирмунский: 153].



По нашему мнению, верлибр должен закрепиться как способ стихосложения, свободно избирающий *ритмообразующую константу* (не метрическую, не силлабо-тоническую) или их сочетание — тонику, изосинтаксизм, инверсию, аллитерацию, риторическую интонацию<sup>5</sup>, соблюдающий принцип «непериодичности», *нарушая ожидание*, исходя из художественной задачи, которой должен быть подчинен и выбор константы (констант). Русский верлибр тяготеет к непериодическому трехдольнику, несмело развивает возможности аллитерации и изосинтаксизма и отчего-то (видимо, отталкиваясь от классического стиха) обыкновенно бел. Хотя рифма — вторичный признак, при отсутствии постоянной схемы прямо показанный верлибру.

Сравним наше определение верлибра с другими определениями, встречающимися в традиции отечественного стиховедения. Начало XX века в русском литературоведении — время интенсивного и плодотворного развития, в вопросе, касающемся верлибра, ознаменовавшееся появлением:

1) строгой теории Жирмунского о доминировании изосинтаксизма (с ней спорили все, но она оказалась самой жизнестойкой): «Ритмическое значение синтаксического параллелизма заключается прежде всего в равенстве акцентных отношений, т. е. в одинаковой последовательности и силе ударений, к чему присоединяется также одинаковое интонационное (мелодическое) движение, а в некоторых случаях — одинаковое число слогов и одинаковое расположение словоразделов» [Жирмунский: 153];

2) тактометрической теории Квятковского, внесшей определенную путаницу в понятия — к верлибру Квятковский отнес тонические стихи, дольники, верно настаивая, однако, на отсутствии «периодичности повторений» [Квятковский 2008: 577];

3) представления Томашевского и Холшевникова<sup>6</sup> о единственном определяющем интонацию свободного стиха приеме — заданной графическим разделением стиховых рядов расстановкой концевых пауз<sup>7</sup>, что в случае подлинного верлибра — лишь одно из средств, а в случае «прозовика» — единственное.

В советской России стиховедение развивалось и дальше, несмотря на разгром продуктивной формальной школы, поскольку наследие было освоено, дискуссия была продолжена, учитывая достижения. Из спора и согласия со старшими коллегами Жовтис вырабатывает определение, не исключающее, на первый взгляд, все прежние мнения, потому что в первую очередь определение становится многокомпонентным: «Свободный стих строится на повторении сменяющих одна другую фонетических сущностей разных уровней, причем компонентами повтора в параллельных, корреспондирующих рядах в русской поэзии могут быть фонема, слог, стопа, ударение, клаузула, слово, группа слов и фраза» [Жовтис: 30].

Была отдана дань графическому членению: «...появление выделенной строки означает, что автор осознает ее внутреннее единство, ее экспрессивность и фонетическую соотнесенность с другими строчками...» [Жовтис: 17],

<sup>5</sup> Список на этом не исчерпывается, возможен метафорический параллелизм или каскадное метафорирование, смысловая рифма и еще многое, на что отважится и в чем преуспеет практик.

<sup>6</sup> Впрочем, второй не отрицал создания ритма свободного стиха «упорядоченностью синтаксической структуры» [Холшевников: 81].

<sup>7</sup> К этому мнению, в связи со способом четкого выделения границы колонов в поэтической речи, в отличие от прозаической, присоединяется М. Гаспаров.

дает задание для произнесения. Справедливо исключаются практически включенные в широкое понимания верлибра Квятковским<sup>8</sup> вольные стихи, несправедливо исключаются дольники, отметим — непериодические. Определяющим признаком Жовтис считает *смену мер повтора*, полагая также, что «...метрическая неопределенность позволяет поэту выдвинуть в системе повторов на первый план анафору и синтаксический повтор» [Жовтис: 29], но в связи с явной односторонностью определения верлибры делятся на правильные («свободные», не имеющие *преобладающей* меры), неправильные — тонические стихи, и прозо-стихи (имеющие только графическое деление на строки). Жовтис, несомненно, провел детальнейший анализ, но главное его определение все же имеет существенный изъян. Начнем с того, что во всех вариантах дефиниции обнаруживается крен в сторону одной половины термина — «свободный», отсюда «нерегламентированная смена мер повтора»<sup>9</sup>. Мы же полагаем, вслед за М. Гаспаровым, что в развитой литературе поэзия жестко дистанцируется от иных видов речи именно набором правил, регламентированной организацией, несвободой. Иными словами, чем больше *libre*, тем меньше *ver*. Считать постоянную смену, отсутствие ритмообразующей константы главным признаком верлибра — выносить его за пределы поэзии. На наш взгляд, частая смена мер повтора на практике разрушает главный принцип поэтической речи.

Отдельно стоит сказать о принципе «непериодичности», заявленном нами в определении. Обратимся к наследию Ю. Тынянова, одного из самых интересных стиховедов XX века. Конструктивную роль в стихе, по мнению Ю. Тынянова, играет также ритм, однако создание ритма (в терминологии Тынянова ритм — то же, что и метр) автор понимает не только и не столько «силлаботонически»: «При этом <создании> простейшим и основным явлением будет выделение какой-либо метрической группы как единства; это выделение — есть одновременно и динамическая изготовка к последующей, подобной... группе» [Тынянов: 30], если динамическая изготовка (ритмическое ожидание в метрике и силлаботонике. — К. С.) разрешается, мы имеем дело с классической системой. «Но что, если динамическая изготовка не разрешается в подобоследующей группе? Метр в таком случае перестает существовать в виде правильной системы, но он существует в другом виде. “Неразрешенная изготовка” — есть также динамизирующий момент; метр сохраняется в виде метрического импульса; при этом каждое “неразрешение” влечет за собою метрическую перегруппировку, либо соподчинение единств (что совершается прогрессивно), либо подчинение (совершающееся регрессивно). Такой стих будет метрически свободным стихом...» [Тынянов: 30].

Итак, наше «нарушение ожидания» есть не что иное, как один из (но принципиальный) детерминирующих признаков верлибра и динамизирую-

<sup>8</sup> «...ряд своеобразных формаций стиха, отличающихся от равносложного силлабического и равносложного силлабо-тонического стиха» [Квятковский 1966: 75] бывают, по мнению стиховеда, метрическими и дисметрическими.

<sup>9</sup> Следующая в фарватере Жовтиса О. Овчаренко определяет верлибр так: «Свободный стих, или верлибр, — это система стихосложения, характеризующаяся нерегламентированной (непредсказуемой) сменой мер повтора» [Овчаренко: 29]. Вместе с тем, выступая критиком деления Жовтиса на «правильный» и «неправильный» верлибр, О. Овчаренко признает, что «частичное преобладание той или иной меры повтора обязательно будет иметь место в любом стихотворении и, по-видимому, обуславливается свойством языкового материала» [Овчаренко: 25].

щий фактор, неразрешение динамической изготровки, особое средство создания ритма<sup>10</sup>.

Следовательно, верлибр, помимо иных ритмообразующих констант, использует ритмический импульс — нарушение. И если следовать динамической теории ритма, то интонация верлибра, задающая ритм, диверсифицирующая его источники и сбивающая с толку ритмическое ожидание, имеет больше прав именоваться ритмом, чем постоянная метрическая интонация силлабо-тонических стихотворений.

Итак, верлибр есть способ или тип стихосложения, при котором поэт свободно избирает ритмообразующую константу, непериодическую, использует те или иные структурирующие принципы, исходя из художественного замысла. Ударение, количество слогов и концевое созвучие мыслятся единственными элементами повтора, узлами, от которых освобождается верлибр. Тем временем существуют и другие, которые «силлаботоники» высокого уровня всегда стремятся задействовать, но всегда стеснены первоначальным ограничением, довлеющим принципом — изотония, изосиллабизм и рифма. Это — строфика и графика (работа с концевой паузой), изосинтаксизм (задействование риторической интонации, которое всегда так восхищает в силлаботонике, если «побеждает» размер, обогащая ритм), аллитерация и сквозная рифма, метафорические рифма и анафора, развернутая метафора, афористика. Этих дополнительных способов ритмической организации поэтического текста на проверку оказывается ограниченное количество, что подводит к мысли о ложности утверждения единичности каждого верлибра — «у каждого поэта верлибр свой» — и наводит на мысль о свободном стихе как о твердой форме. К использованию тех или иных путей структуризации речи, создающих отличие поэзии от простого разговора и прозы, направленных на возможность чтения, приходит любой именно верлибрист.

\* \* \*

Остается вопрос: для чего поэту-верлибристу такие широкие возможности? Ведь не только и не столько прогулка по полю интонационных возможностей языка и желание выйти за границы классики вызывают к жизни в европейской (и русской) литературе верлибр. Формалистический подход, которого мы во многом придерживаемся, замечателен в вопросах формы, однако только ли форма определяет поэтический язык в развитой литературе?

Любое стихотворение — это попытка передачи уникального рефлексивно-го опыта, эмоционального переживания, рационального прозрения. Для этого, помимо выстраивания по смыслу, слова выстраиваются по звучанию, ведь, как верно заметил Томашевский, «стиховой ритм превращает каждое ритмическое ударение в логическое, т. е. перестраивает синтаксис, обособляя слова не по их грамматическим признакам» [Томашевский: 171] или, напротив, подчеркивая логические синтаксические ударения, так или иначе расширяя прозаические смыслы, внося нечто *непередаваемое* через смысл.

<sup>10</sup> Ср., например, мнение музыковеда и стиховеда М. Харлапа, продвигавшего динамическую теорию ритма: «...основное свойство ритма — заражающая сила, эмоциональное воздействие, достигаемое не порядком и размеренностью, не математическими рациональными (соизмеримыми) соотношениями, а иррациональными нарушениями точных соотношений, отступлениями от метра» [Харлап: 80].

И здесь возможности верлибра гораздо шире привычной силлаботоники — подлинный верлибр, не стесняя себя метром и регулярной обязательной рифмой, может позволить себе большую содержательность, большую концентрацию смыслов, подчинение ритма смыслу. Ведь «свободный стих возникает оттого, что сильный напор содержания как бы ломает плотину старой формы <...> свободный стих без особой густоты и интенсивности содержания вообще не может существовать, иначе он немедленно превратится в вялую прозу» [Метс: 126]. Лучшие поэты XX и XXI веков прибегают к богатому арсеналу поэтических приемов верлибра именно потому, что поток новых смыслов и значений «разрывает» классические «путы» силлаботоники, а новое содержание эпохи требует новой интонации. В границах классики невыразимы растерянность и смятение человека новейшего времени.

К сожалению, сегодняшнее разнообразие верлибра связано не с глубокой традицией, о которой мы говорили в нашей статье, а с радикальным «авангардом» (постмодерном), с отказом от традиции, с попытками писать прозу и называть это верлибром, отказываясь от формы и смысла.

И тем нужнее, мы считаем, обсуждение важнейших принципов существования верлибра, специального его определения, на котором мы остановились подробно. Следующей задачей нам видится утверждение «золотого стандарта» русского верлибра, как в советской поэзии, так и в поэзии наших дней, — но это уже тема для отдельного исследования.

## Литература

1. Бурич В. От чего свободен свободный стих // Вопросы литературы. 1972. № 2. С. 132—140.
2. Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., Новое литературное обозрение, 2001.
3. Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 3. О стихе. М., Языки русской литературы, 1997.
4. Жовтис А. Л. Избранные статьи. Сост. С. Д. Абишева, З. Н. Поляк. Алматы, 2013.
5. Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., Советский писатель, Ленинградское отд-е, 1975.
6. Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., Советская энциклопедия, 1966.
7. Квятковский А. П. Ритмология. СПб., ИНАПРЕСС: Дмитрий Буланин, 2008.
8. Метс А. Тенденции развития свободного стиха // Вопросы литературы. 1972. № 2. С. 124—129.
9. Овчаренко О. А. Русский свободный стих. М., Современник, 1984.
10. Поливанов Е. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники // Вопросы языкознания. 1963. № 1. С. 99—112.
11. Тимофеев Л., Венгеров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов. М., Учпедгиз, 1963.
12. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие. М., Аспект Пресс, 2002.
13. Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., Academia, 1924.
14. Харлап М. Г. Стих и музыка. Публ. А. М. Гришиной; Вступ. ст. А. М. Гришиной, М. Л. Гаспарова // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. М., Наука, 1996. Т. 55. № 5. С. 73—86.
15. Холшевников В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. Учеб. пособие. СПб., Филологический факультет СПбГУ; М., Изд. центр «Академия», 2002.

Лариса ПОДИСТОВА

## БУДУЩЕМУ — БЫТЬ!

*100 лет фантастики в «Сибирских огнях»*

### 1.

Начнем с того, что само появление литературного журнала в едва начавшем приходить в себя после войны, голода и жестокой эпидемии тифа городе, весьма отдаленном от обеих российских столиц, уже было фантастикой. Но мало того. В самом первом номере «Сибирских огней», в марте 1922 года, была опубликована рецензия на фантастический роман. До публикации «Аэлиты» Алексея Толстого, которую многие считают первым фантастическим произведением Советской России, оставался еще почти год. Рецензия же была посвящена роману «Страна Гонгури» автора с витиеватым именем Вивиан Итин.

В первоначальном варианте, в виде рассказа «Открытие Риэля», текст был написан еще в 1916 году, во время Первой мировой войны, а потом сильно переработан и дополнен. В «Сибирских огнях» роман опубликовали в 1927-м. Сюжет его представляет собой переплетение событий реального мира с жизнью в мире воображаемом.

Молодой красный партизан Гелий, некогда — студент Петербургского университета, вместе со своим другом, доктором Митчем, попадает в плен к белочехам, и утром его должны расстрелять. Последнюю ночь друзья проводят в камере. Врач погружает Гелия в гипнотический сон, где тот переносится на две тысячи лет вперед. Там он живет как ученый-изобретатель по имени Риэль.

«Страна Гонгури» считается одной из первых советских утопий — читай: оптимистических изображений светлого грядущего. На что же похоже будущее, видимое из сердцевины урагана, сотрясавшего послереволюционную Россию?

Мир, который описывает Гелий, очнувшись от гипнотического сна, справился с проблемой всемирного тяготения, благодаря чему люди теперь могут «изменять очертания материков, переносить и уничтожать горы». Страна Гонгури, в сущности, создана искусственно, но представляет собой идеальный синтез цивилизации и природы. Это огромный сад, среди которого высятся небольшие группы зданий — города. Земля почти непрерывно родит множество больших сочных плодов, здесь бродят животные земных пород, но крупнее и плодovitее. Машины совершенны, души людей возвышенны и прекрасны. Обнаружен принцип межпланетных перелетов, найдены и подчинены источники бесконечной энергии. Отдельных государств нет, как нет и денег, и властных структур; есть единое общество, управляемое коллективным разумом. Преступность преодолена, любое стремление к нарушению закона признается болезнью и под-

лежит лечению. Так живут люди Таллы — народ Риэля, чью жизнь проживает Гелий во сне.

Но есть и народ Генэри, соседней страны, — бесстрашные исследователи, неутомимые путешественники, прекрасные энергичностью и силой духа, но пугающие своей непредсказуемостью и одержимостью. Смысл их жизни — познание мира, и ничто не способно их сдержать. В этом стремлении ясно читается не просто любознательность, но богоборчество. «Живите так, чтобы Она [Истина] всегда сияла перед вами, и жизнь свою отдайте ради Нее, — напутствуют ученых-генэрийцев при посвящении в орден. — И демоны будут побеждены, когда вы поднимете Ее факел. И если бы даже ангелы преградили вам путь — не смущайтесь, ибо истинно говорю вам: будете тогда как боги!»

Риэль попадает под влияние генэрийцев, становится изобретателем и достигает больших успехов. Ему удастся создать машину, которая дает чудовищно большое увеличение, чтобы рассмотреть, из чего состоит мир. Работа требует огромного духовного и физического напряжения, но юноша буквально одержим ею, даже любовь к юной Гонгури (ее именем студент-мечтатель Гелий и нарекает страну своих грез) не может отвлечь его от исследований. И однажды ему действительно удается заглянуть в тайну, явно не предназначенную для ума смертных. Рассматривая под увеличением вещество таинственного Голубого Шара, он обнаруживает, что строение его молекул напоминает Солнечную систему, находит Землю и за одну ночь наблюдает многовековую историю ее народов, полную распрей, насилия, каннибализма, войн, болезней и социального неравенства. Увиденное потрясает Риэля, но больше всего он подавлен мыслью о том, что, возможно, существует некто высший, кто так же смотрит сверху на мир Гонгури и на него самого, а выше этого высшего — еще кто-то и так до бесконечности. Риэль хочет понять свое место в этой цепочке, он даже готов пожертвовать ради этого жизнью, согласно данной при посвящении клятве, и принимает яд. Но для самоубийцы путь к этой самой важной истине закрыт... Риэль-Гелий пробуждается от гипнотического сна, чтобы «в непрестанном страдании вернуть потерянное величие духа» и снова оказаться в стране Гонгури. Таким «возвращением» для него становится расстрел. В общем, через страдания герой находит дорогу в рай. Ну или в светлое будущее, кому как нравится.

Фантастический роман «Страна Гонгури» вышел отдельной книгой в январе 1922 года в Канске. Романом его, впрочем, назвал сам автор, по объему — 86 страниц — это скорее повесть, а по художественному исполнению — поэма в прозе. На обложке красовалась надпись «Государственное издательство», но, как писал позже сам Итин, на самом деле это было «совершенно незаконное, самозванное издание». Тираж мизерный — восемьсот экземпляров, из которых, шутил автор в письме М. Горькому, «экземпляров семьсот, наверное, купили канские мужики на сигарки, так как “Страна Гонгури” была очень дешева... а бумага подходящая...»

В короткой рецензии, вышедшей в «Сибирских огнях» и подписанной инициалами «П. К.», автору «Страны Гонгури» достается примерно поровну похвал и порицаний. В двух словах пересказав сюжет, рецензент в наивно-витиеватых выражениях отдает должное красивой философичности текста и поэтичному языку:

Мелкие детали, рассыпанные живыми блестками по повести, придают ей убедительность подлинного наблюдения. Поэтическое мирозерцание и фило-



софия автора, проглядывающая, как бы против его воли, в отдельных фразах, обладает определенностью единого синтеза. Подобно ароматному старому вину, эта философия опьяняет душу высшей уверенностью и дает Гелию силу спокойно идти на смерть. Язык повести приятно выделяется вдумчивым желанием приблизиться к мастерам, хотя, иногда, не свободен от неуклюжей постановки придаточных предложений\*.

Тут же автору достается за неоднозначность характера главного героя (убежденного большевика, красного партизана — и одновременно университетского студента, поэта и мечтателя), схематичность изображения будущего, вялость сюжета и обидную фрагментарность повествования.

Автор не сумел сковать материал железной рамкой художественной необходимости. Получается впечатление, что не автор владеет материалам, а материал — автором, —

сурово заключает рецензент. Но тут же подбадривает:

Все же мы приветствуем эту маленькую книгу, как произведение, где бытие и его загадки, освещенные поэтической индивидуальностью автора, автора-коммуниста, встают во всем своем непреходящем значении, настойчиво призывая человечество к разрешению их.

И практично добавляет:

Цена книги по современному недорого — 20.000 рублей.

## 2.

Следующим заметным фантастическим текстом в «Сибирских огнях» был киносценарий Александра Казанцева «Гость из космоса», напечатанный в № 7 за 1961 год. За прошедшие почти тридцать лет в журнале выходили в основном рецензии на книги фантастики, анонсы и литературоведческие статьи.

Александр Петрович Казанцев к этому времени был известным писателем и считался одним из основоположников отечественной научной фантастики. Изпод его пера уже вышли «Марсианин», «Пылающий остров», «Арктический мост», «Планета бурь» и другие произведения, ставшие классикой нашей фантастической литературы. В своих произведениях Казанцев противостоял практичной и зачастую даже приземленной «фантастике ближнего прицела», которую интересовали в основном прикладные достижения науки и техники. Александра Петровича влек космос, и для многих его книги были литературно сформулированной мечтой о далеком будущем, когда земные звездолеты наконец начнут бороздить просторы Галактики. В апреле 1961 года, с полетом Юрия Гагарина, эта мечта резко приблизилась.

«Гость из космоса», впрочем, создан задолго до этого — в 1951 году. Казанцев подробно изучал загадку Тунгусского метеорита, написал ряд статей, а одну из своих гипотез оформил в виде киносценария. В тексте явно слышны отголоски холодной войны между СССР и США, уже развернувшейся в то время в полную силу.

\* В цитатах сохранены орфография и пунктуация оригинала.

Главный герой фильма Никита Казаков убежден, что взрыв Тунгусского метеорита — не что иное, как гибель инопланетного космического корабля, который не смог приземлиться. По его мнению, инопланетян могла привлечь в Солнечную систему вспышка взорвавшейся когда-то по неизвестной причине планеты Фаэтон, кружившей вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Оппонент Казакова — академик Арканов, много лет изучающий метеориты, считает, что никакого корабля не было. Каждый из участников спора ищет доказательства в подкрепление своей точки зрения. Казаков для этого отправляется в тунгусскую тайгу исследовать место падения «своего» метеорита. Арканов едет в Сахару за упавшим там недавно небесным телом с романтическим названием Голубой Верблюды. Но незадолго до этого американцы испытали неподалеку ядерную бомбу, и теперь к точке падения метеорита не проехать: местность заражена радиацией. Постепенно герои приходят к выводу, что Фаэтон действительно существовал и даже был обитаем, но погиб в результате мощного взрыва, очень напоминающего ядерный. Им удается расшифровать послание инопланетного экипажа, отправленного с далекой планеты Эоэаллы, чтобы помочь обитателям Фаэтона. Но помощь опоздала. Тогда эоэалляне решили предупредить землян об опасности разработки и применения ядерного оружия (супруги Кюри тогда, в 1908 году, уже всю проводили опыты с радием, не подозревая о его смертельных свойствах). Но при посадке их корабль взорвался в воздухе над тунгусской тайгой.

Выяснив все это, герои киноповести реагируют вполне предсказуемо.

Казаков поднимается.

— Жизнь свою посвящу тому, чтобы достичь Эоэаллы и передать, что Разум на Земле победил и люди труда, жители коммунистической планеты, а такой она и станет, сумели обуздать агрессоров и, в конце концов, уничтожили самый источник возникновения любых войн, в том числе и ядерных, — капиталистический строй с его барышами, добываемыми кровью, с его пропагандой расовой ненависти, с его колониальными грабежами. Земляне понесут миссию Разума во Вселенную...

<...>

Гигантский корабль «Победа коммунизма» словно приподнимается на огненном столбе и устремляется в небо. Среди черного звездного неба за звездолетом фантастической формы остается светлый сверкающий след.

Звучит голос Казакова:

— На экране должно бы сейчас возникнуть слово «конец». Но, может быть, все это только — н а ч а л о?

Как показала история, это, к сожалению, действительно было только начало, но совсем не освоения космоса. На сегодняшний день мир под завязку напичкан ядерным оружием, а противостояние Востока и Запада пополнилось множеством новых, еще более опасных и трагических эпизодов.

Из напечатанного в 60-е годы хочется упомянуть еще статью Евгения Брандиса и Владимира Дмитриевского «Приключения мысли» о творчестве Ивана Ефремова (1961, № 11), где два известных литературоведа рассуждают о гуманистической основе его творчества и особенностях ефремовской прозы, и повесть Аллы Коновой «Голос вечности» (1963, № 6), с типичным, пожалуй, для фантастики того времени сюжетом — возвращением на Землю звездолета, пропавшего за сотни лет до этого, — и совершенно «ефремовскими» именами героев: Леа, Павлий Зорь, Лида Линг и т. п.



### 3.

В 1977 году в Новосибирске был организован первый в стране клуб любителей фантастики — «Амальтея». Около пятнадцати лет им руководил писатель Михаил Петрович Михеев, автор знаменитых романов «Белое пятно» и «Вирус В-13», популярных детективов и множества произведений для детей. В клубе обсуждали рукописи, читали лекции о науке и литературе, выпускали свой рукописный журнал. Амальтеевцы проводили, как мы бы сейчас сказали, мастер-классы по фантастике в школах и ПТУ. Имена некоторых членов клуба вскоре появились на страницах «Сибирских огней». В ноябрьском номере за 1980-й и февральском за 1982 год вышли основательные подборки рассказов, где мы видим имена Анатолия Шалина, Олега Костмана, Андрея Бородача, Владимира Титова. В разное время публиковались в «Огнях» рассказы и повести Александра Бачило, Алана Кубатиева, Александра Шведова, Василия Карпова, Игоря Ткаченко, Леонида Шувалова (под псевдонимом Александр Леонидов), Владимира Клименко, очерки и рецензии Юрия Мосткова.

Увы, до обидного мало в журнале текстов самого М. П. Михеева. Два небольших очерка, пара юморесок, а из более или менее крупного — лишь повесть «Год тысяча шестьсот...» в ноябрьском номере за 1984 год. И все. Объяснялось ли это тем, что его романы и повести отправлялись сразу в издательство, теперь уже трудно сказать. Очень может быть. А возможно, дело в скромности Михаила Петровича, его легком отношении к своей персоне.

Писатель-фантаст Виталий Пищенко, в те годы участник клуба «Амальтея», вспоминает такой эпизод:

...Текст, получившийся для первого опыта довольно живым, Михаил Петрович одобрил и повел меня в «Сибирские огни». В приемной главного редактора А. В. Никулькова я маялся, невольно прислушиваясь к разговору, доносившемуся через неплотно прикрытую дверь:

— Толя, мальчик написал неплохую вещь. Нужно публиковать.

— Где? Ты же знаешь, Миша, что у нас все распланировано чуть не на год вперед!

— Передвинь мою повесть, я и подождать могу.

Думаю, что комментарии излишни.

Речь шла, скорее всего, об уже упомянутой повести «Год тысяча шестьсот...». Как сказали бы сейчас, это типичная повесть «про попаданцев». С помощью случайно обнаруженной машины времени фехтовальщика Ника и боксер Клим, приехавшие на Кубу на международные соревнования, оказываются в семнадцатом веке и переживают там всевозможные приключения. Например, находят медальон с тайным завещанием испанского короля Филиппа Четвертого. А потом оказываются в легендарном городе Порт-Ройяль, который некогда был столицей английской колонии на Ямайке, но за минувшие триста лет почти весь ушел под воду. А потом участвуют в придворных интригах и сражениях за испанский престол... В общем, каноны жанра соблюдены, хоть и с уклоном в советскую идеологию. Повесть рассчитана на молодого читателя и вполне может понравиться нашему современнику: в ней много неожиданных поворотов, юмора, а заодно и занимательных исторических фактов, о которых не прочитаешь в учебниках.

Среди авторов «Сибирских огней» 70—80-х годов стоит вспомнить и Аскольда Якубовского с его знаменитым «Прозрачником» (повесть вышла в № 10 за 1972 год). Литературный дар Якубовского был разнообразен, в журнале выходили и его реалистические вещи: роман «Страстная седмица», повести «Мшава», «Браконьеры», рассказы.

Фантастическая повесть «Прозрачник» — лирическая, хрустально чистая, звенящая, как натянутая струна. Главный ее герой Сергей Гурдин обладает уникальной способностью перевоплощаться в любое живое существо, причем не только перенимать внешний облик, но и полностью ощущать себя цветком, ласточкой, змеей, нетопырем... Это великий дар, но одновременно и беда: получается, что своей человеческой жизнью Сергей жить не может, ведь, посвятив себя науке, изучению мира природы, он вынужден пребывать в бесплотном состоянии. «Из-за своей газообразной консистенции я безопасен для хорошеньких девушек, — грустно шутит он в разговоре с возлюбленной. — Абсолютно! Даже ваша уважаемая бабушка не придерется». Сергей разрывается между страстной любовью к Тане и не менее страстной жадной познания (вспомним здесь одержимость Гелия-Риэля, хотя у Якубовского все выйдет как-то душевнее и человечнее).

...я хотел знать. Хотел проверить и понять собачий талант чутья, мощь сборного мозга муравьев, красоту цветка. Стоя против растения с любым названием, созерцая это чудо природного строительства, я хотел ощутить внешнюю неподвижность и внутреннюю быстроту процесса жизни. <...> Меня сводило с ума сознание, что мы скованы телом. Я перестал ценить человека. Мне он виделся рабом своего тела и изобретенных им механизмов. <...>

А потом пришло это. Как оно пришло? Не знаю... Знаю! Было желание, волевой взрыв, был новый, особых свойств механизм, его изобрели для иных целей, но он помог мне. Но как?.. В последний наш разговор физики говорили о перераспределении материи в пространстве, что от меня-де остался только алгоритм, формула.

Чтобы из формулы вновь превратиться в обычного человека, Сергею всего-то и надо — убить какое-нибудь живое создание. Тогда двери в загадочные живые миры для него закроются и он сможет жить как все, создать семью, завести детей. Но будет ли такая жизнь в радость ему и его близким? Ответ на этот вопрос автор оставляет на усмотрение читателя.

В 1991 году, спустя восемь лет после ранней смерти автора от туберкулеза, в «Сибирских огнях» (№ 6) вышла повесть Аскольда Якубовского «Черная Фиола». Это тоже разговор об одиночестве, на которое обречен человек, способный слышать и понимать окружающий мир — для всех остальных привычный, но бесконечно чужой. Похоже, что и сам автор чувствовал, как тесное соприкосновение с природой придает его общению с другими людьми какой-то новый, не всегда радостный оттенок. А то, что соприкосновение было тесным, это факт. Перу Якубовского принадлежат психологически удивительно тонкие рассказы о животных. Об этих произведениях Виктор Астафьев в предисловии к сборнику Якубовского «Красный Таймень» писал: «Очень трогательны, до трепетности добры и одухотворены рассказы... о животных, особенно о собаках — тут уж прочитаешь, руками разведешь и подумаешь: “Вот если бы наши писатели умели так о людях писать...”»



#### 4.

Имя Виктора Колупаева хорошо известно старшему поколению любителей фантастики — тем, кто вырос на журнале «Уральский следопыт». В «Сибирских огнях» произведения этого томского автора тоже печатались неоднократно, начиная с 1982 года, когда в июньском номере вышла его повесть в двенадцати новеллах «Жизнь как год». Каждая новелла — это рассказ о чуде, которое вдруг вторгается в обычную жизнь героя-томича. Или героев? В предисловии автор настаивает на том, что в каждой новелле герой свой, но все тексты написаны от первого лица, примерно в одной тональности и логично выстраиваются в единую линию. Герои, может быть, и разные, а жизнь получается одна — разве не чудо? Фантастика ли то, что происходит? Или просто у автора дар видеть какие-то параллельные реальности, вытягивать на свет с изнанки привычного мирового узора вплетенные непонятно кем яркие нити?

...А меня уже несло вскачь. Ничего я не мог с собой поделать. В своих мыслях я наделял ее все новыми и новыми качествами. Я даже дошел до того, что в новогодний вечер представил ее в каком-то королевском наряде. И она действительно явилась в нем. Она выделялась среди всех. Ведь маскарадных костюмов почти ни у кого не было...

Девушки из нашей группы рассказывали, что у нее не было этого платья из бархата и парчи ни до, ни после вечера. Какой бархат, какая парча в студенческом общежитии?! Но у нее все откуда-то бралось, а потом бесследно исчезало. И если я хотел видеть ее в развевающемся алом плаще, она и появлялась в нем, и плащ развевался, несмотря на то, что ветра не было.

В повести с забавным названием «Дзяпики» (1989, № 11, 12) герои, обитатели будущего, переносятся в далекое прошлое на машине времени — транстаиме и обнаруживают там странную цивилизацию. Дзяпики живут в хижинах, ходят в набедренных повязках, охотятся на животных с копьями, но при этом знают, что такое счетные машины, притаскивают откуда-то экскаватор, защищают кандидатский минимум, организуют СКБ математических машин, а также отправляются «в командировки» в соседние селения, которые находятся в каком-то ином, параллельном измерении. Больше того: чем дальше, тем сильнее дзяпики напоминают гостям из будущего их сотрудников по СКБ Пространства и Времени... Как можно догадаться, это сатира. Сюжет поначалу разворачивается неторопливо и скрупулезно, как в производственном романе, только в декорациях не очень отдаленного грядущего, но с каждым поворотом становится все абсурднее и фантастичнее... и происходящее все больше походит на знакомый любому советскому человеку бюрократический и хозяйственный бардак.

— Что вам от нас нужно? — спросил Вяльцев.

— Ничего.

— Как в таком случае расценить ваши действия?

— Да котлован под здание заводского гаража вырыли не на том месте. По уточненным данным он должен быть там, где стоит ваша хижина. И ваше присутствие мешает нам работать.

— Досадное совпадение. В ближайшие часы мы освободим стройплощадку. Можете рыть, сколько душе угодно. Хоть до самого центра Земли.

— По графику выемка грунта должна начаться через час.

— И что же вы решили предпринять?

— Скинуть вашу хижину в ошибочно вырытый котлован.

— В таком случае оттащите ее в сторону, если вам больше нечего делать.

— Котлован все равно придется засыпать. А ваша хижина имеет объем около тысячи кубов. Соображаете?

Вяльцев вздрогнул от каких-то странных звуков, средних между всхлипыванием и смехом.

Поначалу смешные и безобидные, дзяпики постепенно набирают силу, их амбиции растут. Самые ушлые перебираются из прошлого в настоящее, а в перспективе готовят десант в будущее. Чтобы остановить их, главным героям приходится срочно во всем разобраться. В том числе и в самих себе.

— А здорово маскируются, черти! — сказал Акимов. — Вполне нормальные люди. Попробуй, отличил!

— Лучше и не пробуй, — посоветовал Силуэтов. — В каждом человеке сидит дзяпик. И если его поощряют, дзяпик полностью завладевает человеком. Не сдайся. Победить дзяпика. Сначала в себе. Обязательно в себе! А потом помочь другим.

— Только многие не согласятся узнать в себе дзяпика, — сказал Вельский. — Это выгодно. Никаких мыслей, сиди себе и помалкивай. Жуй кашу с маслом. За тебя думают другие.

В повести «Жилплощадь для фантаста» (1991, № 1, 3) Колупаев снова мастерски соединяет реальное с фантастическим: мытарства главного героя, писателя, пытающегося выбить для семьи квартиру, переплетаются с сюжетом рассказа, который он придумывает. Попутно автор немного приоткрывает секрет собственного творчества:

Писать мне нравилось, но тематику я решил изменить. Со звезд я свалился на Землю. У меня в это время впервые возникла еще смутная догадка, что ничего нельзя придумать. Но окончательно я еще этого не почувствовал. Я стал писать о том, что хорошо знал, о самом простом, обыденном, о том, словом, что каждый видел тысячи раз.

Мои рассказы стали называть фантастическими. Я не возражал, потому что меня не спрашивали. А если бы и спросили, я все равно бы не возразил, хотя уже почти знал, что ничего придумать нельзя.

<...> Я ничего не придумываю.

Ушел Виктор Колупаев рано — в шестьдесят четыре года. Но оставил в литературе заметный след, в том числе и в «Сибирских огнях», — пронзительные тексты, непридуманные, но фантастические.

## 5.

Особо стоит сказать о произведениях, созданных на основе фольклора или в подражание ему. В числе первых упомяну рассказ Антона Сорокина «Дуана Байман», напечатанный в 1924 году (№ 3). У Сорокина много текстов о казаках и киргизах, он хорошо знал быт и обычаи этих народов. Дуану (шамана) Баймана привели к казачьему атаману Дутову, разоряющему степные селения, по дороге сказав ему: «Атаман желает знать будущее, — мы дадим много денег, скажи, что атаман победит, больше ничего не надо, и аулы киргизские останутся целыми». Но духи открывают шаману другое, и он не может солгать, исказить их волю, даже перед лицом смерти. Услышав о скором поражении, Дутов велит убить дуану Баймана, но пули не причиняют тому вреда. История изложена напевным языком, имитирующим язык народных легенд.

Продолжение этой традиции мы не раз найдем потом у других авторов: в «Четырех сказах» Таисьи Пьянковой, у Максима Маскаля в рассказе «Поонча ходит» по мотивам алтайских поверий, Дукенбая Досжана в «Уроке мудрости» на основе восточных сказаний, в байкальской сказке «Дураки» Анатолия Байбородина, романтической «Легенде о Томе» Татьяны Мейко, «Сказах Приобья» Владимира Галкина, «Сендушных сказках» Геннадия Прашкевича, в степных сказаниях «Драконы южного ветра» Валентина Лебедева и много где еще.

Нашлось в журнале место и авторской литературной сказке. В № 8 за 1988 год опубликована пьеса Всеволода Иванова «Ключ от гаража» — о том, какие страсти разгорелись в Ташкенте в 1942 году из-за волшебного летающего ковра, случайно найденного эвакуированным из Ленинграда счетоводом. В 1982 году, в десятом номере, вышла сказка новосибирского писателя Юрия Магалифа «Нежно-зеленый Котыкин» — о говорящем коте, его друге клоуне и их необычных приключениях. В 1993 году в сдвоенном номере, полностью собранном из произведений для детей (№ 3-4), читатели увидели небольшую повесть Александра Романова «Дедушка Зеркальник». А еще были сказки для взрослых: «Курица Ряба» и «Влюбленный волшебник» Анатолия Шалина, «Счастливые король и королева», «Круглый дурак» и «Храпыч» Николая Самохина, сказки-притчи Марины Вдовик, притча-фантазия Замиры Ибрагимовой «Сердце в кармане» и т. п. В апрельском номере 2020 года можно прочитать административно-фантастическую быль кемеровчанина Игоря Назарова «В гостях у сказки», где рассказывается о нелегких буднях Департамента сказок.

В конце прошлого — начале нынешнего века на смену прежним авторским сказкам пришло фэнтези. В этом жанре успешно работают молодые прозаики, рекомендованные к публикации в «Сибирских огнях» на семинаре прозы ежегодного Совецания сибирских авторов, Татьяна Блейза и Елена Щетинина. Их рассказы можно увидеть в № 4 за 2020 год.

Несколько слов о переводной фантастике. В 90-е годы российские книжные прилавки ломались от изданий зарубежных писателей: детективов, женских романов, фантастики, всевозможной эзотерики... Огромная часть этих книг издавалась на волне спроса, наспех, без отбора, на плохой бумаге, в плохих переводах. Грешили этим и некоторые литературные журналы, особенно новорожденные, стремившиеся заявить о себе и привлечь читателя иностранными новинками.

«Сибирские огни» тоже обратили внимание на зарубежную литературу, но, не поддавшись общей суете, предпочли работать с профессиональными переводчиками и публиковать тексты, в качестве которых не приходилось сомневаться. Так, в 1991 году в журнале вышли романы «Паразиты мозга» Колина Уилсона (№ 2) и «Принцип оборотня» Клиффорда Саймака (№ 7) в переводе Александра Шабрина, рассказы американских фантастов Алфреда Элтона Ван Вогта и Корнелла Вулрича (№ 6) в переводе Нины Коптюг (ранее, в 1984 году, в ее переводе «Сибирские огни» печатали роман Бена Бовы «Человек умноженный»).

## 6.

Новосибирского писателя Геннадия Прашкевича многие считают фантастом, хотя из-под его пера выходят самые разные вещи: научно-популярные книги, публицистика, детективы, биографии знаменитостей, реалистические повести и рассказы, исторические и приключенческие романы, стихи... В «Сибирских огнях» в разное время печатались его крупные вещи: «Носорукий», «Русский хор», «Гу-

манная педагогика». К чистой фантастике ни один из этих текстов не отнесешь, но можно сказать, что какие-то фантастические допущения есть практически в каждом из них, и благодаря этому повествование приобретает некое дополнительное, небанальное измерение, а обыденность поворачивается новой, совершенно неожиданной стороной. Пожалуй, ярче всего это видно в «Русском хоре» (2016, № 11, 12). Сколько книг уже написано об эпохе Петра Великого: о заговоре и гибели царевича Алексея, о построении русского флота, о морских победах и поражениях — не счесть. Но фантастический дар Алешеньки Зубова, главного героя романа Прашкевича, вносит в знакомую историю метафизические ноты. Именно ноты, поскольку дар этот связан с музыкой: Алеша слышит за всем, что происходит вокруг, тайное звучание и сначала интуитивно, а потом осознанно ищет гармонию. Его внешнее сходство с некой таинственной *персоной*, за которое он подвергается гонениям, в конце концов приводит его пред очи самого российского императора Петра, а тот тут же бросает Зубова в пекло смертельной битвы, из которой Алеша не должен выйти живым. И не вышел бы, если бы не умение слышать не слышимый другими хор чужих судеб и предназначений. Команда шнявы (небольшого парусного судна) «Рак» подбиралась им так, как составляют хор, согласно правилам полифонии. С точки зрения окружающих — безумие, но именно оно привело к победе.

С 2019 года один номер «Сибирских огней» — апрельский — традиционно посвящается фантастике. С редакцией журнала сотрудничает Вячеслав Шалыгин, известный писатель-фантаст, член Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России. Мы вместе подбираем тексты и работаем над ними. В «фантастических» номерах печатаются произведения как уже известных, так и молодых авторов, для многих из которых это первая бумажная публикация. Вот некоторые имена: Денис Гербер, Юлия Федорищева, Андрей Федоткин, Анна Костюкевич, Ярослав Кудлач, Наталья Ревкова, Наталья Тарасова... Надеемся, этот список будет регулярно пополняться.

Фантастика — не просто полет мысли, игра воображения, и уж точно не бегство от реальности, как ее иногда пытаются представить. Это во многом программирование и конструирование будущего. И речь не столько о достижениях науки и техники (как известно, из научно-технических предсказаний фантастов прошлого сбылось всего процентов тридцать, а то и меньше), сколько о нашем отношении к завтрашнему дню Земли. Каким он будет — добрым или трагическим? Сохранится ли в нем то, что для нас важно и ценно сегодня, а если нет, то что придет на смену? Захочется ли нам жить в новом, завтрашнем мире? Да и будет ли вообще это «завтра»?

При всей пользе антиутопий-предупреждений большинство их настраивает читателей крайне пессимистично. Честь и хвала тем, кто все же показывает выход к свету. Для людей двадцатого века наши 2020-е — это уже будущее. Советские писатели-фантасты рисовали его коммунистическим и наделяли самыми лучшими чертами: равенством всех людей, освобождением от тяжелого труда, дружбой, братством, мирной жизнью, сотрудничеством на Земле и в космосе. Бог с ней, с рухнувшей идеологией. Жаль, что братство не сбылось... Сейчас, когда над планетой нависла тень глобальной войны и будущее многим видится одной большой мрачной антиутопией, может быть, именно фантастика — с ее умением прорываться сквозь скорлупу банального и привычного, находить решения там, где их, казалось бы, отыскать невозможно, — сумеет нарисовать нам новое будущее. Которое все-таки будет. В котором хочется жить.

Татьяна СВИРИДОВА

## ЧУДНЫЕ МГНОВЕНИЯ СКУЛЬПТОРА ГРАЧЕВА

В первый летний день музыкальный мир отмечает рождение великого композитора-классика М. И. Глинки. Его именем в Новосибирске названа государственная консерватория, чей архитектурный облик уже более двух десятилетий неразрывно связан со скульптурной композицией: сидящий с дирижерским взмахом руки Михаил Иванович в окружении персонажей двух своих опер — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».

Автор памятника скульптор-монументалист В. П. Грачев посвятил Глинке 14 лет жизни. Но о самом Владимире Павловиче в Новосибирске знают лишь в узких кругах. Поэтому спешим восполнить пробел и познакомить читателей с человеком, работы которого стали не просто достопримечательностями нескольких российских городов, но уже являются культурным наследием страны.

О том, когда и при каких обстоятельствах пришла мысль стать скульптором, Владимир Павлович рассказывает просто. «Учился я в шестом или седьмом классе. И вот сижу однажды и думаю: а кем же я буду? И сам себе ответил — скульптором буду! Так и началось».

Выбор профессии был тем немногим, что вообще в начале жизни Владимира было легким. Когда семья осталась без отца, его, шестилетнего, мама отдала на проживание к бабушке — трудно было одной растить четверых ребят. Но вскоре и мать, и бабушка умерли, и Володю отправили в детский дом имени Крупской в селе Коровьем Челябинской области.

Первые воспоминания о новом месте связаны с Карлом Марксом и ссыльным художником: «В детдом привезли глину. И я по картинке вылепил Карла Маркса. Как-то я чувствовал, как нужно лепить, форму чувствовал. Хорошо получилось. Но никто мне тогда не сказал про каркас. Прихожу на другой день, а Маркс мой потрескался — неудача какая! Ну ладно, что ж... А потом сослали к нам одного художника, он хорошо рисовал — деньги копировал. Не стали его в тюрьме держать, а отправили к детям. Я к нему, мол, хочу чему-то научиться. Он-то и стал первым моим учителем».

Владимир Павлович уже не помнит имени этого человека, но помнит первые уроки, благодаря которым окреп интерес к искусству. Портрет Ленина, нарисованный под присмотром опытного и, видимо, талантливого учителя, вызвал недоверие: не верили в то, что это детская работа — тушью сухой кистью

на холсте не может так мастерски изобразить лицо новичок. Но факт оставался фактом. И Ленина отправили на районную выставку, первую в жизни будущего скульптора.

Затем талантливого воспитанника отдали на обучение в столярную мастерскую, где он познакомился с разными инструментами. Первой работой из дерева стала модель танка для выставки военной техники. А дальше, уже почувствовав, на что способны руки, Владимир начал зарабатывать ими на жизнь.

После седьмого класса детдомовцев выпускали, держать дальше было нельзя, нужны были места для маленьких сирот военного времени. И вот Володю Грачева посадили на поезд, дали в дорогу кулек с конфетами и отправили в самостоятельную жизнь.

Уже через несколько дней в Свердловском ремесленном училище появился студент, чье имя совсем скоро стало гордостью учебного заведения, а после окончания училища (в 1953 г.) — и гордостью Свердловского отделения Художественного фонда СССР.

Первой самостоятельной профессиональной работой стало оформление Дворца культуры Верх-Исетского завода.

Но освоить азы ремесла молодому Грачеву было мало, поэтому несколько лет он посвятил самообразованию. Руку набивал на коллегам: «Перелепил всех форматоров Художественного фонда».

К тому же Владимиру повезло быть знакомым со знаменитым советским, а затем российским скульптором, фронтовиком Эрнстом Неизвестным. Одним своим присутствием в жизни молодого скульптора Неизвестный вдохновлял его на новые творения и подталкивал к совершенствованию мастерства. Однажды случилось приложить руку к работе мастера. «Я там слепил, надо заглядить», — сказал Эрнст Иосифович и оставил Грачева в своей мастерской. Молодой скульптор сделал работу, полагаясь на художественное чутье, и Неизвестный, когда увидел результат, твердо сказал: «Тебе нужно поступать в “Муху” (Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. — Т. С.), ты поступишь».

Неизвестный был примером трудолюбия и способности к необычному воплощению образа. Наиболее известные его работы: «Золотое дитя» (Одесса), «Дерево жизни» (Москва), «Прометей и дети мира» (Ялта, лагерь «Артек»), «Маска скорби» (Магадан), «Память шахтерам Кузбасса» (Кемерово), «Цветок лотоса» (Египет). И даже если непосвященному человеку ни о чем не говорят эти названия, то работу «Орфей» уж точно знают многие. Дело в том, что статуэтка телевизионной премии «ТЭФИ» — это и есть его «Орфей», только в уменьшенном виде. Правда, создал его Неизвестный задолго до появления премии — в 1962 г., а оригинальная скульптура — два метра в высоту.

В 1959 г. Владимир Грачев поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной.

Сам Ленинград с его многочисленными скульптурами и дворцами был хорошей школой. А Русский музей стал едва ли не одной из главных учебных аудиторий для увлеченного студента. Здесь в запасниках он изучал творчество выдающихся художников — насматривался, напитывался, перенимая опыт мастеров.

Преподавателем и руководителем дипломной работы В. Грачева был профессор Ингал. Известные работы скульптора: памятник Римскому-Корсакову на Театральной площади в Санкт-Петербурге, памятник Ленину на площади



1905 года в Свердловске, скульптурно-декоративное оформление морского вокзала в Сочи и другие.

Нетрудно представить, какую роль в профессиональном росте Грачева сыграли годы, проведенные в Ленинграде. Но, даже получив после окончания института предложение остаться в нем в должности преподавателя, Владимир вместе с однокурсницей Валентиной, ставшей к тому времени его супругой, вернулся в Свердловск. Здесь в 1966 г. он заступил на должность скульптора-монументалиста в мастерские Художественного фонда РСФСР.

За пять лет, прожитых в Свердловске, Грачевы оставили такое богатое наследие, что сложно представить продуктивность, позволившую создать все это. Вот лишь некоторые работы: памятник «Павшим за власть Советов» (г. Карпинск), памятник, посвященный Великой Отечественной войне (г. Полевской), конкурсный проект «Монумент 50-летию Советской власти» для Манежной площади Москвы, оформление киноконцертного зала «Космос», ставшего одним из символов Свердловска, гостиниц «Свердловск» и «Колос», памятник в аэропорту Кольцово летчику-испытателю Бахчиванджи, погибшему в 1943 г. при испытании самолета.

В 1970 г. Грачевы вынуждены переехали в город Таганрог Ростовской области. Это было вынужденное решение — Валентине Митрофановне требовался мягкий климат, а Таганрог был ее родным городом.

Здесь семья обосновалась на 14 продуктивных лет. В должности главного художника Владимир Павлович подключился к проблемам оформления города, создал художественный совет и воплотил в жизнь десятки работ, многие из которых и сегодня являются достопримечательностями Таганрога.

Ключевыми работами, выполненными вместе с Валентиной Митрофановной, стали мемориал героям таганрогского подполья «Клятва юности» и мемориальный комплекс «Борцы», или, как чаще называют его местные жители, «Балка смерти», являющаяся объектом культурного наследия России федерального значения.

Это место вписано страшной страницей в историю Великой Отечественной войны. Здесь, в старом глиняном карьере, фашисты уничтожили более 10 тысяч ни в чем не повинных людей разных национальностей, вероисповеданий, партийной принадлежности и возраста.

Работа над памятником длилась несколько лет, а возведенная стела по плану была лишь частью масштабного проекта.

Но сбыться плану было не суждено, причиной стала смерть Валентины Митрофановны и последующий отъезд Грачева из Таганрога...

В то время в столице Сибири творил другой архитектор-монументалист — Александр Сергеевич Чернобровцев. Им уже было создано эпохальное произведение — панно «Памяти павших» в сквере Героев Революции, Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска, шла разработка проекта Мемориала Славы в Бердске.

И вот однажды в Ростове-на-Дону состоялась судьбоносная встреча. Чернобровцев приехал на выставку, где Грачевы выставляли произведение «Старая крепость». После внимательного осмотра Александр Сергеевич стал спрашивать об авторах работы и искать с ними встречи.

В автобиографической книге «Хочу остаться» он так описывает знакомство с Грачевыми: «В свое время я говорил их переехать к нам из Таганрога. Мне очень понравились их работы в Таганроге, а познакомился я с ними на Съезде

художников РСФСР, на котором был делегатом от Новосибирской области... Тогда-то мне на глаза и попала фотография работы Грачевых, посвященная таганрогскому молодежному подполью...

Мне понравился их монумент, прежде всего, нестандартным решением. В то время почти все памятники, посвященные подпольщикам, показывали их либо в момент борьбы с врагом, либо перед лицом смерти: измученными, но непобежденными. Грачевы же, на мой взгляд, нашли образное, философское решение: около столбика, на котором находится клятва подпольщиков, стоят современные юноша и девушка, одетые в джинсы и майки. Они смотрят в небо, руки их подняты, они раскрыты навстречу бездонной синеве, но скульпторы слегка увеличили их ладони, что придало жесту характер недоумения. Они, эти юноша и девушка, застыли, осознав, но не принимая безжалостной правды войны, которая унесла их сверстников, убила их мечты и надежды, недоумевая перед смертью таких молодых, только начинающих жить ребят...

Я поехал в Таганрог, чтобы на месте посмотреть работы Грачевых. Мне также очень понравился ресторан, размещенный под землей, который был оформлен супругами Грачевыми. Дело в том, что Таганрог был построен Петром I как крепость и гавань. В 1712 году по договору с Турцией крепость и порт были разрушены. Город исчез с лица земли, но под землей остались многоэтажные подвалы, в 1769 году эта местность была занята российскими войсками и в 1774 году полностью отошла России. По приказу царя город был отстроен вновь. Про подвал на время забыли, и уже только в наше время решили разместить там рестораны и т. д. Грачевы сделали интерьеры очень стильно, все было оформлено в стиле петровского времени, даже служители были одеты в одежду петровских времен. Я тогда сказал Грачевым: поехали в Новосибирск, в Таганроге уже все сделано: памятник Чехову, Пушкину, Петру I, Героям молодежного подполья и др., а в Новосибирске — целина для творческого самовыражения...»

Знакомство состоялось за столом, в непринужденной обстановке. Чернобровцев предложил приехать в Новосибирск — в то время он искал человека, который бы мог воплотить в жизнь проект для авиационного завода имени Чкалова. Взлетающий к небу Икар с двумя стелами позади уже был в эскизах. Грачевы согласились: почему бы не познакомиться с новым городом?!

С Икара началось близкое знакомство двух монументалистов (сама скульптура в металле не сохранилась, а гипсовая модель, с которой она создавалась, с 2021 года находится в Художественном музее Новосибирска). По завершении работы, когда таганрогцы засобирались домой, Александр Сергеевич предложил всерьез подумать о переезде. «Ты украсил Таганрог, давай теперь к нам, в Новосибирск» — так запомнился Владимиру Павловичу основной аргумент Чернобровцева. Но тогда время еще не пришло.

Очередной приезд в Сибирь по приглашению Чернобровцева состоялся в 1979 г. На этот раз требовалось решить непростую задачу для Бердска — слепить из гипса шестиметрового солдата для создания фигур на строящийся Мемориал Славы. Но монументалисты — народ не из пугливых.

У Грачевых было мало времени, а задумка требовала длительного процесса: для изготовления фигуры такого размера требовалось соорудить леса, сваривать конструкцию. Тогда Владимир Павлович нашел нестандартное решение — лепить фигуру в лежачем положении. Работать было неудобно, все время хотелось посмотреть на нее в полный рост, но пришлось приспособиться. Кстати, гипс (несколько тонн) для фигуры предоставил аптечный фонд Новосибирска. По



воспоминаниям бердских старожиллов, в то время к монументальному искусству относились с пиететом и руководящим лицам, ответственным за постройку монумента в дефицитное время, не пришлось долго решать вопрос с гипсом.

Лишь недавно стал известен любопытный факт: лица солдат бердского Мемориала были «сняты» с лица форматора, который работал вместе с Грачевыми. Со слов Владимира Павловича, оно было мужественным и красивым, и поэтому решили за основу взять именно его. И работать удобнее, и форматор был человеком хорошим. Его имя, к сожалению, пока узнать не удалось, но известно, что это был ученик Чернобровцева...

Каждый раз во время пребывания Грачевых в Новосибирске Чернобровцев знакомил приезжих с тем лучшим, что могло их заинтересовать и увлечь. Он вдохновлял гостей тем, что любил сам, — характером сибиряков, могучей рекой и необъятными просторами.

Но в Новосибирск Владимир Грачев переехал один. В 1984 г. Валентина Митрофановна умерла в Таганроге после болезни...

Первая работа, за которую Владимир Павлович взялся, уже будучи новосибирцем, была та самая скульптурная композиция, с которой началось это повествование. История создания памятника М. И. Глинке возле Государственной консерватории несколько раз могла прерваться не завершившись. Но спустя 14 лет, пройдя все трудности мучительного рождения, памятник был установлен.

Идея создания памятника была подготовлена обстоятельствами. До грачевского Глинки у консерватории был гипсовый памятник работы новосибирского скульптора Веры Федоровны Штейн. Но это была скорее интерьерная фигура; во всяком случае, когда ее переместили на улицу, она затерялась на фоне самого здания консерватории и совсем перестала соответствовать величию образа первого русского композитора-классика. Требовался монументальный подход.

Как раз в то время, когда руководство консерватории вело переговоры о необходимости нового памятника, в Новосибирске и появился Грачев. Знакомство с ректором Евгением Георгиевичем Гуренко произошло благодаря опять-таки А. С. Чернобровцеву. Работа началась.

Но для ее продолжения в Новосибирске не оказалось, пожалуй, главного — мастерской, в которой можно было бы развернуться. И вот в октябре 1984 г. заключен договор с Кемеровским филиалом «Росмонументискусства» на создание эскизов, композиции, проекта, макета и модели скульптуры в мягком материале. Почти год Грачев провел в Кемерове. К 1986 г. Глинка был отформован в гипсе, но дальше дело не заладилось. А тут нагрянула и перестройка. Стало понятно, что вместе с Глинкой нужно возвращаться в Новосибирск. Но как перевезти гипсовую двухнатурную фигуру? Пришлось... пилить. Ноги, руки, голова, две части торса были доставлены в Новосибирск. К тому времени Владимиру Александровичу выделили мастерскую. Там-то на ближайшее десятилетие и поселился гипсовый композитор вместе со своим творцом. Каждый день в шесть утра скульптор открывал дверь мастерской и выполнял свою непростую работу. Без преувеличения можно сказать, что именно Грачеву город обязан появлением памятника Глинке.

Для продолжения процесса создания скульптуры требовалось решить еще множество технических вопросов: где и на какие деньги купить бетон, чтобы перевести гипсовую фигуру в более крепкий материал? Как организовать транспорт для доставки в мастерскую всего необходимого? Где взять сварочный и газосварочный аппараты, газ, кислород, ацетилен, а главное — самого сварщика?

К тому времени из-за перестроечной неразберихи договорные отношения были разлажены, а ждать, когда ситуация изменится, означало терять драгоценное время.

В итоге над Глинкой успели потрудиться три сварщика. Последнему Владимир Павлович из-за отсутствия денег отдал свой велосипед и костюм. А на завершающем этапе тот и вовсе доделывал работу бесплатно, просто потому, что знал: это было нужно. «Я ему уже не мог платить ничего, он бесплатно работал. Все сделал, и его не стало...» — вспоминает скульптор.

В некоторых источниках о памятнике Глинке говорится как о «вылитом из бронзы». Кажущийся эффект — комплимент скульптору за умелое воплощение задумки. Ведь на самом деле скульптура выполнена из медного листа толщиной 0,8 мм.

Даже если присмотреться, не видно, что лицо, как, впрочем, и вся фигура, состоит из множества отдельных кусочков, которые сварены между собой. Предварительно, чеканя по бетонным фрагментам, этим кускам придавали нужную форму и фактуру. Швы, образуемые при сваривании, после шлифовались.

Первым делом было готово самое сложное — голова. А затем и вся фигура композитора, а также стелы с персонажами из двух созданных им опер.

Параллельно созданию медного Глинки Грачев трудился и над другими произведениями для Новосибирска. Например, барельефы, известные каждому, кто бывает в метро на станции «Красный проспект», — дело рук Владимира Павловича. Работа была завершена в 1987 г. Еще через год созданы памятник и памятная доска академику Д. К. Беляеву для здания Института цитологии и генетики СО РАН, а в 1991-м — мемориальная доска Ю. В. Кондратюку на здании дома-музея. Последней работой «глинковского» периода стал памятник писателю Соболеву для села Смоленского Алтайского края.

У этих работ была не такая сложная судьба, как у памятника для консерватории, однако о каждой можно написать отдельную историю. И хотя найдется здесь место и производственным проблемам, и неурядицам перестроечного периода, все же это — история монументального искусства, с его торжеством красоты и утверждением светлых идеалов.

В 1991 г. Владимиру Грачеву поступило предложение поехать в Китайскую Народную Республику для участия в конкурсе ледяной скульптуры. Приглашение хоть и было лестным, все же вызывало сомнение — никогда раньше не приходилось ваять изо льда! Толком никто не мог сказать, даже какой инструмент требуется для этого материала. Тогда как китайцами лед как материал был освоен уже несколько столетий назад, а Международный фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине начал свою официальную историю в 1963 г.

В итоге, уложив в чемодан топорик, Грачев с коллегой Александром Крутиковым отправились в дорогу. Настроение, с которым скульпторы садились в поезд, можно охарактеризовать одним словом — любопытство.

Готовясь к поездке, Владимир придумал композицию «Илья Муромец», которую в Харбине требовалось воспроизвести из ледяной заготовки два на два метра, толщиной семьдесят сантиметров. Явившись на площадку, скульпторы были поражены количеством всевозможного инструмента, которым работали их китайские коллеги! Немного присмотревшись, взяли в руки топорик и взялись за работу.

В тот год на фестивале были представлены еще два российских города. Кто-то из соотечественников поделился с авторами «Муромца» стамеской. Инструментарий был обогащен!

Илья Муромец, как только начали проступать черты, был опознан китайскими коллегами и встречен благосклонно; было даже удивительно, насколько хорошо на чужбине знают героев русского эпоса. К скульптуре подходили и вступали в диалог с авторами из России, так что к концу второго дня — ко времени завершения работы — все прекрасно друг друга понимали, несмотря на незнание языка.

В наше время ледяная скульптура в зимнее время года украшает многие крупные города. Но в 1991-м, когда в Россию прилетело известие о том, что скульпторы из Новосибирска заняли первое место и получили Золотую медаль на харбинском фестивале льда и снега, новость звучала по радио среди важнейших!

Так в списке освоенных скульптором Грачевым материалов среди глины, гипса, бетона, чугуна, дерева, шамота, гранита, мрамора, бронзы и латуни появился еще один — лед.

Говоря о наследии В. П. Грачева нельзя не сказать о его педагогической деятельности. В 1995 г. Владимира Павловича пригласили преподавать в Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию, где вскоре он стал почетным преподавателем. На кафедре монументально-декоративного искусства через Грачева-педагога прошли более сотни студентов, которым он прививал любовь к искусству и скульптуре. Своих учеников — будущих скульпторов, художников, керамистов — он учил понимать и чувствовать материал. Для него самого, кажется, нет материала, неподходящего для дела скульптора.

В мастерской Владимира Павловича окружают почтеннейшие люди: ученый Ломоносов, академик Лаврентьев, писатель Магалиф; здесь же изящные музы, древнегреческие философы и выдающиеся политические деятели. На протяжении почти сорока лет, чтобы прикоснуться к творениям скульптора, в утренние часы сюда пробирается солнце. Своими лучами оно освещает застывшие мгновения великих судеб. А творец, запечатлевший их, продолжает свой труд, служа времени и искусству.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Королев Андрей Александрович** родился в 1964 г. в Кемерове. Окончил филологический факультет Кемеровского госуниверситета. Был профессиональным футболистом, более тридцати лет работал в газетах. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «После 12», «Сибирские огни». Живет в Кемерове.

**Кузьмина Вера Николаевна** родилась в 1975 г. в Каменске-Уральском Свердловской области. Окончила Каменск-Уральский медицинский колледж. Работает фельдшером в городской поликлинике. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Дальний Восток», «Гостиный двор», «Сибирские огни» и др. Автор книги стихов «Медицина здесь бессильна». Живет в Каменске-Уральском.

**Николаев Алексей Валерьевич** родился в 1977 г. в Томске. Выпускник Томского государственного педагогического университета. Более двадцати лет служил в правоохранительных органах. Ветеран боевых действий, пенсионер МВД России. В настоящее время работник Сибирского химического комбината в г. Северске Томской области. Ранее не публиковался.

**Подистова Лариса Николаевна** родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

**Поликарпова Оксана Владимировна** родилась в 1961 г. в Самаре. Окончила Тольяттинский политехнический колледж. Юрист. Также работала корреспондентом в городской газете «Красный Октябрь» г. Сызрани Самарской области. В настоящее время на пенсии. Ранее не публиковалась. Живет в Краснодарском крае.

**Романов Дмитрий Владимирович** родился в 1975 г. в Красноярске. Окончил Красноярский политехнический институт. Работает в Новосибирском краеведческом музее. Живет в Новосибирске.

**Савина Ксения Игоревна** — поэт, преподаватель-исследователь, религиовед, латинист, исследователь верлибра, автор критических и стиховедческих статей. Выпускница философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и одноименного факультета Русской христианской гуманитарной академии. Окончила аспирантуру ЛГУ им. Пушкина по направлению «Философия религии и религиоведение». Публиковалась в журналах «Знамя», «Юность», «Аврора», «Бельские просторы» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

**Свиридова Татьяна** родилась в Бердске. Работает режиссером видеокomпании «Студия 21», ведет кинохронику старого Бердска. По совместительству работает заведомом кинохроники Бердского историко-художественного музея, занимается восстановлением киноархива г. Бердска советской эпохи. Живет в Бердске.

**Севрюгина Елена Вячеславовна** родилась в 1977 г. в Туле. Кандидат филологических наук, доцент. Работает репетитором по русскому языку и литературе, ведет курс языкознания и культуры речи в Московском автомобильно-дорожном институте. Редактор международного журнала «Гостиная». Публиковалась в журналах «Ното Legens», «Дети Ра», «Дружба народов», «Знамя», «Урал», «Нева» и др. Живет в Мытищах.

**Сорокоотягин Денис Андреевич** родился в 1993 г. в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Лауреат международных конкурсов вокалистов, чтецов. Автор учебных пособий для ДМШ и ДШИ. Режиссер, художественный руководитель «DAS-театра». Актер Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Живет в Москве.

**Тихонов Александр Александрович** родился в 1990 г. в п. Большеречье Омской области. Заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история» (г. Омск). Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких романов и книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Омске.

**Ткачук Денис Викторович** родился в 1988 г. в Астрахани. Член Поискового движения России, руководитель архивного направления работ в Астраханской области. Соорганизатор литературного проекта «Онлайн-КвАРТирник». Публиковался в журналах «Бельские просторы», «Алтай», «Урал» и др. Живет в Астрахани.

**Шевченко Алексей Игоревич** родился в 1986 г. в поселке Начало Россошанского района Воронежской области. Окончил физико-математический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Печатался в «Сибирских огнях», в газете «Литературная Россия». Живет в Россоши.

**Янушкевич Яна Сергеевна** родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Новосибирского государственного педагогического университета. Журналист. Работала в деловой прессе: в изданиях «Ведомости», «Коммерсантъ» и других. Живет в Новосибирске.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**  
**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

**ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ**

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 16.05.2022. Дата выхода № 6 за 2022 г. в свет 23.06.2022.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.